ЛЮБОВЬ И БЕЗУМСТВА
ПОКОЛЕНИЯ ТРИДЦАТЫХ

Румба над пропастью

Их проклинали современники. Им завидовали небеса!

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Тридцатые… Страшные, гордые годы, когда ужасы гражданской войны и революции были уже пройдены, а Великая Отечественная еще не началась. То, что происходило в стране, трудно поддается описанию. Тем удивительнее те истории любви, ревности, предательства и благородства, которые случались вопреки всему. Лев Ландау и Кора Дробанцева, Рихард Зорге и Екатерина Максимова, Михаил Булгаков и Елена Шиловская, Михаил Тухачевский и таинственная «Лика», Дмитрий Шостакович и Нина Варзар, Валентина Серова и Константин Симонов, Янина Жеймо и Леон Жанно. Их проклинали современники. Им завидовали небеса.

- Елена Владимировна Прокофьева, Татьяна Викторовна Умнова
- Михаил Кольцов и Мария Остен: «Очень хочется жить…»
- Михаил Кольцов и Мария Остен
-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- Рихард Зорге и Екатерина Максимова: «Не подходите к ней с вопросами…»
- Рихард Зорге и Екатерина Максимова
-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

- 9
- 10
- 11
- Михаил Булгаков и Елена Шиловская: «Я буду любить тебя всю мою жизнь…»
- Михаил Булгаков и Елена Шиловская
-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- Михаил Тухачевский и Лика: таинственная любовь
- Михаил Тухачевский и Лика
-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Дмитрий Шостакович и Нина Варзар: восьмое чудо
- Дмитрий Шостакович и Нина Варзар
-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

- 12
- 13
- 14
- Валентина Серова и Константин Симонов: «Страшная и удивительная жизнь…»
- Валентина Серова и Константин Симонов
-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Татьяна Окуневская и Владо Попович: «Дурман… наваждение…»
- Татьяна Окуневская и Владо Попович
-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Янина Жеймо и Леон Жанно: польский принц для Золушки
- Янина Жеймо и Леон Жанно
-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Елена Владимировна Прокофьева, Татьяна Викторовна Умнова
Любовь и безумства поколения 30-х. Румба над пропастью

Любовь – это сон в сновиденьи…
Любовь – это тайна струны…
Любовь – это небо в виденьи…
Любовь – это сказка луны…
Любовь – это чувственных строк душа…
Любовь – это дева вне форм…
Любовь – это музыка ландыша…
Любовь – это вихрь! это шторм!
Любовь – это девственность голая…
Любовь – это радуга снов…
Любовь – это слезка веселая…
Любовь – это песня без слов!..
Игорь Северянин. «Любовь»

Михаил Кольцов и Мария Остен: «Очень хочется жить…»

Михаил Кольцов и Мария Остен

...

– Кольцов (Фридлянд) Михаил Ефимович (31 мая 1898 года, Киев, Российская империя – 2 февраля 1940 года, Москва, СССР) – журналист, разведчик.

– Остен (Грессгенер) Мария (20 марта 1908 года, деревня Нойгольц, Восточная Пруссия – 16 сентября 1942 года, Москва, СССР) – писательница, журналистка, памфлетистка.

– Он – азартный, храбрый, блестящий, авантюрный, умеющий наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях, любвеобильный и отчаянный.

– Она – идеалистка, верная до самозабвения, отважная, твердая в принципах, самопожертвенная натура.

– Для него она – третья жена. Для нее он – второй муж.

– Общих детей не было. Двое приемных сыновей.

– Познакомились в Германии в 1932 году. Впрочем, официально женаты не были, что в 1930-е годы было распространенным явлением.

– Она ему изменяла, что едва не привело к разрыву накануне его ареста. Но Мария на самом деле так сильно любила Михаила, что пыталась его спасти, – и разделила его судьбу.

Он всегда был там, где происходит что-то важное и интересное, казалось, даже, умудрялся успевать сразу в

несколько мест, и когда он появлялся, тут же все загоралось и кипело, все менялось, потому что этот энтузиазм и эта радость жизни были неодолимо заразительны. Небольшого роста, не особенно крепок здоровьем, ничего не видит без очков, и при этом – азартен до самозабвения, авантюрен до безрассудства и совершенно бесстрашен. И писал он так легко и вдохновенно, что именно его статей и фельетонов читатели ждали, их искали в первую очередь, открывая «Правду» или «Огонек». В те времена Михаила Кольцова называли «журналист номер один». Сейчас бы его назвали – журналист от Бога.

Слишком талантливый, слишком яркий, слишком часто лезет туда, куда не следует… Многовато «слишком» для того времени. «Слишком прыткий», – решил однажды Сталин и росчерком красного карандаша оборвал эту жизнь так, как он любил – на самой высокой точке взлета, чтобы было больнее падать.

Рассказывали, что вокруг Михаила Кольцова возникало особенное поле притяжения, куда неизбежно попадали интересные люди. Так же обстояло и с женщинами – все они были необыкновенными. Кольцов был дважды женат. И оба раза не очень удачно. Один раз, будучи совсем еще юным, он влюбился в хорошенькую талантливую актрису Веру Юреневу, которую обожал весь Киев. Его вторая жена, Елизавета Ратманова, была полной противоположностью первой – не особенно красивая, строгая и отчаянно храбрая внучка путешественников, капитан танковой бригады в Испании. А потом…

Потом Михаил встретил настоящую любовь, неожиданно, как это всегда и бывает.

И это была любовь с первого взгляда и на всю жизнь.

Она была немка, ее звали Мария Остен. Нежная и трепетная, как Вера, и вместе с тем лихая и отважная, как Лиза… Они с Михаилом были похожи, видели мир одинаково и понимали друг друга с полуслова. В их отношениях тоже было не все гладко, была измена, была ревность, и в конце концов страсть остыла, но любовь и преданность оставались до самого конца. У них не было «долго и счастливо» и умерли они не в один день, но можно сказать, что умерли они вместе.

Они умерли друг за друга.

1

…А началось все в Киеве 31 мая 1898 года, когда в семье торговца обувью Ефима Моисеевича Фридлянда и его жены Рахиль Савельевны родился первый сын, названный Моисеем, или же по-русски – Михаилом.

Если верить рассказу одного из потомков Фридляндов, семья была родом из Белостока и переехала в Киев, когда скоропостижно скончался отец Ефима Моисеевича, чтобы поддержать его вдову. Спустя несколько лет Фридлянды вернулись в Белосток, и именно там Михаил и его младший брат Борис, родившийся в 1900 году, поступили в реальное училище, где учились вполне благополучно и ровно и где в скором времени проявились таланты обоих мальчиков: братья издавали рукописный журнал, в котором Михаил был литературным редактором, а Борис – художником.

В дальнейшем Фридлянды снова переехали в Киев, а Михаил в 1915 году уехал в Петроград, где поступил в Психоневрологический институт. Уже в 1916 году он начал печататься и, вероятно, тогда же определился в будущей профессии – журналистике, окончательно поняв, что ему интересно и чему именно посвятит он свою жизнь.

А жизнь в то время в столице Российской империи была чрезвычайно интересной…

В феврале 1917 года грянула революция, в результате которой в России была свергнута монархия и к власти пришло Временное правительство во главе с Александром Керенским. Михаил был активным участником происходивших событий, находился на переднем крае, рискуя жизнью. И писал восторженные репортажи.

Однажды кто-то запустил в грузовик, в котором он ехал, горящую головешку, попавшей Михаилу в лицо. Позже он так описывал этот случай в репортаже с места событий: «…Паренек с Выборгской кричал кому-то в огонь речь. Девушка, бледная, с блестящими глазами, омывала мне снегом рану. Я лежал на ее платке, ошалелый от удара, счастливый кровью, солнцем и шумом».

И пожалуй, эти последние слова можно было бы поставить девизом ко всей его жизни, так он и будет лететь вперед – счастливый кровью, солнцем и шумом. Будет лететь, пока не разобьется…

Гораздо менее восторженно Кольцов встретил Октябрьскую революцию и далеко не сразу вступил в партию большевиков.

Поначалу он примкнул к группировке «Межрайонцев», возглавляемой Троцким, и, собственно, уже вслед за Троцким пришел к большевикам. Он вступил в партию в 1918 году и почти тот час же демонстративно вышел из нее, написав открытое письмо в «Киногазету», где заявил, что ему не по пути с советской властью и ее комиссарами.

Тем не менее в том же году он, видимо, вернулся в ряды большевиков, потому что оказался в занятом германскими войсками Киеве в составе советской дипломатической миссии…

Как вспоминает его брат Борис, взявший впоследствии псевдоним Ефимов, «Кольцов, забыв на время журналистику, с головой ушел в другое дело. Он работает в так называемом Скобелевском комитете, в области документальной кинохроники, снимает эпизоды Гражданской войны в Финляндии, потом братание русских солдат с немецкими на фронте. Наконец сопровождает со своей маленькой киногруппой советскую делегацию на мирные переговоры с Украинской державой, которая обрела полную „независимость” за штыками германской оккупационной армии. Это, между прочим, дает Кольцову возможность заехать в Киев и повидать после долгой разлуки родителей и младшего брата, то есть меня. Но политические и военные события развиваются настолько стремительно, непредсказуемо и не всегда благоприятно, что Кольцов застревает в Киеве. И надолго.

С детства знакомый родной Киев предстает в глазах Кольцова по-новому. Красавец-город совсем недавно перестал быть ареной ожесточенных уличных боев, кровавых расправ, сопровождавших смену враждующих между собой властей. Теперь, после вступления в город немецкой армии под командованием фельдмаршала фон Эйхгорна, здесь воцарилось полное спокойствие. Трудно представить в ту пору больший контраст, чем между суровой, голодной и холодной Москвой и сытым, благодушествующим, развлекающимся в бесчисленных кабачках и кабаре, клубах и театриках Киевом. Неугомонную журналистскую натуру Кольцова интересуют и порядки германской оккупации, и скрытое, но упорное народное сопротивление ей, и премьеры в обосновавшихся в Киеве московских театрах, и возглавляемые Симоном Петлюрой украинские гайдамаки, затаившиеся где-то под Киевом, и многое другое. И конечно, немаловажное место занимают возникшие близкие отношения с Верой Леонидовной Юреневой, известной всей стране актрисой, ставшей здесь, в Киеве его женой».

2

Вера Юренева, в девичестве Шадурская, была старше Михаила на двадцать два года и до знакомства с ним успела дважды побывать замужем, не говоря уж о многочисленных романах. Ее первым мужем был дворянин Иван Юренев – чью фамилию Вера и оставила себе в качестве театрального псевдонима. Вторым мужем был поэт и драматург Александр Бродский. (В конце 1930-х годов он будет репрессирован так же, как и Кольцов, так же, как и последний муж Юреневой, и никто из них не вернется из лагерей.)

Родилась и выросла актриса в Москве, окончила Петербургское театральное училище и некоторое время играла в Александрийском театре. Однако путь к славе в столице оказался слишком тернист, и вскоре Вера перебралась в провинцию – в Киев. В 1906 году она поступила в театр «Соловцов», где очень скоро начала получать главные роли и заблистала самой яркой звездой.

Несмотря на творившуюся в стране неразбериху и постоянно сменяющуюся власть, театр «Соловцов» всегда собирал аншлаги и являлся островком незыблемого благополучия; перед лицом прекрасного примирялись враждующие стороны, и страсти кипели разве что вокруг хорошеньких актрис.

Михаил Кольцов часто бывал в театре и, как и многие до него, был покорен красотой и грацией актрисы, которую называли воплощением женственности. Она сама говорила, что основное ее амплуа – любовь. Так было и на сцене, и в жизни… Веру не смущала разница в возрасте – незадолго перед тем у нее был роман с начинающим композитором Исааком Дунаевским, которому было тогда всего 19 лет и для которого Вера Юренева стала первой настоящей любовью. К роману с юным музыкантом влюбчивая и ветреная актриса относилась несерьезно, тогда как Михаил Кольцов по-настоящему завоевал ее сердце. Настолько, что она согласилась стать его женой и даже уехала вместе с ним в Москву, когда в Киеве случился очередной переворот и дипломатической делегации Советской России пришлось срочно покинуть город. В газетах ее поступок назвали «еще одной победой большевиков».

Кстати, считается, что именно Кольцов вдохновил Веру Юреневу на создание одного из самых удачных образов ее сценической карьеры – Лауренсию в постановке «Фуэнте Овехуна» («Овечий источник»), по пьесе Лопе де Вега, премьера которой состоялась 1 мая 1919 года в советском Киеве. (В ту пору театр

«Соловцов» назывался уже «Театром имени Ленина».) По сюжету пьесы жестокий господин испанской деревни обесчестил крестьянскую девушку, отняв ее у возлюбленного прямо во время свадьбы. В ответ на это в деревне вспыхнуло восстание. Юренева, привыкшая к ролям аристократок, на сей раз сыграла крестьянку, призывающую односельчан к бунту – и сделала это так убедительно, что потрясла и заполнивших зрительный зал пролетариев, и бывалых театралов.

Семейная жизнь продлилась не долго, уже в 1922 году Кольцов и Юренева расстались, но, по всей видимости, сохранили хорошие отношения. По крайней мере много лет спустя Михаил писал бывшей жене из Испании, рассказая, что побывал в настоящем городке Фуэнте Овехуна. «Если бы Вы сюда приехали со спектаклем „Лопы” – все бы потряслись», – добавил он под конец.

После развода с мужем Вера Юренева уже не вернулась в Киев, до середины 1950-х годов она играла в различных театрах Москвы и Ленинграда и даже получила звание заслуженной артистки РСФСР. Потом – как это часто и бывает – угасающая звезда оказалась в забвении и доживала свой век в одиночестве в коммунальной квартире в центре Москвы. Она умерла в 1962 году и похоронена на Новодевичьем кладбище.

3

1920-е годы были временем невероятного вдохновения и самых радужных надежд. Гражданская война закончилась победой советской власти, теперь народу, разрушившему «мир насилья», предстояло строить новое, счастливое и справедливое государство. В выбранной им сфере деятельности Михаил Кольцов взялся за дело с присущим ему энтузиазмом. Еще в 1920 году, сразу после возвращения из Киева в Москву, он стал постоянным корреспондентом «Правды», куда писал фельетоны и очерки.

Для того чтобы добыть интересный материал, он выезжал за границу по поддельным паспортам, пробираясь в страны, куда не допускались советские журналисты. Однажды он сумел проникнуть в Зоненбургскую тюрьму и побеседовать с немецким коммунистом Максом Гельцем… В другой раз под видом французского журналиста он явился в белогвардейский штаб РОВС в Париже… Стоит ли говорить, с каким риском для жизни были сопряжены все эти эскапады? Зато читатели с восхищением и гордостью следили за приключениями отважного советского журналиста.

В 1921 году Кольцов участвовал в штурме восставшего Кронштадта, шел вместе с курсантами по льду на вооруженную до зубов крепость, чтобы потом написать подробный репортаж в газету. Там он познакомился с маршалом Тухачевским и даже, вспомнив о своем медицинском образовании, перевязывал ему рану. Впоследствии это «неподходящее знакомство» припомнят ему следователи НКВД.

В 1923 году исключительно своими силами Кольцов создал публицистический журнал «Огонек», бессменным главным редактором которого был вплоть до самого ареста.

В 1929 году Кольцов был назначен главным редактором юмористического журнала «Чудак», в котором настолько активно вскрывал недостатки советской действительности, что неоднократно вызывал недовольство партийных чиновников. «Чудак» был закрыт через несколько лет, не выдержав конкуренции с более маститым «Крокодилом», главным редактором которого Кольцов стал в 1934 году.

В 1931 году Кольцов создал литературно-журнальное объединение «Жургаз», под крышей которого собрал множество печатных изданий. Помимо «Огонька» это были журналы «За рулем», «За рубежом», «Советское фото» и еще около тридцати самых разных журналов и газет, многие из которых существуют и

по сей день. В типографии «Жургаза» начала издаваться возрожденная Максимом Горьким дореволюционная серия книг «Жизнь замечательных людей» и «Библиотека романов».

Как и большинство советских людей того времени, Кольцов увлекался авиацией и сделал немало для гражданского самолетостроения. В качестве летчика-наблюдателя он участвовал во множестве интересных и опасных экспедиций. В частности, совершил Большой Восточный перелет по маршруту Москва-Анкара-Тегеран-Кабул через неприступные горные вершины. И писал интереснейшие репортажи.

«…Мы вошли в Саланг – единственное ущелье, через которое можно одолеть вершины высочайшего азиатского горного хребта. Эти места не для людей. Эти места на краю света природа оставила для себя самой, чтобы в одиночестве, без суеты, в величественном безмолвии думать свои планетарные думы. И человек, стремительной дерзостью технического гения вознесенный на эти страшные высоты, содрогается, пугливо умолкает…

То, что называется ущельем Саланг, есть на самом деле зловещий хаос отдельных обледенелых пиков, бездонных пропастей, крутых и скользких скатов в неизвестность. Нет и не может быть точно проведенного пути внутри этой жадно оскаленной челюсти горных клыков. Воздушный отряд тянется через Саланг извилистой ломаной тропкой.

…Во что превратился этот бравый отрядик, с таким щеголеватым, четким треугольником вылетевший с московского и ангорского аэродромов! Строй самолетов разбился, они ковыляют то гуськом, почти наскакивая один на другой, то врозь, теряя друг друга, переваливаясь через ледяные барьеры, огибая страшные горные шишки. Люди посинели, машины заиндевели. Пальцы на руках и ногах слились в сплошные холодные железки. А горло, горло пьет без устали никогда не изведанный чудесный прозрачный напиток, этот редчайший, недостижимый ни человеку, ни птице воздух верхних слоев атмосферы, тот воздух, что никогда не коснется пыльной, зажитой земли.

…Мотор вдруг глубоко икает и останавливается… Что это? Катастрофа? Использовать парашют? Выбрасываться… здесь?

Нет, и другие самолеты выключили газ, значит, да, Саланг выпустил нас. Главный хребет Гиндукуша пройден. Теперь мы катимся силой инерции на салазках с горы, вышиной почти в шесть километров… Мы рискуем, размахнувшись, перехватить через край. Мы можем промазать Кабул, проскочить в Индию – отсюда только тридцать минут лета до индийской границы. И англичане опупеют, и их печать будет вопить о наглом вторжении

большевиков во владения британской короны…»

А потом, когда друзья и родные ругали его за то, что он так рисковал, Кольцов лишь смущенно улыбался и разводил руками.

– Было, – говорил он. – Но ведь так хочется!

В 1932 году по инициативе Кольцова был создан комитет по строительству самого большого по тем временам самолета, средства на который собирали буквально всей страной. В июне 1934 года АНТ-20, названный в честь знаменитого пролетарского писателя «Максим Горький», совершил успешный испытательный полет во славу советского самолетостроения… К сожалению, уже через год гигант разбился из-за ошибки пилота другого самолета, совершавшего вокруг АНТ-20 фигуры высшего пилотажа и протаранившего его. Оба самолета развалились в воздухе на части. Погибло 47 человек. Кольцов был просто раздавлен этой новостью…

Казалось, не существовало тем, которые были бы Кольцову неинтересны. Он преображался в таксистов, трактористов, сапожников, школьных учителей, изучая профессии изнутри, чтобы потом написать достоверный репортаж.

Михаил Ефимович жаловался брату, что вынужден отключать на ночь телефон, потому что кто угодно мог позвонить ему в четыре часа утра, чтобы изложить очередную «злободневную» тему, и страшно обижался, если журналист отказывался тот час же мчаться на зов. Дни Кольцова были расписаны по минутам, он все время куда-то бежал… Даже удивительно, что он находил время и на личную жизнь, а между тем именно в те годы в Москве он встретил девушку, которую полюбил и на которой решил жениться. И это тоже случилось в театре, хотя, если точнее, на лестнице у входа в театр…

4

Елизавета Николаевна Ратманова, праправнучка знаменитого путешественника и соратника капитана Кука, Джозефа Биллингса, родилась 19 апреля 1901 года в Хабаровске, где ее отец, военный инженер, строил железную дорогу. Семья часто переезжала с места на место, согласно назначениям отца. Из Хабаровска – в Киев. Потом – в Архангельск. В 1919 году Ратмановы уехали в Англию, где, согласно данным из ее автобиографии, Елизавета работала машинисткой в торговом обществе Акрос в Лондоне. В 1922 году Елизавета вернулась в Москву и поступила на работу в Профинтерн, тогда как, по всей видимости, родители ее по-прежнему оставались в Англии. А в свободное от работы время она училась в студии Московского Камерного театра.

Племянница Ратмановой Л. В. Серова, разбиравшая однажды ее бумаги, нашла описание их первой встречи с Кольцовым, произошедшей, когда Елизавета выходила из театральной студии, намереваясь отправиться домой:

«Он спросил:

– Чего бы вам хотелось?

И хотя мне постоянно и особенно после занятий в студии хотелось есть, я сказала:

– Я хочу золотую рыбку. Живую.

Он принес рыбку. И, неся ее домой, я вспоминала детство. Киев 1914 года. Солдат в госпитале у бассейна. И так повелось, что мы встречались после занятий. Он приезжал из редакции, я выходила из театра. Мы ходили по бульварам, я рассказывала о своей жизни. Он был журналистом и умел слушать».

В 1923 году Михаил и Лиза поженились.

Немного об устройстве их совместной жизни можно прочитать в дневниках Корнея Чуковского.

Запись от 28 ноября 1927 года: «…Был у Кольцовых. Добрая Лизавета Николаевна и ее кухарка Матрена Никифоровна приняли во мне большое участие. Накормили. Уложили на диван. Лизавета Николаевна очень некрасивая, дочь англичанки, крепко любит своего Майкла – Мишу Кольцова и устроила ему уютное гнездышко. Крохотная квартирка на Большой Дмитровке, полна изящных вещей. Он – в круглых очках, небольшого роста, ходит медленно, говорит степенно, много курит, но при всем этом производит впечатление ребенка, который притворяется взрослым. В лице у него много молодого, да и молод он очень, ему лет 29, не больше. Между тем выходят четыре тома его

сочинений, о нем в академии выходит книга… Человек бывалый, много видевший, но до странности скромный. Странно видеть его в халате, ходящим по кабинету и диктующим свои фельетоны. Пишет он удивительно легко, диктует при других и при этом разговаривает о посторонних вещах. Его кухарка Матрена Никифоровна в большой дружбе с его женой. Она потеряла не так давно взрослую дочь и теперь привязалась к Лизавете Николаевне как к родной».

Л. В. Серова верно отмечает, что Чуковский не совсем прав: мать Елизаветы Ратмановой была англичанкой лишь на четверть. А что касается внешности… Вторая жена Кольцова действительно не считалась красавицей, но была, что называется, «интересной»: черные волосы, большие голубые глаза. По уверению Серовой, ее тетя имела сходство с Франческо д'Эсте кисти Ван дер Вейдена. Причем она сама об этом знала – в 1950-е годы портрет д'Эсте висел на стене в ее комнате.

Замужество совершенно переменило жизнь Елизаветы Николаевны. Она вдруг окунулась в чрезвычайно интересный мир, попала в бушующий круговорот активной общественной жизни. Если раньше ее единственным развлечением была театральная студия да еще походы в консерваторию, то теперь вокруг все время что-то происходило, каждый день случалось что-то новое, значительное, потрясающее… Дом Кольцова всегда был открыт гостям, и у них частенько собирались представители московской литературной элиты. Елизавета Николаевна познакомилась с Максимом Горьким, много лет дружившим с ее мужем, с Владимиром Маяковским, с Сергеем Есениным, с Александром Фадеевым. Всех имен и не перечислить… Много лет спустя она даже начала писать книгу о своих встречах с известными людьми, которая, к сожалению, так и не была закончена, но некоторые главы ее были опубликованы в «Новом мире».

Елизавета Николаевна старалась быть полезной мужу, она заменила ему секретаря, записывая под диктовку его статьи и книги. Тот даже шутил: «Пишу не я, пишет моя жена». Впрочем, в конце концов Ратманова действительно начала писать сама. Ее статьи появлялись в «Комсомольской правде», в «За рубежом» и даже в «Правде». И конечно, Елизавета Николаевна сопровождала мужа в большинстве зарубежных поездок.

Это была удивительная, волшебно прекрасная жизнь, как в сказке, но, к сожалению, сказки никогда не длятся бесконечно… Сказка Елизаветы Ратмановой длилась довольно долго, почти десять лет, и – тем труднее и обиднее было с ней расставаться. Лиза так и не смогла расстаться с ней до конца, возможно,

надеясь, что все еще переменится и муж к ней вернется. Ведь за десять лет они стали по-настоящему родными людьми, разве можно все просто разорвать и забыть?

Но надежды оказались напрасными. Уйдя однажды, Михаил к ней больше не вернулся. Хотя брак и не был официально расторгнут, Лиза все равно уже считалась «бывшей», а новую возлюбленную Кольцова все называли не любовницей, а «гражданской женой».

Насколько сильно переживала Лиза разрыв с мужем, мы не узнаем никогда, но можно сказать с уверенностью, что она действительно любила его… Даже много лет спустя после его смерти, уже после войны, она держала дома аквариум, в котором плавала всегда в одиночестве большая золотая рыбка. Как талисман. Как память об их первой встрече.

5

…История того времени хранит такое множество тайн, что раскрыть их все вряд ли представится возможным когда-нибудь. Может быть – и не стоит этого делать. Просто завершим историю этой любви на печальной лирической ноте. Любовь умерла, ей на смену пришла другая. Вполне житейская ситуация. Однако отношения Михаила Кольцова и Елизаветы Ратмановой продолжались гораздо дольше, чем длилась их любовь, и, может быть, тот факт, что они не оформляли развода до самого 1938 года, до ареста Михаила Ефимовича, указывает на то, что жена «журналиста № 1», сначала сопровождая его в заграничных поездках, а потом неожиданно появляясь то в Мадриде, то в Париже, когда тот путешествовал вместе с Марией Остен, приглядывала за ним по поручению органов безопасности. Очень туманные намеки на это имеются у разных биографов, и в этом нет ничего невероятного, странным было бы как раз обратное. Возможно, Кольцов об этом знал. А если и не знал, то уж точно догадывался. Ведь он и сам выполнял за границей тайные задания правительства и лично самого Сталина. Оставаться от этого в стороне было просто невозможно.

Как все обстояло на самом деле, сказать сложно, но известно, что в начале 1930-х годов Кольцов не всегда отправлялся в заграничные командировки вместе с женой. По крайней мере, именно в одной из таких поездок он и познакомился с немецкой журналисткой Марией Грессгенер, взявшей себе псевдоним Остен – «Восточная» с намеком на симпатию к СССР. Это произошло летом 1932 года.

В то лето Михаил Кольцов поехал в Германию, чтобы собрать материал о борьбе немецких коммунистов с набирающим силу нацизмом. С руководителями КПГ в Берлине он был давно и хорошо знаком и пользовался у них большим авторитетом. На сей раз Кольцов планировал поездку по нескольким городам, и ему пообещали, что сопровождать его будет один из лучших журналистов. Это и оказалась Мария Остен.

Кольцов вспоминал позже, как главный редактор коммунистической газеты «Роте Фане» говорил ему:

– Мы даем тебе в помощники боевую и талантливую журналистку Марию Грессгенер. Наци ненавидят Марию лютой ненавистью за ее памфлеты. Они постоянно угрожают расправой, но ей это придает еще больше азарта и смелости.

Мария родилась 20 марта 1908 года в Восточной Пруссии, в деревне Нойгольц, в семье служащего. В 1922 она поступила в

лицей в Берлине, но вскоре бросила его. В 1936 году она вышла замуж за издателя леворадикальной литературы Виланда Херцфельде и в 1927 вступила в Коммунистическую парию Германии. С мужем Мария вскоре развелась и уже 1929 году вышла замуж снова за советского режиссера Евгения Червякова, вместе с которым тоже жила не долго. По крайней мере, к моменту встречи с Михаилом Кольцовым она была уже свободна.

Кольцов и Мария встретились у здания КПГ. Кольцов беседовал со старыми друзьями – певцом Эрнстом Бушем и писателем Людвигом Ренном, когда к ним вдруг подошла девушка. Поначалу она не узнала знаменитого советского журналиста и очень расстроилась из-за этого…

Об их первой встрече и о том, как развивались отношения Кольцова и Остен, подробно рассказывает Борис Медовой в книге «Михаил и Мария: повесть о короткой жизни, счастливой любви и трагической гибели…», вышедшей в свет в 1991 году. Известно, что Медовой много общался с людьми, знавшими и Михаила и Марию, так что скорее всего изложенные в ней события вполне верны, хотя и поэтически приукрашены.

«– Извините, ради бога, – смутилась Мария, – а ведь партия поручила мне сопровождать вас в поездке. И как же теперь быть? Вы дадите отвод?

Кольцов развел руками.

Они оба замолчали. Словно в каком-то оцепенении неотрывно всматривались друг в друга. Лица их стали серьезными. Кольцов медленно снял очки, и на Марию вдруг глянули глаза, в которых странным образом сочетались мудрость и беззащитность, озорство и печаль.

Он протер очки и так же медленно надел их. Взглянул прямо в глаза Марии. Она, словно завороженная, легонько положила ладонь на его руку. Он ласково и бережно взял эту ладонь и поцеловал.

И неожиданно для друзей, а может быть, и для самих себя Кольцов и Мария взялись за руки, словно дети, молча спустились со ступенек и неспешно пошли по аллее куда-то вдаль.

Эрнст Буш и Людвиг Ренн оцепенело смотрели им вслед. Наконец Буш рассмеялся и сказал:

– Вот это да! Как тебе нравится?

Ренн заметил:

– Ты знаешь, Эрни, мне показалось, будто между ними вспыхнул электрический заряд, вроде вольтовой дуги. И соединил их.

Буш помотал головой. Он был художественной натурой, и у него возникли другие ассоциации:

– Ты видел в Париже полотна Марка Шагала? Помнишь, на одном из них изображен полет влюбленной пары? Вот, по-моему, Михаил и Мария пролетают сейчас, взявшись за руки, над Берлином.

…Мария. Постоянно светящаяся радостью, полная обаяния и отваги, его спутница умела мгновенно входить в контакт с любым, даже самым угрюмым человеком. Она превосходно знала свойства характера горняков, специфику их бытового уклада и традиций. Она владела молодежным сленгом, хорошо разбиралась в тактике повседневной борьбы комсомольцев. Она чувствовала себя свободно в любой ситуации».

Михаил и Мария объехали вместе несколько городов, и симпатия между ними все больше крепла. Но никто из них не позволял себе ни единого нежного слова, ни единого жеста до того самого дня, когда настала пора возвращаться в Берлин.

И вот тогда Мария решилась:

– У меня есть предложение, Мих-Кольц. Секретное. Если ты сочтешь его неприемлемым для себя, то очень прошу навсегда забыть, что оно поступало. Договорились?… Есть у меня подруга или, вернее сказать, однокурсница по университету. Судьба у нее сложилась необычно. Она внезапно стала богатой владелицей хутора.

– Классовый враг?

– Почти. Но она – хороший классовый враг, очень добрый, приветливый и симпатичный. И вот я подумала: почему бы не сделать нам передышку и не побывать у нее на хуторе? Там удивительная тишина, чудесный ландшафт, чистый воздух, вкусное молоко… Или у тебя нет не времени, ни желания?

Он медленно ответил:

– Мне хочется вдохнуть чистого воздуха, побыть в тишине и выпить стакан вкусного молока…

– Значит, билеты на Берлин не заказывать?! – ликуя, спросила она.

…Рената, подруга Марии, приняла гостей как родных. Не расспрашивала Марию о ее спутнике, не проявляла интереса к их отношениям.

Мария и Кольцов бродили по окрестностям. Стояла чудесная погода. Запахи свежескошенной травы опьяняли. Кольцов любовался Марией, радовался ее смеху, такому же звонкому и ясному, какой была она сама.

Михаил Ефимович сказал:

– А знаешь, мне сказали про тебя, что ты – человек митингов и баррикад и вообще романтик революции.

– Господи! – воскликнула Мария. – Неужели я создаю такое

впечатление? Это ложное представление, Мих-Кольц, уверяю тебя… Нет ничего дальше от истины… Хочешь, сделаю тебе признание? Я очень верю тебе. Как никому в мире… Так вот, может, это и стыдно, но скажу правду о себе. Моя мечта, самая огромная, самая сильная, буквально всепоглощающая, с давних пор, а сейчас особенно, – это нарожать много-много детей. Иметь одного ребенка – радость, а семерых – великое счастье. Истинное счастье, как я его понимаю и чувствую. Может быть, я в душе обыкновенная бюргерша, не знаю. Но я мечтаю о детях всегда, постоянно, Вижу чужого ребенка – волнуюсь, завидую, переживаю и даже плачу. А уж иметь своих детей… прижимать их к себе, ласкать… Это – чудо!

– Как странно, – после долгой паузы проговорил Кольцов, – ведь я тоже всю жизнь мечтал о детях… А их все нет и нет у меня… Может, дьявол мстит за что-то?

…Они долго молчали. Потом Мария спросила:

– О чем ты думаешь?

– Ты назовешь меня фантазером, если скажу, о чем думаю.

– Пусть, фантазер. Скажи.

– Я понял, что увезу тебя в Советский Союз. Будешь жить в Москве.

– Я? В Москве? Разве такое возможно?

– Это необходимо. Мы должны быть рядом.

Через два дня в Берлине Кольцов как руководитель объединения „Жургаз” оформил официальное приглашение Марии Грессгенер на работу в редакцию немецкой газеты „Дойче Централь-Цайтунг” и подписал с нею контракт. На этом основании Марии была выдана виза и другие необходимые документы».

Мария была влюблена в Советский Союз, для нее он был сказочной страной победы добра и света. Она уже бывала там – впервые она посетила СССР в 1929 году со своим мужем режиссером Евгением Червяковым. Теперь ей предстояло там жить. И она действительно воспринимала это как чудо.

Кольцов добился того, чтобы Марии была предоставлена квартира из фонда «Жургаза», и сам вскоре переехал к ней. Как раз в это время Сталин распорядился выделить Михаилу Ефимовичу квартиру в только что отстроенном правительственном доме на Берсеневской набережной, но туда он, вероятно, въехал только номинально, и на самом деле там в одиночестве в основном жила Лиза. Борис Ефимов рассказывал, что Михаил часто жаловался ему в то время, как ему трудно разрываться между женой и возлюбленной, но увлечение Марией было слишком сильным, чтобы муки совести и сожаление могли

что-либо изменить.

Михаил и Мария жили вместе, повсюду они ходили вдвоем, в своем доме они принимали гостей, и очень скоро их стали считать супружеской парой. Мария писала для «Огонька» и «Правды» и ездила вместе с Михаилом в командировки. Они действительно были отличной командой, у обоих постоянно возникало множество идей и задумок для новых интересных проектов.

6

Одна из таких идей, авантюрная и даже безумная на первый взгляд, посетила Марию однажды летом 1933 года, когда они вместе с Михаилом путешествовали по Саарской области, находившейся на границе между Францией и Германией, но не присоединенной ни к одной из этих стран и пребывавшей после Первой мировой войны под управлением Лиги Наций. Кольцов готовил материал о коммунистах Саарской области и их борьбе с фашизмом в связи с намечающимся референдумом о присоединении области к Германии. И случилось так, что вместе с Марией они зашли в гости к коммунисту-железнодорожнику Йогану Лосте, где познакомились с одним из его сыновей, обаятельным разговорчивым Губертом. Мальчик охотно рассказывал журналистам о своей жизни и учебе, о пионерском отряде, в который недавно вступил, о своем личном маленьком вкладе в дело борьбы с фашизмом и совершенно очаровал Марию, ей даже показалось, что он похож на нее саму в детстве… Может, в какой-то миг она даже пожалела, что такой замечательный ребенок не может быть ее собственным сыном, и именно это натолкнуло ее на мысль – забрать его с собой…

Вечером того же дня Мария изложила Михаилу свой замысел: она рассказала, что хочет написать книгу о мальчике, который из бедной и угнетенной капиталистической страны попадает в рай земной – в Советский Союз. Книга эта будет написана как бы от лица самого мальчика, который будет путешествовать по СССР и записывать свои впечатления. Мария даже придумала название будущей книги. По аналогии со сказкой Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» ее книга будет называться «Губерт в стране чудес». Только это будет на сказка… Не совсем сказка. Это будет сказка, воплотившаяся наяву.

Впрочем, возможно, идея эта и не была спонтанной и у Марии еще до поездки был заранее заключен договор с «Жургазом» на такую книгу. Так или иначе, но замысел книги и кандидатура мальчика Кольцову очень понравились, и он тут же поговорил с родителями Губерта о том, чтобы забрать его с собой в СССР сроком примерно на год. Предложение показалось супругам Лосте вполне привлекательным. Во-первых, семья действительно была довольно бедна – помимо Губерта в ней воспитывалось еще четыре сына и дочь. Во-вторых, неясный статус Саарской области и возможное присоединение ее к фашистской Германии сулили в недалеком будущем большие проблемы семье коммунистов и им предстояло бежать. И в-

третьих, возможность поездки в овеянную романическим ореолом страну свободного труда и счастливой жизни казалась в самом деле пропуском в рай… К тому же сопровождать Губерта в этом раю должен был один из самых известных и влиятельных в СССР людей. Отказаться от такого было просто невозможно!

Таким образом, договор был заключен. Неизвестно, был ли он как-то скреплен документально, но так или иначе – Губерт Лосте отправился в СССР.

В Москве Губерт поселился в квартире Марии Остен и поступил в немецкую школу имени Карла Либкнехта. Его жизнь в Советском Союзе действительно была очень насыщенной, Михаил и Мария составили для него чрезвычайно интересную программу. Он встречался с самыми знаменитыми командирами Красной Армии – Буденным и Тухачевским. Он посетил Мавзолей Ленина и парад военной техники на Красной площади. Он летал на самолете-гиганте «Максим Горький». Летом он отдыхал в Артеке. Он постоянно был в центре внимания. Его приглашали пионерские отряды, его задаривали подарками и цветами, на него смотрели как на значительное лицо и обращались соответственно. Мальчик из Германии быстро стал очень популярен.

Мария тем временем писала книгу, которая была напечатана в 1935 году и, как и предполагалось, тоже стала значительным событием. Предисловие к ней написал сам глава Коминтерна Георгий Димитров. И именно в этой книге по личной просьбе Марии впервые была опубликована знаменитая «домашняя» фотография Сталина с дочерью Светланой на руках, до этого тиражировались только официальные портреты вождя.

7

В 1936 году началась гражданская война в Испании. Поддерживаемый фашистской Италией и Германией генерал Франко вознамерился сокрушить Испанскую республику. Разумеется, Кольцов не мог оставить такое событие без внимания и тотчас отправился в Испанию в качестве корреспондента «Правды» и политического советника от Коминтерна. С ним вместе поехала и Мария Остен, в связи с чем Губерта Лосте весной 1937 года временно определили в детский дом.

Кольцов не был бы самим собой, если бы не развил в Испании бурную деятельность. Он был везде и участвовал во всем. Он писал репортажи для «Правды». Он организовывал международный конгресс писателей в защиту культуры от фашизма, который благополучно прошел в Мадриде в самый разгар войны. Он лично участвовал в боях за Толедо и под Мадридом, шел в бой вместе с солдатами.

Там он написал самое знаменитое свое произведение «Испанский дневник», где рассказал о своей официальной деятельности от первого лица и о неофициальной от лица некоего мексиканского коммуниста Мигеля Мартинеса. Разумеется, в книгу вошли далеко не все аспекты деятельности Кольцова в Испании, было бы наивно полагать, что поручения советского правительства ограничились только организацией конгресса и репортажами с фронта. Но в чем именно заключалась по-настоящему тайная деятельность Кольцова, доподлинно неизвестно. Сергей Данилов в книге «Гражданская война в Испании» описывает такой факт: «За парадным фасадом Мадридской битвы – „битвы за всех угнетенных, за человеческие права” скрывалась расправа почти с 8000 политзаключенных из столичных тюрем. 7 ноября их вывезли из Мадрида и без суда тайно расстреляли в уединенной местности юго-восточнее города. Правительство опасалось, что заключенные поднимут восстание и захватят город. Очень немногим из них удалось бежать. Руководили операцией 20-летние лидеры „социалистической молодежи” Сантьяго Каррильо и Хосе Касорла. Среди ее вдохновителей были также советские граждане – Кольцов, Берзин и уполномоченный НКВД в Испании Орлов-Фельдбин. Расправу позже списали на „бесконтрольных” анархистов. Характерной чертой явилось нежелание самих испанцев без суда перебить 8000 безоружных и не приговоренных к смерти сограждан – понадобилась инициатива иностранцев».

Есть предположение, что арест и последовавший за тем

расстрел Кольцова произошел именно по этой причине: тот слишком много знал о неправедных делах советского правительства в Испании. Данилов пишет: «Показательна и дальнейшая судьба вдохновителей и руководителей расправы. Кольцов и Берзин вскоре были казнены на родине. Орлов-Фельдбин через два года бежал в США, где под чужим именем прожил почти тридцать лет, опасаясь за свою жизнь. Касорлу в 1939 году расстреляли соотечественники. Карьеру сделал только Каррильо, ему суждено было через четверть века возглавить испанскую компартию». Предположительно Кольцов участвовал так же в аресте и переправке в Москву одного из руководителей антисталинской коммунистической партии ПОУМ, где тот впоследствии был расстрелян.

О деятельности Кольцова упоминает и Эрнест Хемингуэй в романе «По ком звонит колокол», советский журналист фигурирует в нем под фамилией Карков:

«…Карков, приехавший сюда от „Правды” и непосредственно сносившийся со Сталиным, был в то время одной из самых значительных фигур в Испании».

Участвовала в войне в Испании и Елизавета Ратманова. О ее работе известно совсем мало, только то, что она была командиром танковой бригады. И она тоже появилась на страницах романа Хемингуэя в очень интересной зарисовке: «Из четырех женщин три были в обыкновенных простых платьях, а на четвертой, черной и невероятно худой, было что-то вроде милицейской формы строгого покроя, только с юбкой, и сапоги. Войдя в комнату, Карков подошел к женщине в форме, поклонился ей и пожал руку. Это была его жена, и он сказал ей что-то по-русски так, что никто не слышал, и на один миг дерзкое выражение, с которым он вошел в комнату, исчезло из его глаз. Но оно сейчас же опять вернулось, как только он заметил красновато-рыжие волосы и томно-чувственное лицо хорошо сложенной девушки, направился к ней быстрым четким шагом и поклонился. Жена не смотрела ему вслед. Она повернулась к высокому красивому офицеру-испанцу и заговорила с ним по-русски…»

Этот короткий абзац проливает свет на взаимоотношения супругов, передавая всю неловкость в ситуации их встреч: смущение Кольцова в присутствии Лизы, в то время как он путешествует вместе с любовницей, и нарочитое равнодушие самой Лизы, которая старается не смотреть ему вслед.

Такая ситуация, кстати, повторялась не однажды.

В книге Бориса Медового подробно описан эпизод встречи всех участников любовного треугольника во время одной из

командировок Кольцова – в ресторанчике парижской гостиницы. Это было еще до поездки в Испанию.

«…– Что с тобой, Маша? – испуганно спросил он.

Она не ответила. К столу подошла высокая прямая женщина с прозрачно-голубыми глазами. Ее удлиненное лицо было бесстрастным. Кольцов со вздохом спросил:

– Лиза?

– Она самая, – сказала жена.

– Добрый день, Елизавета Николаевна, – с усилием произнесла Мария. – С приездом!

– Спасибо, милочка, – кивнула та.

– Присаживайся, Лиза, – бросил Кольцов. – Поешь что-нибудь? Выпьешь кофе?

Она опустилась на стул.

– Ты выбрал на этот раз какой-то захудалый отель, – сказала она Кольцову. – Он суматошный, обслуга – шизоидная.

– Отель как отель, – пожал плечами Михаил Ефимович. – Недорогой, уютный, обслуживание на высоком уровне… Что еще надо? А ты надолго ли в Париж?

– Надолго ли? Откуда я знаю? Сколько ты пробудешь, столько и я.

Елизавета Николаевна помолчала, потом, нагнувшись к мужу, тихо спросила:

– Не знаешь, Михаил, имеется ли тут у них пиво?

– Сейчас узнаю, – устало произнес он.

– Будь любезен.

Мария не выдержала напряжения и поднялась:

– Прошу извинить, у меня заказан телефон.

Она вернулась в номер, легла на постель вниз лицом и дала волю слезам.

Ничто так не угнетало и не обескураживало ее в московской жизни, как эти непонятные отношения Михаила со своей странной женой. Мария никогда не спрашивала его об этом, полагая, что он сам когда-нибудь раскроет секреты необычного брака.

Елизавета Николаевна конечно же была хорошо осведомлена о характере отношений мужа и Марии. Тем не менее она никогда ни при каких обстоятельствах не пыталась высказаться на этот счет. При неизбежных встречах она смотрела сквозь Марию своими прозрачными глазами. И на лице ее нельзя было прочесть ничего. На нем не проявлялось даже гримасы неудовольствия. Странная женщина.

Появление ее в Париже тоже носило необъяснимый, странный характер».

Борис Медовой с большой симпатией относится к Марии Остен и явно недолюбливает Елизавету Ратманову, хотя, по совести, симпатия и сочувствие должны бы принадлежать брошенной – и даже не до конца брошенной! – жене, а не любовнице. Возможно, писатель намекает на то, что отношения Кольцова с женой действительно скрывали что-то такое, что не могло стать предметом гласности… Впрочем, это только предположение. Многие мужчины предпочитают не разводиться с женами и жить на две семьи. А уж в те времена, в среде творческой интеллигенции, такое было и вовсе не редкость. И не только в Советском Союзе. А Лиза просто не желала сидеть дома одна, и ей доставляло удовольствие действовать на нервы неверному супругу.

Лиза развелась с Кольцовым в 1938 году, после его ареста, чтобы не иметь ничего общего с «врагом народа». Жены репрессированных почти всегда отправлялись за ними следом, в лучшем случае – в лагерь, в худшем – к стенке. Рисковать жизнью ради неверного супруга у Лизы не было абсолютно никаких причин.

Дальнейшая ее жизнь текла ровно и без особых потрясений.

Л. В. Серова вспоминает: «Во время войны Ратманова закончила курсы медсестер при Филатовской больнице и работала в госпитале операционной сестрой, одновременно продолжала писать очерки, которые появлялись в газетах и радиопередачах… В послевоенные годы Елизавета Николаевна много болела, лежала в больницах, но когда я ее видела, она всегда была бодра, элегантно одета, покрашена в свой черный цвет, который не менялся до конца жизни. А в ушах были чудесные большие аквамарины под цвет глаз… В последние годы жизни Елизавета Николаевна был секретарем испанской группы при комитете ветеранов войны… Испанские добровольцы проводили ее в последний путь в 1964 году».

8

Собирались ли когда-нибудь Михаил Кольцов и Мария Остен узаконить свои отношения, неизвестно, скорее всего нет, однако в Испании они усыновили ребенка. Однажды в развалинах полуразрушенного дома Мария нашла двухлетнего мальчика, оставшегося сиротой: его родители погибли при бомбежке. Уцелевшие соседи малыша сообщили Марии, что его имя Хосе. Та молча подняла его на руки и принесла к машине, где ждал ее Михаил.

– Мальчик больше не сирота. Это наш сын. Ясно? – сурово сказала она.

– Ясно, – кивнул Кольцов и тронул машину.

Так Мария неожиданно обзавелась долгожданным ребенком.

«Чудны дела твои, Господи, – писал об этом событии Хемингуэй. – Мать – немка, отец – русский, ребенок – испанец». В самом деле, чудесно и удивительно. Только в то время и только с этими людьми могло произойти что-то подобное…

С первой же минуты Мария фанатично обожала ребенка, и все, о чем могла она думать теперь, это оформить усыновление. Вскоре она улетела в Москву и там подписала все бумаги. Мальчик получил имя Иосиф Грессгенер. Мария ласково звала его Юзиком. Пробыв около полугода в Москве и уверившись, что малыш теперь ее и никто его не отнимет, она оставила его на попечение друзей и в апреле 1937 года вернулась в Испанию.

Между тем несмотря на деятельную помощь советских «добровольцев», испанские республиканцы проигрывали войну генералу Франко. К весне 1937 года поражение стало казаться Сталину неизбежным. «Слабы оказались испанские товарищи, – вздыхал он печально, – не оправдали надежд…» Не оправдали возложенных на них надежд и политические советники, и весь 1937 год прошел под знаком массового отзыва советских граждан из Испании. В апреле вернулся в Москву и Михаил Кольцов. На родине его встретили как героя, популярность его возросла до невиданных высот: его приглашали на фабрики и заводы, в школы и клубы, чтобы послушать о героической борьбе испанского народа с фашизмом. Вызывал его к себе и Сталин… И впервые в беседе с вождем Кольцов почувствовал неприятный холодок в душе. Позже он рассказал об этом брату.

«Наконец беседа подошла к концу, – пишет Борис Ефимов, – и тут, рассказывал мне Миша, Сталин начал чудить. Он встал из-за стола, прижал руку к сердцу и поклонился.

– Как вас надо величать по-испански? Мигуэль, что ли?

– Мигель, товарищ Сталин, – ответил я.

– Ну так вот, дон Мигель. Мы, благородные испанцы, сердечно благодарим вас за ваш интересный доклад. Всего хорошего, дон Мигель! До свидания.

– Служу Советскому Союзу, товарищ Сталин!

Я направился к двери, но тут он снова меня окликнул и как-то странно спросил:

– У вас есть револьвер, товарищ Кольцов?

– Есть, товарищ Сталин, – удивленно ответил я.

– Но вы не собираетесь из него застрелиться?

– Конечно нет, – еще более удивляясь, ответил я. – И в мыслях не имею.

– Ну, вот и отлично, – сказал он. – Отлично! Еще раз спасибо, товарищ Кольцов. До свидания, дон Мигель.

На следующий день, – вспоминает Борис Ефимов, – Миша поделился со мной неожиданным наблюдением.

– Знаешь, что я совершенно отчетливо прочел в глазах „хозяина", когда он провожал меня взглядом? Я прочел в них: „Слишком прыток"».

Никакого неприятного продолжения у этого разговора не было. Вскоре Кольцов снова уехал в Испанию. Только теперь уже… без Марии Остен. В Москве у его возлюбленной внезапно вспыхнул бурный роман с певцом Эрнстом Бушем. И в Испанию она поехала вместе с ним. Кольцов очень переживал эту измену и пытался Марию вернуть, что, ему, по всей вероятности, вскоре удалось. До самого конца испанской командировки Кольцова они снова были вместе. И это оказались последние счастливые месяцы в их жизни…

В 1938 году Михаил Кольцов был снова отозван из Испании в Москву.

И на сей раз он возвращался на родину с тяжелым сердцем и плохими предчувствиями. Кольцов не мог не знать о череде прошедших в Советском Союзе арестов. Среди тех, кто был объявлен «врагом народа», оказались и его хорошие знакомые, его товарищи по войне в Испании, и, памятуя о последнем странном разговоре со Сталиным, Михаил Ефимович не был уверен и в своей безопасности.

Опасаясь за Марию, Кольцов отправил ее в Париж и велел ни при каких обстоятельствах не возвращаться в Москву. Мария плакала, она скучала по Юзику, и на прощание Кольцов обещал сделать все, чтобы переправить ребенка к ней в Париж.

В Москве Кольцова встретили еще лучше, чем в его первое возвращение с фронта. Сталин обращался с ним особенно по-дружески и поручал все новые ответственные задания. Кольцов не

ждал ареста, он верил в то, что еще может быть нужен и полезен вождю, ведь он всегда был абсолютно и без сомнений ему предан. И все же он не чувствовал себя спокойно.

Будучи в командировке в Чехословакии, Кольцов позвонил Марии в Париж, хотя уже знал, что этого делать не стоит. Мария плакала, а он твердил ей:

– Маша, я приеду к тебе… Маша, ты слышишь? Я приеду в Париж! Непременно, обязательно! Маша, родная, я не могу без тебя! Перестань плакать!

Об этом телефонном разговоре сразу же доложили в Москву, и Кольцову пришла резолюция срочно возвращаться домой. Выпускать его в Париж никто уже не собирался.

Пришлось снова звонить Марии и говорить ей, что приехать он не сможет.

– Умоляю, Миша, пришли мне с кем-нибудь Юзика, – просила та его сквозь слезы, – иначе я умру здесь без тебя и без него…

Кольцов подтвердил обещание сделать для этого все возможное. И действительно, ему удалось переправить мальчика в Париж с кем-то из своих друзей.

9

За два года до ареста, будучи в Испании, Михаил Кольцов вместе со своим другом кинооператором Романом Карменом посетил знаменитую толедскую прорицательницу Исабель Дельгадо, вероятно, просто из любопытства решив расспросить ее о своей судьбе. Говорили, что предсказания Исабель всегда сбываются, и, разумеется, в это не могли поверить два правоверных коммуниста, убежденных в том, что миром правят исключительно материальные силы. Возможно, если бы они хоть немного верили в то, что прорицательница действительно увидит их будущее, поостереглись бы спрашивать, ведь никому не стоит знать заранее, какой его ждет конец.

Исабель взглянула на Романа Кармена и сказала ему:

– Вот ты, красавчик, останешься довольным своей жизнью, долгой и удачной. А все беды твои будут от трех твоих жен. С ними тебе сильно не повезет…

Потом она посмотрела на Михаила Кольцова и некоторое время молчала.

– А мою судьбу вы видите? – спросил журналист.

– Вижу, конечно… Но скажу тебе лишь одно: получишь полной мерой все, что желаешь. Но счастлив не будешь.

А когда они уходили, Исабель вдруг подозвала Кармена и что-то прошептала ему на ухо. Как ни допытывался Кольцов, друг так и не ответил ему, что же именно сказала ему прорицательница. И только много лет спустя после гибели Кольцова Кармен выдал эту тайну их общим знакомым.

– Запомни, – сказала ему Исабель, – ты надолго переживешь своего друга. Над ним – черное крыло. Он будет предан смерти в храме Божьем.

Предсказание во многом сбылось…

После возвращения из Испании в 1938 году Кольцов был избран депутатом Верховного Совета РСФСР и членом-корреспондентом Академии наук СССР. Огромным тиражом вышла его книга «Испанский дневник», и его популярность взлетела до невиданных высот. Сталин лично поручил ему сделать доклад о недавно вышедшем в печати «Кратком курсе Коммунистической партии», с чем Кольцов справился великолепно. Был ли он счастлив в то время? Вряд ли, потому что не мог не предчувствовать надвигающуюся беду. В конце 1938 года все уже знали, что внезапное благоволение Сталина часто предшествует аресту.

В начале 1937 года, когда только начались массовые аресты,

в разговорах с друзьями Кольцов удивлялся, как это может быть, что преданные и абсолютно верные социалистической родине люди, многих из которых он знал лично и в которых никак не мог усомниться, внезапно оказываются «врагами народа» и подписывают совершенно чудовищные признания, соглашаясь с тем, что они вредители и шпионы. Очень скоро ему представилась личная возможность узнать, как и почему это бывает…

Его арестовали в ночь с 12 на 13 декабря в редакции «Правды».

Поводом послужил донос генерального секретаря интербригад Андрэ Марти, с которым у Кольцова был конфликт в Испании и который обвинил его в работе на германскую разведку. Одновременно с ним он обвинил в том же самом и Марию Остен. Но разумеется, это был только повод. У Сталина хватало компромата на всех приближенных, и только он решал, когда и какому делу дать ход и делать ли это вообще.

Следственное дело по обвинению Кольцова долгое время было засекречено, но в начале 1990-х годов к нему был открыт доступ, который получили и историки, и родственники. Были живы еще и кое-кто из сотрудников НКВД, лично общавшихся с Кольцовым на Лубянке и тоже приоткрывших завесу мрака над этой ужасной историей. Так, например, Борис Медовой в своей книге приводит личное свидетельство человека, осуществлявшего пытки. В служебной ведомости он числился парикмахером. И сотрудники Лубянки так и называли его – Парикмахер.

Борис Медовой пишет: «…В тот вечер его привезли во внутреннюю тюрьму, велели раздеться донага, произвели какой-то изуверский обыск, забрали очки. В ответ на его слова, что он не может без очков, служитель лениво заметил, что очки выдадут – для подписания протокола допроса. Ему швырнули какую-то странную мятую одежду и велели в нее облачиться. Заношенные красноармейские штаны были очень широки и беспрестанно сползали. Надо было их все время поддерживать. Такая же засаленная гимнастерка. Калоши были громадного размера с бурыми пятнами на вытертой подкладке. Он с омерзением сунул в них босые ноги. На просьбу отдать хотя бы носки один из охранников равнодушно проронил:

– Перестань трепыхаться, интеллигенция. Тебе теперь твои вещички без надобности. Отсюда не выходят.

Два охранника повели его по коридору. Калоши спадали. Штаны сползали. И когда подошли к лифту, он пожаловался на это.

– Что-что? – переспросил охранник. – Тебе у нас не нравится?

Охранники переглянулись, один из них взял его за правое ухо, другой – за левое. Они ткнули его лицом в железную стенку, вроде бы легонько, но так, что из разбитого носа и губ потекла кровь.

…Так начался этот нескончаемый кошмар. Допросы, пытки, избиение, допросы, истязания, допросы».

Следствие над Кольцовым длилось удивительно долго – целый год. Обычно хватало пары месяцев. С ним работали медленно, вдумчиво и аккуратно. Допросы перемежались долгими – иногда по целому месяцу – отсидками в одиночной камере, без общения, без возможности читать или писать.

Кольцов сдался довольно быстро.

Уже через месяц заключения он начал давать показания, признав не только собственную вину в абсурднейших преступлениях, но и оговорив огромное множество друзей и знакомых с какой-то бесшабашной лихостью. В какой-то момент даже следователь удивился столь обширному потоку обвинений и предупредил журналиста, что он должен говорить правду и только правду.

В следственных протоколах нет ничего о том, какие именно пытки и методы устрашения были применены к Кольцову во время допросов, но вот какой эпизод приводит Борис Медовой, ссылаясь на показания Парикмахера:

«Кольцова привели в пыточную камеру, оборудованную техникой, предназначенной для кромсания живого человеческого тела. Высокий губастый парень с рыжими волосами и белокожим лицом приказал Кольцову скинуть всю одежду и лечь на спину между двумя вмонтированными в пол стойками. Словно медсестра, готовящая пациента к снятию кардиограммы, парень неторопливо закрепил каждую его ногу специальными скобами. Затем тоже проделал с руками и затянул широкий ремень на голом животе. Кольцов приподнял голову, и рыжий заметил:

– Если хочешь, можешь смотреть, я не возражаю.

– А что ты собираешься со мной делать?

– А я объясню, – миролюбиво и даже с оттенком дружелюбия сказал парень. – Вот, глянь, землячок, какие башмачки я надеваю. Видишь?

Кольцов таких страшных ботинок никогда не видел. Сплошная подошва без каблуков имела высоту сантиметров десять. Парень, прежде чем надеть, показал башмак со всех сторон. Металлические пластины покрывали подошвы до середины.

– Стало быть так, – произнес парень с учительской интонацией, – ничего хитрого. Вся операция длится две минуты.

Раздавить детородный орган – это пустяк по сравнению с другими операциями. Я наступаю на него в этих сапогах, раздается негромкий треск… И готово. Ты уж не обессудь, земляк. Такая у меня работенка. Приказано – выполняю. Воздуху набери побольше. Будет больно».

Якобы в этот момент Кольцов и согласился подписать все протоколы допроса.

О том, каков был его план, выяснилось на суде, который состоялся 1 февраля 1940 года. Вероятно, понимая, что пыток ему не выдержать, Михаил Ефимович решил пойти на хитрость: признать все обвинения, оговорить друзей и знакомых с тем, чтобы позже перед военным трибуналом отказаться от всех показаний и заявить, что их из него выбивали пытками. В протоколе судебного заседания значится: «Подсудимый ответил, что виновным себя не признает ни в одном из пунктов предъявленных ему обвинений. Все предъявленные обвинения им самим вымышлены в течение 5-месячных избиений и издевательств и изложены собственноручно… Все показания, касающиеся вербовки в германскую, французскую и американскую разведки, также вымышлены и даны под давлением следователя».

Судьи выслушали его речь с совершенно флегматичными лицами, после чего председатель сказал просто: «Не клевещите на органы».

План Кольцова провалился. Его слова не имели никакого значения.

Приговор уже был подписан и обжалованию не подлежал.

Михаила Ефимовича расстреляли на следующий день, 2 февраля 1940 года. Вряд ли его повезли для этого в заброшенную церковь, скорее всего, все произошло в одном из подвалов Лубянки. Но во всем остальном предсказание гадалки сбылось в точности.

10

Михаил Кольцов оговорил многих, на него самого наветов тоже хватало. Но были двое, безусловно любящих и самопожертвенных людей, которые не отказались от него и с риском для жизни пытались сделать все возможное и невозможное для того, чтобы облегчить его участь. Одним из этих людей был брат Кольцова, художник Борис Ефимов, который с момента его ареста ходил по инстанциям, пытаясь выяснить его судьбу, и носил передачи и деньги в тюрьму. Носил до того самого момента, пока в феврале 1940 года его не отправили восвояси, заявив, что дело Кольцова закончено и перенесено в Военную коллегию Верхсуда. В панике Борис Ефимов написал письмо председателю коллегии В. В. Ульриху с просьбой принять его. (Это был тот самый человек, который несколькими днями ранее говорил Кольцову: «Не клевещите на органы».) А потом решился на совсем уже безумный шаг – написал телеграмму самому Сталину. Удивительно, но даже после этого Ефимова не арестовали, хоть он и ждал этого каждую ночь, слушая тихий шелест шин проезжавших мимо окон машин. Обошлось… Он прожил долгую жизнь, очень долгую – сто восемь лет. И за себя и за своего брата.

Вторым самопожертвенным человеком была Мария Остен. Будучи в Париже, она узнала, что Михаил арестован, причем одним из пунктов его обвинения была порочащая связь с ней – якобы немецкой шпионкой. В ужасе от всего происходящего Мария срочно решила ехать в Москву, где собиралась доказать следствию, что никакой шпионкой она не является, и попытаться вытащить Михаила из тюрьмы.

Друзья всеми силами пытались отговорить ее, понимая, что она отправляется на верную смерть, но ничего не смогли поделать. Мария приняла решение, и ее было не остановить.

– Пойми, Мария, дорогая, – убеждал ее Андре Мальро, – ты забываешь, куда ты едешь. Вспомни, что ты сама там видела и что говорит Фейхтвангер. Михаила ты не спасешь и сама погибнешь. Тебя арестуют прямо на вокзале.

– Нет-нет, Андре, – отвечала Мария. – Ты ошибаешься, преувеличиваешь опасность и недооцениваешь шансы на успех. А я считаю, что если есть хотя бы один-единственный шанс, то я не имею права его не использовать. Я бы никогда не простила себе такого предательства. К тому же я уверена – шансов гораздо больше. Может быть, даже половина на половину.

Взяв с собой маленького Юзика, Мария приехала в Москву.

На вокзале никто ее не арестовал, и она поехала в принадлежавшую ей квартиру в кооперативном доме Жургаза на Самотеке, где в то время проживал Губерт Лосте.

Губерт так и не вернулся в Германию, за прошедшие годы он стал настоящим советским человеком. Борис Ефимов утверждает, что тот даже успел жениться на какой-то крайне неприятной девушке, хотя в ту пору Губерту было всего 16 лет, да к тому же он не являлся гражданином РСФСР. Так что, видимо, брак был гражданский.

Так или иначе, юноша не пустил Марию на порог.

Борис Ефимов вспоминает:

«Дверь ей открыл сам Губерт.

– Это я, Губерт, – сказала Мария и хотела войти в квартиру, но Губерт молча и неподвижно стоял на пороге.

– В чем дело, Губерт? – удивилась Мария.

– А в том, – раздался визгливый голос возникшей за спиной Губерта молодой особы с пышной челкой на лбу, – что вы можете отправляться туда, откуда приехали. Мы не желаем иметь ничего общего с врагами народа!

– Ты с ума сошел, Губерт? – изумилась Мария. – Ведь это же моя квартира!

– Это наша квартира! – закричала супруга Губерта, а сам он, не произнеся ни единого слова, закрыл дверь.

Все это в тот же день Мария рассказала мне, горько улыбаясь и разводя руками. Вот так „Губерт в стране чудес", – приговаривала она».

В общем-то Губерта вполне можно понять, – брошенный практически на произвол судьбы в чужой стране мальчишка был перепуган до полусмерти. После ареста Кольцова он был уже никому не нужен и сам вполне мог оказаться арестован за «порочащую связь».

Мария вместе с Юзиком поселилась в гостинице, начала ходить по инстанциям и вскоре поняла, что это совершенно бессмысленно. Старые друзья ничем не могли ей помочь, представители власти отказывались принимать ее. Мария осознала, что совершила большую ошибку, приехав в Москву, но пути обратно у нее уже не было. Она не могла покинуть СССР и должна была подумать о том, как жить здесь дальше, а для этого ей необходимо было получить гражданство.

Однажды, будучи в Коминтерне, она встретилась с Вильгельмом Пиком и Георгием Димитровым. «Георгий и Вилли, у меня к вам просьба, – сказала она. – Я приехала с Юзиком. Если со мной что-то случится, пожалуйста, постарайтесь, чтобы он попал в Коминтерновский детдом».

Друзья исполнили ее просьбу.

После того как 22 июня 1941 года Марию арестовали, они пристроили ребенка в интернат. Как и у многих коминтерновских детей, судьба Юзика была незавидна. Впрочем, о нем вообще мало что известно. Борис Медовой пишет, что Йозеф Грессгенер вырос мрачным, неуравновешенным парнем, после окончания интерната продолжать учебу не пожелал, и следы его потерялись.

Гораздо более примечательна история Губерта Лосте.

После выхода из детского дома в марте 1938 года Геберт был определен на завод «Фрейзер» имени Калинина учеником электрослесаря. Прожив три месяца в общежитии при заводе, он связался с Кольцовым, который, уступая его просьбе, дал согласие прописать его в квартире Марии. Тогда же он взял в жены комсомолку по фамилии Широкова.

В декабре 1938 года Губерт договорился с Кольцовым, что тот обеспечит ему материальную возможность учиться в техникуме, но через три дня того арестовали. Губерту пришлось вернуться на завод, где теперь, когда он стал практически родственником «врага народа», относились к нему совсем иначе. В автобиографии Губерт писал, что начальник начал к нему придираться, да так, что тот не выдержал и снова ушел с завода. Устроиться на хорошую работу он не смог, хотел даже вернуться в Германию к родителям, но выяснилось, что уезжать в сущности уже некуда. Семья эмигрировала куда-то во Францию, и жилось ей там нелегко. В итоге Губерт устроился на работу в Государственную библиотеку иностранной литературы. И в 1939 году подал заявление на гражданство.

После начала войны, как и всех неблагонадежных иностранцев, Губерта отправили в Казахстан, где до окончания войны он работал заведующим колхозной библиотекой. В 1943 году он женился, на сей раз уже вполне официально, на немке Амалии Андреевне Франк, и в 1946 году у супругов родилась дочь Элеонора. К тому времени Губерту доверили чуть более ответственную работу, нежели заведование библиотекой, – он стал участковым механиком в колхозе, и, судя по всему, с новыми обязанностями справлялся неплохо.

Когда закончилась война, Губерт попросил разрешение на выезд в Германию, но не получил его. Более того, видимо, его желание покинуть «страну чудес» насторожило органы безопасности, потому что в 1947 году совершенно неожиданно Губерта обвинили в краже. Совершился суд, в итоге которого он получил пять лет лишения свободы. И уже в тюрьме он был повторно обвинен в чем-то совершенно «чудесном» – попытке взорвать лагерную водокачку, после чего к его сроку добавили

еще семь лет…

В 1957 году, отсидев десять лет от положенного срока, Губерт написал в прокуратуру прошение о реабилитации. Его дело было пересмотрено и срок сокращен, Губерт вышел на свободу.

Возвращение Губерта Лосте в Москву произвело даже некоторый фурор. О нем все давно забыли, его никто не ждал, никто не знал, что делать с ним дальше. Губерт снова просил о том, чтобы его выпустили в Германию, но это было решительно невозможно. Набирала обороты холодная война, а Саарская область находилась на территории ФРГ, и возвращение мальчика из «страны чудес», хлебнувшего столько горя и лишений, безусловно, имело бы совсем не нужный для Советского Союза резонанс.

С Губертом решили договориться. Ему предоставили возможность жить там, где ему хочется. Губерт выбрал Крым. Ему предоставили дом и возможность работать механизатором в одном из колхозов. Ему даже разрешили встретиться с матерью. Отец и четверо братьев Губерта погибли, сражаясь во французском Сопротивлении, и фрау Лосте разрешили приехать в гости к последнему оставшемуся в живых сыну – они не виделись семнадцать лет. И получилось так, что встретились они в последний раз…

В августе 1959 года Губерт Лосте неожиданно умер в местной больнице от аппендицита. Его знакомые считают, что произошло это слишком своевременно, чтобы можно было поверить в естественность причин… Губерту было всего 36 лет.

11

Но вернемся в 1941 год к моменту ареста Марии Остен.

Постановление на ее арест было выписано в первый день войны – вероятно, Марию сочли особо опасным диверсантом, которого никак нельзя оставлять в тылу. И уже на следующий день чекисты ворвались в номер гостиницы «Метрополь», где она проживала вместе с Юзиком, арестовав ее и конфисковав ее имущество, состоявшее по описи из одного сарафана, двух пар трусов, одной пары туфель и пяти носовых платков.

Ее отправили во внутреннюю тюрьму Лубянки, и в тот же день состоялся первый допрос, где Марии были предъявлены обвинения.

Борис Сопельняк в книге «Смерть в рассрочку» пишет: «Обвинения, которые были предъявлены Марии, настолько нелепы, что просто диву даешься, как можно было принимать их всерьез. Судите сами. Марии заявили, что она является германской и французской шпионкой одновременно. Франция находится в состоянии войны с Германией, больше того, Франция побеждена и наполовину оккупирована, а Мария Остен поставляет Франции разведданные о Германии, а Германии – о Франции. Само собой разумеется, что обе страны получают секретную информацию о Советском Союзе. Основанием для такого рода обвинений стали показания уже арестованных „агентов иностранных разведок” Болеславской-Вульфсон и Литауэр».

Мария не признала себя виновной.

На следующий день, вероятно, из страха, что немцы захватят Москву и освободят своего агента, ее отправили в саратовскую тюрьму. И там уже начались настоящие допросы… Нет, ее не били и даже не особенно обижали, с ней обращались достаточно мягко. Просто убеждали принять вину, выдать сообщников, подробно расспрашивали о Кольцове. Каким он был… Что он любил… С кем предпочитал общаться… Мария отвечала на вопросы весело и честно – ей нечего было скрывать, и она радовалась тому, что следователя интересует Михаил. Она думала, что раз так – значит он еще жив! Убить ее оптимизм было решительно невозможно, несмотря на все пройденные ею за последнее время перипетии, она все еще верила в лучшее. Верила в то, что они с Михаилом выживут, что еще встретятся… Может быть, даже встретятся в лагере, в Сибири! Или – если уж не повезет, то потом, лет через десять или пятнадцать, когда закончится их тюремный срок и они выйдут на свободу. Они

непременно встретятся и будут счастливы. У них все еще будет!

Она так и не признала свою вину, вероятно, следователю не так уж было это надо. В конце концов, кто такая эта Мария Остен? Кто будет интересоваться ее судьбой и правомерностью вынесенного приговора?

6 декабря 1941 года Марии было предъявлено обвинительное заключение. И хотя следователь отметил, что «Остен виновной себя не признала», он рекомендовал определить ей высшую меру наказания.

Таким образом, следствие закончилось, но приговор был вынесен не сразу. По какой-то причине дело Марии рассматривалось судом лишь 8 августа 1942 года.

Рекомендация следователя была принята ко вниманию.

Марию Остен приговорили к расстрелу.

Приговор был приведен в исполнение 16 сентября.

12

Если есть жизнь после смерти – они наверняка встретились. Такая сильная любовь не может просто исчезнуть. Возможно, в день, когда расстреляли Михаила Кольцова, она не развеялась в стылом воздухе, а теплым комком свернулась под сердцем Марии Остен, заставив ее сражаться за любимого в самоубийственном, отчаянном порыве… А в день, когда пуля оборвала ее жизнь, куда ушла любовь? Возможно, к другим влюбленным, неожиданно воспламенив их чувства до наивысшего, предельного накала? И они будут гадать – откуда это, почему вдруг так?… Почему так страшно разомкнуть объятия и отпустить любимого?… Они не поймут, что эта любовь уже была прострелена навылет, что она досталась им – раненая, истекающая кровью, и теперь ее надо особенно беречь… Чтобы не ранить вновь. А убить ее нельзя: любовь не умирает.

Да, хочется верить, что любовь не уходит из мира вместе с жизнью любящих. Что талант не уходит в небытие вместе с жизнью писателя… А еще, вглядываясь в трагедии прошлого, очень хочется жить и радоваться каждому дню, радоваться каждому ее проявлению, каждой крупице тепла и счастья, даже самой крохотной, едва заметной в суете будней. Как писал совсем еще юный Михаил Кольцов в единственном своем, но таком прекрасном стихотворении в прозе:

Очень хочется жить:

Когда на дворе идет бессменный и тусклый дождь;

Когда вспоминают о смерти детей;

Когда в соседнем доме играет кто-то на рояле;

Когда горничная выходит замуж и ласково ссорится на кухне с грузным женихом;

Когда бабы в платках крикливо торгуют на бульваре цветами;

Когда возвращаешься ночью из театра через сонный и грустный город;

Когда знаешь, что кто-то в тебя неразделенно влюблен;

Когда дерутся в переулке на

окраине города петухи;

Когда читаешь Вербицкую и знаешь, что можно написать лучше;

Когда строят дом и кругом пахнет известью, свежим деревом и горячим асфальтом;

Когда к жесткой окоченелой хмурой земле подкрадывается весна и

знаешь, что это будет еще не раз, всегда, всегда.

Рихард Зорге и Екатерина Максимова: «Не подходите к ней с вопросами…»

Рихард Зорге и Екатерина Максимова

...

– Зорге Рихард (4 октября 1895 года, Сабунчи, Бакинский уезд, Российская империя – 7 ноября 1944 года, Токио, Японская империя) – советский разведчик, Герой Советского Союза.

– Максимова Екатерина Александровна (1904 год, Петрозаводск, Российская империя – 3 июля 1943 года, поселок Большая Мурта, СССР) – начальница цеха завода Точизмеритель.

– Он – фантастически умный, обаятельный, хитрый, смелый, решительный, любитель приключений, один из талантливейших разведчиков за всю историю разведки.

– Она – тихая домашняя женщина, жертвенная натура, мечтавшая о настоящей семье, любви, детях.

– Он изменял ей постоянно.

– Она была безупречно верна и ждала его возвращения.

– Они познакомились в 1929 году, полюбили друг друга, но практически вся совместная жизнь их прошла в разлуке. В переписке они сказали друг другу, возможно, больше, чем в беседах с глазу на глаз.

– Оба друг для друга – вторые супруги. Свадьбу сыграли в начале 1933 года, официально узаконили брак 8 августа 1933 года, когда

Рихард уже находился в Японии.

– Общих детей не было.

– В 1935 году они расстались навсегда, хотя переписка продолжалась до ареста Рихарда 18 октября 1941 года.

Есть люди, которые рождаются для мирной жизни, для покоя и уюта, а есть такие, кто создан для приключений, – для того, чтобы сражаться на войне, совершать революции, постоянно испытывать на прочность себя и мир вокруг, кого тянет к опасности. Иногда им даже может казаться, что они устали и хотят покоя, но это желание никогда не длится долго, скука, обыденность, рутина для них худшее из зол.

«Если бы я жил в мирных общественных и политических условиях, я, вероятно, стал бы ученым, но, несомненно, не стал бы разведчиком», – писал Рихард Зорге в «Тюремных записках», но вряд ли это действительно так. У Зорге был слишком авантюрный характер, он не смог бы жить спокойной жизнью обывателя. Не смог бы так жить долго… Даже в самых мирных условиях он несомненно нашел бы себе приключения. Собственно, он и находил их – всегда находил их сам.

В такого мужчину легко влюбиться.

Но очень нелегко быть его женой.

Вообще быть женой разведчика – невыносимый груз.

И тихая русская женщина Катя Максимова, которая приняла на себя этот груз и впустила в сердце эту любовь, останется одним из самых скорбных образов в и без того полной драм истории 30-х годов XX века.

1

Трудно сказать, можно ли в действительности назвать Рихарда Зорге «разведчиком № 1», но он был одним из лучших. У него был несомненный талант к профессии: способность мыслить нестандартно, быстро принимать решения, действовать не по правилам. Он был умен и прекрасно образован, он был талантливым журналистом с великолепными аналитическими способностями. Он был невероятно обаятелен и мог расположить к себе кого угодно – политика, военного, женщину – всех, кто по какой-то причине был ему нужен.

А еще он был азартен и бесстрашен, любил и ценил жизнь и умел брать от нее все самое интересное, захватывающее. Он гонял на мотоцикле. Он был не прочь подраться. Он устраивал веселые пирушки, напивался до беспамятства и встречался с хорошенькими девушками – о количестве его романов ходили легенды. Зорге был дважды женат, у него было множество любовниц, обожавших его, восхищавшихся им, и даже после расставания до конца жизни хранивших в сердце частичку любви и привязанности, потому что забыть его было просто невозможно.

Успешный, талантливый, удачливый, великолепный… У Рихарда Зорге было все и в то же время не было ничего. Находясь в центре внимания и всеобщей симпатии, он был очень одинок, собственно, как и любой разведчик, который вынужден хранить тайну и не может довериться ни друзьям, ни возлюбленным. Свой среди чужих – этого он с легкостью сумел добиться, несмотря на то что работать приходилось в чрезвычайно тяжелых условиях. Ведь перед началом Второй мировой войны в Японии прекрасно работала контрразведка и под неустанным наблюдением находились все без исключения иностранцы. Чужой среди своих – это было несправедливо и чертовски обидно. Напряженный и опасный труд разведчика не ценился по достоинству. В Советском Союзе Зорге не доверяли, и добытые им с риском для жизни сведения чаще всего ложились в папки под грифом «сомнительно» или даже «дезинформация».

Есть предположение, что именно Рихард Зорге назвал Сталину точную дату начала Великой Отечественной войны – 22 июня 1941 года. И даже если это не так, Зорге, несомненно, называл примерные сроки нападения Германии на Советский Союз, пытаясь убедить правительство, что война будет, несмотря на все пакты о ненападении и уверения в дружбе. Эти сведения, впрочем, были не уникальны и подтверждались многими разведчиками из-за границы и даже из Москвы, из немецкого

посольства.

На самом деле Зорге сделал гораздо больше.

Вполне вероятно, что именно благодаря его влиянию на премьер-министра Коноэ Япония отказалась от идеи открыть второй фронт на Дальнем Востоке и вместо этого решила объявить войну Америке, в декабре 1941 года обрушив бомбовый удар на гавайскую базу военного флота Перл-Харбор. В Москву же отправилась долгожданная шифровка: в ближайший год Япония не намерена нападать на СССР. Теперь, после того как подтвердились все прошлые сведения, в правительстве Зорге поверили, и с дальневосточной границы были сняты несколько свежих дивизий, срочно отправленных в битву под Москвой, что, конечно, оказало огромное влияние на положительный исход сражения.

Даже Сталин в конце концов оценил разведчика Зорге, заявив, и совершенно справедливо, что тот один стоит целой армии. Это, впрочем, не помешало ему сказать чуть позже, когда Рихард был разоблачен японской контрразведкой и ожидал решения своей участи в токийской тюрьме: «Человек по имени Зорге нам неизвестен», – и подписать тому тем самым смертный приговор. Сталин мог бы спасти Зорге, японцы предлагали обменять его на кого-то из своих военных, находящихся в плену в СССР… Зорге был схвачен в октябре 1941 года, приговор ему был подписан в сентябре 1943 года, а приведен в исполнение лишь в ноябре 1944 года. Японцы до последнего рассчитывали, что СССР попытается выручить своего разведчика. Но это оказалось никому не нужно.

2

По поводу того, какую именно страну – СССР или Германию – Рихард Зорге считал своей родиной и всеми силами пытался защитить, до сих пор ведутся споры. Он родился в Российской империи, неподалеку от Баку, в поселке Сабунчи, 4 октября 1895 года, в семье немецкого инженера-нефтепромышленника Густава Вильгельма Рихарда Зорге и его русской супруги Нины Степановны Кобелевой и был десятым и самым младшим их ребенком. Нина Кобелева была второй женой Густава Зорге, его первая супруга Эмма умерла от эпидемии холеры, оставив сиротами четверых детей. От той же эпидемии умерли и родители Нины, оставив сиротами шестерых детей, которые воспитывались в приюте. Чтобы как-то прокормить младших братьев и сестер и вывести их в люди, Нина устроилась в прислуги к состоятельному немецкому господину, который вскоре, оценив ее красоту и качества великолепной хозяйки, сделал ей предложение. Состояние Зорге было достаточным для того, чтобы большая семья жила безбедно, он имел возможность содержать и жену и многочисленных детей и помочь родственникам Нины. Все ее братья и сестры получили хорошее профессиональное образование.

Когда Рихарду было три года, у его отца, которому в ту пору было уже сорок шесть лет, начались проблемы со здоровьем, и семья уехала в Германию. Они поселились в Ланквице, дачном пригороде Берлина. Герр Зорге намеревался посвятить остаток жизни научной работе, но совет акционеров банка учредителя Германо-Русского общества по импорту нефти неожиданно попросил его занять место директора. Это было очень выгодное предложение, которое герр Зорге, разумеется, принял, став в одночасье настоящим респектабельным господином.

«…Моя юность прошла в условиях относительно спокойной жизни обеспеченной немецкой буржуазной семьи, – писал Рихард Зорге. – Материальных проблем мы не знали. Наша семья во многих отношениях отличалась от других буржуазных семей. В ней господствовал особый жизненный уклад, наложивший отпечаток и на мое детство. И я сам, и мои братья и сестры в чем-то не походили на других детей».

Отец уделял много внимания образованию детей, стараясь развивать в них широкий кругозор. Он воспитывал сыновей будущими предпринимателями, коммерсантами, истинными империалистами, в патриотическом и даже националистическом духе. При этом мать, истинно русская женщина, больше

заботилась об их духовности и не позволяла забыть о своей второй родине. Русский и немецкий языки были в доме Зорге равноправны. И Рихард впоследствии говорил, что всегда чувствовал себя более русским, чем немцем. Что ж, может быть, это и правда. Русская лихость и бесшабашность и умение увлекаться чем-то всей душой, невзирая на последствия, явно были ему более близки, чем присущая немцам расчетливость и педантичность.

В 1902 году Рихард поступил в повышенное реальное училище в Берлине, престижное учебное заведение со строгими правилами, основным из которых было стремление воспитать в учениках абсолютное послушание. Однако Рихард действительно был необычным ребенком. Он не терпел давления и всячески сопротивлялся системе. Учителя наверняка считали его трудным воспитанником. По собственному признанию Рихарда, он был драчуном, любил поспорить со старшими да и учился довольно посредственно. Впрочем, скорее можно сказать, что он учился неровно. «По истории, литературе, философии и, конечно же, по гимнастике, а также по уровню политических знаний я намного превосходил других учеников, – писал он в воспоминаниях. – Зато по другим предметам мои успехи были ниже среднего уровня».

Философия, история, литература, социология – это были те предметы, которые интересовали Рихарда больше всего. В пятнадцать лет он запоем читал Гете, Шиллера и Данте. Пытался постичь Канта. Он изучал историю Французской революции и Наполеоновских войн. А в социальных и политических вопросах разбирался лучше большинства взрослых. Одноклассники даже придумали ему весьма подходящее прозвище – «Премьер-министр».

Наверняка отец гордился бы им и был бы вполне доволен, если бы из сына вырос не предприниматель, а государственный деятель, который когда-нибудь действительно мог бы стать премьер-министром – у него ведь в самом деле были к тому все задатки! Но Густав Вильгельм Зорге умер в 1907 году, когда Рихарду было всего 12 лет. А без влияния отца, которого мальчик очень любил и почитал, он выбрал совсем не тот путь, который помог бы ему сделать хорошую карьеру. Рихарду импонировали «левые идеи». Еще будучи школьником, он вступил в социал-демократическое рабочее гимнастическое общество, ему нравилось общаться с простыми людьми больше, чем с собратьями по классу. И пусть в то время мировоззрение его еще до конца не сформировалось, было уже совершенно ясно, что респектабельного и солидного бюргера из него не получится.

Впрочем, окончательно избавиться от иллюзий и выбрать

жизненную позицию Рихарду пришлось уже очень скоро. Из мальчика мужчину выковала война.

3

Во время каникул учащиеся старших классов часто отправлялись в походы с кострами и палатками. Так же было и летом 1914 года. Возвращаясь в конце июля домой из Швеции, Рихард с товарищами заметили, что происходит что-то странное. Поезда были переполнены солдатами, в порту стояло множество военных кораблей, – мальчикам с трудом удалось добраться до Берлина. А вернувшись домой, они узнали ошеломляющую новость – объявлена всеобщая мобилизация! Германия готовится объявить войну Франции и России!

Не сообщив ни о чем матери, Рихард тут же помчался на призывной пункт и записался в армию добровольцем.

«Меня влекли непреодолимая жажда перемен и желание бежать от учебы и от образа жизни, казавшегося мне бессмысленным, – писал он позже. – Романтика военных приключений была слишком притягательной для моих восемнадцати лет».

Конечно, он был не один такой. Всех немецких мальчиков с раннего детства воспитывали патриотами, а уж с началом войны пропаганда начала работать так усердно, что молодежь, позабыв об учебе, колоннами шла записываться в солдаты. Романтика военных приключений для многих из них закончилась плачевно: многие из этих мальчишек не вернулись домой живыми. А те, кто вернулся, не слишком гордились своим ратным трудом.

На фронте патриотическое воодушевление Рихарда очень быстро иссякло. Германия увязла в войне, которая, как оказалось, состояла не из подвигов и приключений бравого победного марша тоже не получилось, а из выматывающей муштры, грязи, крови и идиотских приказов командиров. И самое главное – Рихард начал понимать, что солдаты сражаются и гибнут, по сути, за чужие интересы – это было особенно обидно.

Рихарду повезло – он выжил. Хотя и был трижды ранен. Первые два раза отделался легко. В госпитале он много читал и даже сдал экзамены за десятый класс, получив аттестат зрелости. После второго ранения он был награжден Железным крестом II степени за храбрость и получил звание унтер-офицера.

Третье же ранение едва не стоило Зорге жизни. В битве под Верденом, одном из самых масштабных сражений Первой мировой войны, Рихард участвовал в разведывательной операции и получил осколочные ранения обеих ног. Истекая кровью, он провисел на колючей проволоке под огнем трое суток. И выжил чудом – после того, как бои закончились, кто-то из проходящих

мимо солдат услышал его слабый стон. Рихарда отправили в госпиталь, и следующие несколько дней он находился между жизнью и смертью, перенеся несколько сложных операций. Это ранение навсегда оставило память о себе: врачи были вынуждены удалить часть кости из его ноги, которая стала из-за этого немного короче другой, и с тех пор Зорге немного хромал.

Многие знакомые Зорге уверяли, что к нему всегда притягивались интересные люди, как-то сами собой, без особых усилий с его стороны. В Кенигсбергском госпитале произошла одна из таких встреч. Вряд ли она была в чем-то решающей, но уж точно – вдохновляющей!

За симпатичным раненым офицером ухаживала юная и очень хорошенькая медсестра, которая прониклась к нему самым искренним расположением. Рихард платил ей ответными чувствами, и как только он пошел на поправку, молодые люди стали любовниками. Отец девушки, работавший врачом в том же госпитале, оказался марксистом и очень полюбил разговаривать с Рихардом, найдя в нем интересного собеседника. Однажды он рассказал ему, что читал труды человека с фамилией Зорге – это был один из первых коммунистов, соратник Карла Маркса, после революции 1848 года бежавший в Америку и умерший не так давно, в 1906 году. Его звали Фридрих Адольф Зорге. И не является ли Рихард родственником этого выдающегося человека? Как выяснилось – является! Фридрих Адольф оказался его двоюродным дедом. Просто в респектабельной семье герра Зорге об этом прискорбном родстве предпочитали не вспоминать. Рихарда очень порадовало наличие такого предка. Оказывается, в его жилах течет кровь революционеров, ему есть с кого брать пример!

В январе 1918 года Зорге демобилизовали. Из-за хромоты он больше не был годен для несения воинской службы, и теперь ему предстояло выбирать какое-то новое поприще, куда он мог бы приложить свои силы и талант. Но прежде необходимо было закончить образование и получить профессию…

4

Рихард вернулся в Берлин.

Дома все было довольно скверно. Измученный войной город жил голодно и бедно. Не обошли лишения и семью Зорге. Большую часть состояния, заработанного отцом, сожрала инфляция, и дети ссорились из-за его остатков. Мать вынуждена была оставить дом и снять квартиру отдельно.

Рихард чувствовал себя в семье чужим, никто из его братьев и сестер не поддерживал его идей, да и Берлинский университет, куда он поступил учиться, ему показался слишком консервативным.

Немного подумав, Рихард решил уехать продолжать учебу в Киль и там поступить в университет, чтобы изучать социологию и экономику.

Жизнь в провинциальном Киле оказалась менее унылой, чем в Берлине, и Рихард с энтузиазмом устремился к общественной деятельности. Летом 1918 года он вступил в Независимую социал-демократическую партию Германии и сразу начал принимать активное участие в ее работе.

В Кильском университете Рихард познакомился с профессором Куртом Альбертом Герлахом, с которым очень быстро подружился, обнаружив в нем человека близкого себе по духу и убеждениям. Даже жизненный путь у них оказался во многом схож. «Как и Рихард, профессор был выходцем из буржуазной среды – впрочем, он давно порвал всякие связи с отцом, директором фабрики. Герлах занимался изучением профсоюзного движения, актуальнейшими в то время вопросами охраны труда, долго жил в Англии и даже вступил там в лейбористскую партию. С началом войны он ушел на фронт, служил шофером в санитарном батальоне и хотя не был непосредственно на передовой, но тоже навидался немало. В Киле Герлах, кроме работы в университете, негласным образом читал лекции на тему „Социализм и коммунизм”», – пишет один из биографов Зорге Елена Прудникова.

Рихард проводил много времени в доме у Герлаха, и естественным образом сложилось так, что он подружился и с его женой Кристиной – юной барышней, которой в ту пору было двадцать лет и которая вскоре начала питать к нему нежные чувства. Рихард не то чтобы пытался отбить жену у друга, но, как говорят, совсем не препятствовал ей влюбляться в себя. А не влюбиться в него было просто невозможно. Кристина вспоминала позднее: «К нему тянулись и женщины, и мужчины. У него был

глубокий, пронизывающий взгляд, привлекающий к себе и от которого нигде, казалось, нельзя скрыться. Если женщина попадала в обозримое им поле, она была уже в его плену. В плену легком, туманном, обаятельном…»

Профессор Герлах, разумеется, не был слеп, но предпринимать ничего не пытался. Возможно потому, что считал себя человеком передовых взглядов и ставил личную свободу выше святости брака. А может, потому, что, несмотря на молодость – ему было всего около тридцати лет, Герлах тяжело и неизлечимо болел, и ему было просто не до чувственных страстей. Все, что занимало его, кроме собственного здоровья, – это работа и общественная деятельность, и дружба с Рихардом Зорге ценилась им гораздо больше отношений с женой.

Как бы там ни было, после того как Рихард защитил диссертацию, все вместе они переехали в Ахен, где Герлах начал преподавать на кафедре экономических наук высшей технической школы, а Зорге стал его ассистентом. Тогда же он вступил в совсем еще молодую и очень импонировавшую ему коммунистическую партию – это знаменательное событие произошло 15 октября 1919 года. С самого момента своего основания КПГ подвергалась гонениям и находилась то официально, то полуофициально под запретом, носить гордое звание коммуниста и уж тем более заниматься какой-то пропагандистской деятельностью было откровенно опасно, стоит ли говорить, что для Зорге это явилось дополнительным стимулом активной работы, исключительной возможностью чувствовать себя по-настоящему живым.

К тому времени его роман с Кристиной зашел настолько далеко, что Герлах окончательно убедился в том, что это не просто увлечение, которое отгорит и угаснет. Поэтому однажды он предложил жене развод.

Кристина не ожидала этого и растерялась. Такой серьезный шаг требовал взвешенного решения, и она уехала на родину в Южную Германию, в дом, где выросла, чтобы все хорошенько обдумать. А вернувшись, собрала свои вещи и переехала от мужа к Рихарду.

Для маленького провинциального городка это был настоящий скандал. Общественность возмутилась подобной безнравственностью. Зорге и его возлюбленную даже пытались выселить из города, и хотя сделать этого не удалось – не было никаких юридических оснований, им пришлось уехать самим, потому что жить в обстановке постоянной травли было совершенно невозможно.

В 1921 году влюбленные поселились в Золингене, где Зорге

некоторое время работал редактором коммунистической газеты «Бергише арбайтерштимме» и где они с Кристиной наконец официально оформили свои отношения. Чуть позже, в октябре 1922 года они переехали во Франкфурт-на-Майне. Профессор Герлах, кстати, путешествовал с ними – развод с женой не разрушил его дружбу с Рихардом, они по-прежнему не расставались. Вместе они устроились преподавать социологию в местный университет. У Герлаха были обширные планы на будущее, но им не суждено было сбыться. В 1923 году он скончался. А Рихард и Кристина начали обустраивать семейную жизнь на новом месте.

«Рихард – не сказать чтобы совсем, но в достаточной мере, – был равнодушен к денежной и бытовой стороне жизни, однако теперь появилась жена, и неплохо было бы обзавестись сносным жильем. Им все удается, инфляция и жилищный кризис этой пары словно не касаются – по-видимому, платят в институте достаточно хорошо. В парке возле богатого особняка они сняли конюшню с жилым помещением для конюхов и переделали жилую часть в симпатичный домик. Художник из числа друзей Зорге занялся оформлением комнат, покрасив одну в красный, другую в желтый, а третью – в голубой цвет. Несмотря на нетрадиционное оформление, дом притягивал к себе людей. Сюда во множестве приходили друзья Рихарда по институту и редакции газеты, вечером собирались художники, музыканты, писатели. В общем, было весело – не менее весело, чем в доме Герлаха», – пишет Елена Прудникова.

Для Кристины это был лучший период их совместной жизни, она была совершенно счастлива. В ее воспоминаниях о муже много нежности: «Рихард любил кошек и собак и играл с ними, как мальчишка. Не будучи особенно разборчивым в еде, он тем не менее с удовольствием готовил. Его меню было не очень обширным, однако определенно больше моего… Если блин разваливался, он мрачнел. Его не утешало даже, если я называла бесформенное произведение его кулинарного искусства королевским блюдом…»

Рихард тоже был вполне счастлив. От скуки слишком спокойной бюргерской жизни его спасала активная деятельность в КПГ, в которой он быстро добился уважения и доверия. До весны 1924 года партия была под запретом, да и потом, когда коммунистам ценой больших усилий удалось легализоваться, отношение к ним властей было, мягко говоря, не особенно лояльным. Полиция бдительно присматривала за смутьянами, готовая к арестам за самые мелкие правонарушения.

Как раз в это время КПГ решила провести очередной

международный съезд, и выбор пал именно на Франкфурт-на-Майне. В городе проходила выставка, ожидалось множество гостей, и организаторы сочли удобным воспользоваться этим обстоятельством – в разношерстой толпе было легко затеряться даже коммунистам из других стран.

Рихарду как наиболее ответственному и предприимчивому товарищу доверили обеспечить безопасность советской делегации. «Гостей из Москвы надо было расселить, обеспечить возможность работы, конспирацию, маскировку – все, вплоть до одежды, ибо советские люди своими костюмами и манерами резко отличались от европейцев. В конце концов Зорге привез их к себе. Соседи привыкли, что в домике над конюшней все время горит свет, ходят самые разные люди, и давно уже ни на кого и ни на что не обращали внимания. Сам Зорге, выходя по вечерам погулять с овчаркой, проверял окрестности на предмет наличия шпиков – все было спокойно».

Рихард подружился с товарищами из Москвы. Как и многие прогрессивные люди на Западе, он восхищался страной победившего социализма, был влюблен в ее имидж, романтический и суровый. Товарищи из Москвы, в свою очередь, не могли не оценить способности, ум и талант коммуниста Зорге и предложили ему работу в Коминтерне. Рихард не раздумывая согласился. Ему хотелось побывать на своей второй родине, ему хотелось настоящей серьезной работы, чего-то нового и интересного.

Кристина согласилась ехать с ним легко и без раздумий – ей тоже нравились приключения, но главным образом, конечно, ей просто не хотелось расставаться с мужем. Ей казалось, они смогут быть счастливы везде. Она и предположить не могла, что Советская Россия окажется тем самым рифом, о который разобьется лодка их любви – жизнь в стране победившего социализма оказалась гораздо более спартанской, чем она могла себе предположить.

Полгода ушло на оформление документов, и в декабре 1924 года Рихард с Кристиной приехали в Москву. Приехали не просто на экскурсию – приехали жить… Рихард получил советское гражданство, в марте 1925 года вступил в ВКП(б), занимался своей любимой социологией, писал для журналов «Коммунистический интернационал» и «Красный интернационал профсоюзов», в «Большевик» и в «Мировое хозяйство и мировая политика», освещая проблемы революционного движения в Германии, и выполнял прочие задания Коминтерна.

Кристина устроилась работать в Институт марксизма-ленинизма – ей предстояло заниматься переводом трудов Карла

Маркса. Зорге с детства хорошо знал русский язык, ей же предстояло выучить его, как говорится, «с нуля», причем за короткий срок, и это оказалось нелегко, поэтому работа продвигалась трудно. К тому же Кристину совершено убивала неустроенность быта… После их милого и уютного домика в Германии комнатушка в гостинице, которую им щедро выделили под жилье, приводила ее в уныние.

Прошло не так уж много времени, и Кристина начала скучать по родине. К тому же… их страстная любовь с Рихардом как-то вдруг начала остывать, они уже не так нуждались друг в друге, как раньше, даже летний отпуск 1926 года провели порознь: Кристина отдыхала в Сочи, Рихард же отправился в Баку, чтобы встретиться с родственниками, которых никогда не видел, посетил он и поселок Сабунчи, нашел дом, где когда-то родился и где прожил первые три года своей жизни. Кристине он даже не стал рассказывать об этом, только упомянул, что ездил в Баку. По всему выходило, что они стали совсем чужими людьми… Как это случилось и почему? Неужели только потому, что Кристине так уж невыносимо было жить в Советской России? Или, может быть, она не могла простить ему измен? Говорили, что Рихард не пропустил ни одной хорошенькой машинистки из Института марксизма-ленинизма. Кристина работала там, и наверняка слухи об изменах мужа доходили до нее. А может… любовь просто умерла. Так тоже бывает.

Как бы там ни было, но в конце 1926 года Кристина уехала в Берлин. Супруги не оформляли развода и не прощались навсегда, но между тем оба понимали, что обратно Кристина уже не вернется. Рихард не делал попыток удержать жену или как-то объясниться, оставляя ей возможность самой решать судьбу их отношений. Любовь вспыхивает сама. Сама и гаснет. Что толку пытаться реанимировать труп?

Их следующая и последняя встреча состоялась в 1932 году, когда Рихарду понадобилось расторгнуть брак и нужно было оформить документы. Впрочем, с Кристиной, как и со всеми своими женщинами, он сохранял дружеские отношения, они даже переписывались время от времени. И Рихард хранил ее письма так же бережно, как письма своей второй жены, Кати Максимовой.

5

История Кати Максимовой чрезвычайно печальна. Не могло быть иначе – участь жены разведчика, который годами не появляется дома, всегда не сахар, но на долю Кати выпало совсем уж мало счастья, будто судьба за что-то ополчилась на нее.

Екатерина Александровна Максимова родилась в 1904 году в Петрозаводске в семье служащего и была старшей из трех сестер. «Сейчас мало кто вспомнит, проходя мимо кинотеатра „Победа", что когда-то на этом месте стоял просторный дом, – пишет Исаак Бацер. – В нем и подрастали три сестры – Катя, Мария и Татьяна… В этом доме по вечерам весело светились окна. И когда приходили многочисленные гости, то они охотно слушали, как Таня играет на фортепиано, а Катя читает стихи, чаще всего Александра Блока».

Катя была талантливой девочкой, хорошо училась, знала немецкий и французский языки, занималась в театральной студии, которой руководил известный в то время драматург Юрий Николаевич Юрьин (настоящая фамилия Вентцель). Она играла главные роли в спектаклях и, видимо, подавала надежды, потому что после окончания школы по настоянию Юрьина с легкостью поступила в Ленинградский институт сценических искусств.

И возможно, ее карьера актрисы сложилась бы вполне успешно, если бы не вмешался случай. Однажды на улице Катя случайно встретила любимого преподавателя Юрия Юрьина. Выглядел этот совсем молодой еще мужчина очень плохо, будто в одночасье состарился на двадцать лет, шел, опираясь на палочку. На встревоженные вопросы бывшей ученицы он ответил, что очень болен. Тяжелая форма туберкулеза сжирала его легкие, и надежды на выздоровление не было никакой… В довершение всем несчастьям Юрьина бросила жена, оставив ему на попечение маленькую дочь, что, пожалуй, было уже где-то за гранью добра и зла.

Была ли Катя влюблена в Юрьина или же просто ей стало его жаль, но она не раздумывая вышла за него замуж, бросила свою едва начавшую устраиваться карьеру, уволилась из театра и направила все свои силы на то, чтобы его поддержать. Луначарский отправил Юрьина в Италию, написав ему рекомендательное письмо к Горькому, проживавшему в то время на Капри, и Катя отправилась вместе с ним. Рассчитывала ли она, что Юрию станет легче, и он, может быть, даже поправится? Или же ей хотелось скрасить последние дни его жизни? Наверняка она

надеялась на лучшее… Живительный климат Италии, хороший уход и забота могли совершить чудо. Но, увы, этого не произошло. Через несколько месяцев, осенью 1927 года Юрьин умер. Катя вместе с маленькой Наташей вернулась на родину.

Продолжить театральную карьеру Катя не смогла. Почему – не совсем понятно. Может быть, в Москве, куда она была вынуждена переехать к родственникам мужа, ее таланту не нашлось применения. Некоторые биографы туманно намекают, что после нескольких месяцев жизни за границей Кате «не доверяли». Не доверяли настолько, чтобы запретить работать в театре? Это предположение кажется несколько странным… Еще более нелепым выглядит предположение, что Катя предпочла заниматься «более пролетарским» физическим трудом из принципа.

Какое-то время Катя скиталась по родственникам, потом друзья Юрьина выхлопотали для нее комнату в полуподвальной коммуналке в Нижнем Кисловском переулке, они же устроили ее аппаратчицей на завод «Точизмеритель». Не слишком подходящая работа для девушки с прекрасным образованием и к тому же дипломированной актрисы, но, видимо, выбирать было совсем не из чего, нужен был хоть какой-то заработок. Катя, впрочем, не роптала на судьбу, смиренно приняв сложившееся положение вещей и находя отдушину в редких поездках домой – в Петрозаводск, где жили родители и сестры, где она могла хоть ненадолго окунуться в прежнюю счастливую жизнь, поговорить о театре, вспомнить свои старые роли, а по вечерам почитать стихи Блока…

Ее жизнь в очередной раз круто переменилась в 1929 году, когда Катя однажды возвращалась из Петрозаводска в Москву. В поезде она познакомилась с товарищем из Коминтерна немцем Вилли Шталем, с которым они очень мило пообщались. Катя исправила несколько неловких фраз Вилли, тот посетовал, что плохо знает русский язык, и вдруг предложил ей работу учительницей. Катя, разумеется, согласилась – ей совсем не помешала бы прибавка к жалованью, да и потом, это было просто интересно. Вилли обещал зайти к ней как-нибудь вечером и действительно стал приходить регулярно и брать уроки. Кстати, вряд ли такое было бы возможно, если бы Кате действительно «не доверяли».

Как-то раз Вилли Шталь пришел на занятия вместе с другом, высоким симпатичным немцем с внимательными серыми глазами и обаятельной улыбкой.

– Рихард, – представился он и протянул руку для пожатия. – Вы себе и представить не можете, Катя, насколько владеет мной

желание хорошо говорить по-русски. Может быть, потому, что один добрый знакомый, я бы сказал, соратник моего близкого родственника тоже желал знать русский язык.

– Кто же это? – с любопытством спросила Катя.

– Карл Маркс, – ответил гость и стал рассматривать книги на ее этажерке.

Неужели Рихарду Зорге нужны были уроки русского языка? Что ж, может, он действительно подзабыл его с детства, а может, никогда и не знал на том уровне совершенства, какой ему хотелось бы. Он ведь был теперь советским гражданином и собрался прожить в СССР остаток жизни.

Если это и не была любовь с первого взгляда, то взаимное притяжение между Рихардом и Катей определенно возникло с первого же момента встречи – как только они взглянули друг другу в глаза. Рихард был очарован Катей, и та за какой-то миг оказалась в том «легком и обаятельном плену», о котором говорила Кристина Герлах. Очень быстро они сблизились и подружились, и вскоре общение их вышло далеко за рамки изучения русского языка.

«Им было интересно друг с другом. Они вместе бродили по Москве, рылись в книгах в букинистических магазинах, вместе слушали музыку, говорили о политике, – пишет Николай Хохлов. – Здесь учителем становился он, социолог, публицист, специалист по Восточной Азии. Он рассказывал Катюше о культуре Японии и Китая, читал японские пятистишия – танка… А Катя читала ему стихи Блока, своего любимого поэта…»

Они проводили все больше времени вместе, и постепенно влюбленность переросла в настоящее серьезное чувство. Они уже не мыслили жизни друг без друга и собирались быть вместе всегда, полагая, что никто и ничто не сможет им помешать.

Катина сестра Мария вспоминала: «Однажды сестренка приехала домой какая-то очень необычная. Вообще-то она была человеком крайне сдержанным, а тут все улыбалась, напевала что-то. А потом и говорит: „Знаешь, я встретила замечательного человека, он немец, коммунист”. И рассказала про Ику. (Так называли Рихарда близкие друзья.) И так о нем говорила, что мы сразу поняли, как сильно она его полюбила. Она тогда еще сказала: „Что бы ни случилось, я его никогда не забуду…”»

Вместе они встретили новый 1930 год.

А потом Рихард исчез.

6

Работа на Коминтерн быстро наскучила Рихарду Зорге. Она не давала ему необходимой свободы – начальство постоянно требовало отчетов и следило за каждым шагом. К тому же она оказалась не особенно интересной. Как ученый и как журналист Рихард ездил по миру, занимался организаторской работой в компартиях, но эта была слишком легкая, слишком безопасная деятельность.

Как именно состоялся его переход в разведку, существует несколько версий. Одна из них та, что Ян Берзин, тогдашний глава 4 (разведывательного) отдела РККА, обратил внимание на энергичного немца и предложил ему работу, на которую тот радостно согласился. Другая версия – что Зорге нашел эту работу сам и познакомился с Берзиным посредством рекомендаций друзей. Эта последняя версия кажется более правдоподобной. Дело в том, что в разведуправлении не поощрялось брать на работу сотрудников Коминтерна. Помимо прочих, на то была вполне объективная причина: коммунисты из западных стран практически все состояли на учете в полиции, из-за чего их конспиративная деятельность весьма осложнялась. Стоило только слегка копнуть такого агента, и неизбежно выплывала информация о его коммунистическом прошлом. Рихард в этом плане не был исключением, немецкая полиция имела на него обширное досье.

Тем не менее в 1929 году Зорге уже не числился членом Коминтерна и работал на четвертый отдел, скорее всего не официально, но сути это не меняет. Рихард был увлечен странами Восточной Азии и хотел отправиться в Китай. Он сам разработал план своего внедрения, сам определил свою деятельность в качестве разведчика. Берзин же просто его поддержал, он ценил в агентах самостоятельность и инициативу, и готов был предоставить Зорге возможность проявить себя. Подготовка его как агента была очень короткой. Пара месяцев инструктажа – и уже в январе 1930 года Зорге отбыл на задание. Впрочем, не следует думать, что начинающего разведчика просто кинули в омут с головой, разумеется, он ехал не один, а в составе группы. Просто вскоре после прибытия в Шанхай обстоятельства сложились так, что ему пришлось работать самостоятельно.

Легенда Зорге была проста и вместе с тем вполне надежна – он прибыл в Китай как немецкий журналист и действительно писал статьи в какие-то сельскохозяйственные издания, получая хорошие гонорары. Возымей кто желание проверить – его

биография выглядела кристально чистой.

Агентурную сеть в Китае Рихард начал создавать с помощью американской журналистки Агнес Смедли, весьма одиозной особы, симпатизировавшей коммунистам и имевшей обширные связи в Шанхае в самых разных кругах. Рихард был наслышан об Агнес еще во время путешествий по Европе и постарался познакомиться и подружиться с ней сразу же после прибытия в Китай. Разумеется, это не составило для него труда. Агнес была очарована симпатичным немецким журналистом, и вскоре после знакомства они стали любовниками. Впрочем, Рихард не играл с ней втемную. Он понял, что вполне может доверять Агнес, и рассказал ей правду о себе. Как и предполагалось, та пришла в восторг от того, что может поработать на разведку страны победившего социализма, и принялась помогать Рихарду с удвоенной силой.

У Агнес Смедли интересная биография. К своему довольно значительному в журналистских кругах положению она выкарабкалась из самых низов и исключительно благодаря предприимчивости и авантюрному характеру. Она родилась в штате Миссури в 1892 году в очень бедной семье. Мать ее была прачкой, отец – батраком-индейцем, который вскоре после рождения дочери бросил семью и исчез в неизвестном направлении. Агнес с юных лет была вынуждена работать прислугой, так и не получив нормального образования, и ее путь к карьере журналистки был тернист и замысловат: она работала судомойкой, официанткой, поденщицей на табачных плантациях, продавала какую-то местную газету, для которой однажды и начала писать статьи. Она активно занималась самообразованием, посещая всевозможные лекции, на которые только могла попасть, смогла поступить в педагогическое училище, потом на вечернее отделение Нью-Йоркского университета. Некоторое время Агнес работала учительницей в маленькой деревеньке, но вскоре ей это надоело, она вернулась в город и теперь уже занималась исключительно журналистикой. «Она работала в редакции журнала в Нью-Йорке, в Сан-Франциско вышла замуж за инженера, с которым вскоре разошлась, а еще занималась профсоюзной работой, была репортером нью-йоркской социалистической газеты „Колл", – пишет Елена Прудникова. – По ходу работы познакомилась с индийцем Чаттопаддьяя, с которым вскоре сошлась, а заодно и заинтересовалась проблемами национально-освободительной борьбы в Индии и Китае. Вслед за индийским другом Агнес переехала в Берлин, побывала в Москве на конгрессе Коминтерна. За это время она от умеренно-социалистических убеждений

перешла к коммунистическим, написала множество статей и книгу „Дочь земли” и рассталась с Чаттопадьяя. В 1928 году ей, теперь свободной, газета „Франкфуртер цайтунг унд хандельсблатт” предложила поехать в Китай в качестве специального корреспондента. Агнес согласилась, прибавила к немецкому контракту договоры с несколькими итальянскими газетами и в мае 1929 года была уже на месте… Особое внимание Агнес обращала на военных. В ее картотеке имелись сведения о 218 генералах – от сугубо официальных биографий до перечня жен и любовниц. Она интересовалась всем: политикой, военными делами, торговлей, ситуацией на фронтах – всем!»

О характере Агнес и ее деятельности в Китае пишет Ральф де Толедано в книге «Шпионы, простофили и дипломаты». По его краткой характеристике вполне можно представить образ этой героической женщины: «Лицезрение Китая и китайцев доставляло ей почти физическую боль, но она не оставляла попыток полюбить их. Не говоря на китайском и ничего не зная ни о стране, ни о народе, она сразу же принялась „авторитетно” писать о китайской политике. Если китаец был с ней любезен, она делала вывод, что это шпик из полиции. Если же он бывал с ней груб, то это был, по ее мнению, фашист из Гоминдана. Однажды в Харбине она вошла в офис президента Торговой палаты и фактически обвинила его в торговле опиумом. А когда с китайской учтивостью он проигнорировал ее нападки и любезно осведомился о ее здоровье, она восприняла это как признание им своей вины и пример двуличия и лицемерия. Вращаясь почти исключительно среди коммунистов и их симпатизантов, она всякий раз возмущалась тем, что полиция относится к ней с подозрением. Когда однажды культурные китайцы из высших слоев общества пригласили ее на обед, она, напившись за их счет, принялась всячески оскорблять хозяев и потом продолжила бесчинства на улице, крича: „А ну-ка, выходите все сюда и давайте набьем дом рикшами-кули! Давайте докажем, что в Китае нет классов!”»

С Рихардом они прекрасно сработались и составили совершенно безумный и восхитительный тандем. Самое главное – весьма эффективный.

Работа в Китае была интересной, по крайней мере, не скучной. И не была сопряжена с такой степенью опасности, какая впоследствии будет грозить Зорге в Японии. К иностранцам в Китае относились с большим уважением, они жили компактно на специально отведенной для них территории (сеттльментах), где не действовали местные законы.

«Китай в то время был одним из центров деятельности всех

мыслимых и немыслимых разведок, какие только существовали на земном шаре. Отчасти потому, что для работы спецслужб условия в этой стране были более чем комфортными. До 1927 года ее можно было назвать „раем для шпионов”. Контрразведки всех властей занимались почти исключительно борьбой с агентами соперничающих группировок, и до иностранных разведчиков у них просто не доходили руки. Во многих случаях для работы даже не требовалась агентура. Бездну информации можно было получить просто-напросто за коктейлями в иностранных клубах. Газеты сеттльментов и концессий печатали любую информацию, попадавшую к ним в руки, в том числе и секретную – „белых людей” нисколько не волновали проблемы безопасности какой-то там азиатской страны. Кроме того, имелось множество бюро, успешно торговавших любыми сведениями и материалами. Коррупция в китайской администрации, полиции и армии достигала колоссальных масштабов, а основная масса населения жила чрезвычайно бедно и за очень небольшие деньги была готова на все», – пишет Елена Прудникова. Пришедший в 1928 году к власти генералиссимус Чан Кайши пытался изменить ситуацию, но не особенно преуспел.

Работа разведчика не шла ни в какое сравнение с унылой деятельностью представителя Коминтерна, она проходила большей частью не в кабинетах, а на светских приемах и в увеселительных заведениях – что и понятно, в непринужденной и дружеской обстановке легче всего можно было добывать важные сведения, особенно такому человеку, как Зорге, который быстро заводил знакомства и был прекрасным собеседником и собутыльником. Рихарда вполне устраивал подобный образ жизни, он с удовольствием ходил по кабакам и был душой любой компании: много пил, активно общался, порой в пьяном виде ввязывался в драки, и в процессе всего этого веселья он получал массу полезных сведений из уст политиков и генералов, которые чуть позже его радистка Майя Улановская отправляла в СССР.

С помощью Агнес Смедли Рихард стал членом Китайского автомобильного клуба, президентом которого был сам главнокомандующий войсками Чан Кайши и нередко принимал участие в состязаниях автомобилистов. Как-то раз во время гонок Рихард почти у самого финиша обогнал роскошный американский автомобиль президента клуба. «Лицо Чан Кайши исказилось от гнева – он всегда выходил победителем. Да и кто бы осмелился обогнать генералиссимуса! – описывали это событие биографы Зорге С. Голяков и И. Ильинский. – Рихард гнал свою машину на полкузова впереди Чан Кайши. Лишь у самого финиша он смирил азарт спортсмена – сбросил газ.

Машина Чан Кайши первой пересекла заветную линию. Генералиссимус сиял. Он подошел к Зорге, пожал руку достойному сопернику, поинтересовался, кто он и откуда. Отныне Зорге мог надеяться на его благосклонность». А однажды, чтобы сбить спесь с хвастливого генералиссимуса, Зорге совершил форменное хулиганство: начинил свечи зажигания в машине Чан Кайши обычным графитом, так что искра отклонилась и контакта не произошло. Привыкший к победам президент клуба не вышел на старт, пока не нашел неполадку, и был ужасно зол. Хулиганство это, кстати говоря, могло закончиться очень плохо, за такие шутки в Китае можно было запросто распрощаться с жизнью. Но зато как же было весело!

Такой свободный и вольный образ жизни Зорге слегка шокировал его русских товарищей. Как вспоминала Майя Улановская, ее отец Александр Улановский, работавший в Китае под агентурным именем Алекс и бывший одно время руководителем их разведгруппы, хорошо относился к Рихарду, уважал его, но все же не мог воспринимать его как «своего» человека. «Все-таки он немец, – говорил Улановский дочери, – из тех, кто переспит с женщиной, а потом хвастает этим». «Но Зорге вовсе не хвастал своими победами, – вспоминала Майя. – Просто немецкие радикалы были очень „передовыми” в вопросах морали и удивлялись нашей с отцом „отсталости”. Еще в 1923 году в Гамбурге коммунисты и анархисты уверяли нас, что купальные костюмы – буржуазный предрассудок. На общественных пляжах купаться голыми запрещалось, радикалы с трудом находили место для купания, и мы смеялись: „В этом заключалась вся их революционность!” Немцы были также очень откровенны насчет секса. Поэтому Зорге запросто рассказывал о своей связи с Агнес Смедли, ведь она была своим человеком, коммунисткой, к тому же незамужней. А отца его откровенность коробила».

Зорге благополучно отработал в Китае почти три года. В конце 1932 года его неожиданно вызвали в Москву. Причин для этого не было никаких, кроме одной: для него готовили более серьезное и ответственное задание.

7

Что именно думала Катя Максимова по поводу внезапного исчезновения возлюбленного на три года, остается только гадать. Что она вообще знала о нем? Что он журналист и ученый? Что он работник Коминтерна? Что у него бывают командировки, иногда длительные? Она понимала, что могут быть такие командировки, когда ты собираешь чемодан и уезжаешь, не имея возможности сказать об этом любимому человеку, – время такое, все возможно. А может, она решила, что Рихард просто бросил ее. Вот так, вдруг, без объяснений. Когда-то она сказала сестре: «Что бы ни случилось, я его не забуду…» И она не забыла. Все эти три года она думала о нем, и поэтому, когда однажды, придя домой, услышала от соседей, что к ней заходил высокий и красивый иностранец, она сразу же поняла: Рихард вернулся… Она дождалась…

Тем же вечером он пришел снова и теперь уже застал ее дома. Должно быть, между ними состоялось какое-то объяснение. Рихард не мог рассказать, где он был, что он делал, кроме того, что выполнял важное правительственное задание. В общем-то этого было достаточно. Катя была не глупа, она все поняла. Ни о чем не расспрашивала. Приняла вещи такими, как есть. И – несмотря ни на что – согласилась быть его женой, потому что знала, что жить без него не сможет, и пусть уж лучше так – с длительными командировками и важными правительственными заданиями, с риском для жизни и томительной неизвестностью, чем вообще никак. Катя выбрала свою судьбу, но вряд ли она могла в полной мере представить себе, как именно все сложится в действительности…

Они с Рихардом были вместе три месяца. Потом он снова уехал, как он сам думал – ненадолго, и как оказалось – на всю жизнь. Они увидятся еще раз, через два года, когда Рихард приедет из командировки на две недели в Москву познакомиться с новым руководством: Яна Берзина на посту начальника четвертого отдела сменит Семен Урицкий. И это будет их с Катей последняя встреча. А до и после долгие-долгие годы Катя будет его ждать, каждый день надеяться на то, что как тогда, в декабре 1932-го Рихард появится дома. Внезапно, без предупреждения. Впрочем, год от года она надеялась на это все меньше…

В начале 1933 года Рихард и Катя сыграли свадьбу, просто и скромно, в присутствии только самых близких друзей и родственников, их брак, кстати, официально зарегистрирован будет позже, 8 августа 1933 года, когда Рихарда уже не будет в

Москве.

И все, что им останется, – это роман в письмах. Роман печальный и даже несколько извращенный, потому что письма от мужа Катя не сможет читать сама, ей будет читать их вслух курьер из четвертого отдела. Поначалу они оба будут испытывать от этого неловкость, но потом – привыкнут.

8

Вскоре после прибытия из Китая Рихарда вызвал к себе Берзин.

– Мы планируем операцию в Японии, которую назвали «Рамзай», – со значением сказал глава разведупра. – Знаете, что это значит? «Рамзай» это «Р. З.» – Рихард Зорге!

Вот как! Операция, заточенная исключительно под него!

Другой человек на месте Зорге возмутился бы – что же это такое? Он едва прибыл с одного задания и тут же получает следующее, это не по правилам. К тому же – он только что женился! Другой человек на месте Зорге, возможно, усомнился бы – операция «Рамзай», положа руку на сердце, выглядела чистейшей воды авантюрой. Ведь Япония совсем не то что Китай, который называют «перекрестком всех дорог». Япония – закрытое общество, куда вообще очень неохотно допускаются иностранцы, а к тем, кто допускается, отношение очень настороженное, работать в таких условиях чрезвычайно сложно. Да, после Китая у Зорге имелся уже некоторый опыт конспирации, но явно недостаточный, ему не помешал бы инструктаж, а еще лучше учеба в разведшколе, но всем этим решили пренебречь. Это вечное русское – авось. А вдруг и так все получится?

Зорге не возмутился и не усомнился, и даже напротив, в глазах его вспыхнула радость. Работа! Еще более опасная, чем прежде! По-настоящему сложная, рискованная, которая потребует от него полной самоотдачи и напряжения всех сил! Это именно то, что надо! К тому же он действительно лучший кандидат. Он умен, обаятелен, знает японскую специфику, а СССР чрезвычайно нужен сейчас хороший разведчик в Японии. После прихода к власти Гитлера необходимо пристально следить за японо-германскими отношениями, которые наверняка станут более тесными, необходимо добывать сведения о японской политике в Китае, нужно наблюдать за наращиванием вооружения, ну и самое главное – следует выяснить, не планирует ли в ближайшем будущем Япония нападения на СССР.

Путь в Японию был более сложен, чем в Китай. Зорге и туда поехал под собственным именем и под видом журналиста – старая легенда не подвела, так почему бы ее не использовать снова? Но на сей раз он некоторое время провел в Берлине, налаживая связи и заручаясь поддержкой разных серьезных германских изданий. А потом еще посетил США, где сумел получить от японского посольства рекомендательное письмо в Министерство иностранных дел Японии.

В Японию Рихард прибыл 6 сентября 1933 года и сразу же начал собирать разведгруппу. В итоге в ее костяк вошли немец радист Макс Клаузен и его русская жена Анна, японцы – поэт и журналист Ходзуми Одзаки и художник Итоку Мияги и серб Бранко Вукелич так же, как и Зорге, приехавший в Японию под видом журналиста.

Завязывая полезные знакомства, Рихард подружился с немецким полковником Ойгеном Оттом, бывшим в ту пору офицером-посредником, осуществлявшим связь между японским и германским генштабом. Чуть позже Отт стал военным атташе, а потом и вовсе занял пост посла. И произошло это не без деятельного участия Зорге, который часто помогал ему советами и составлял за него доклады для генштаба. Вообще это сотрудничество оказалось чрезвычайно полезным для обоих. Зорге сделал Отту карьеру, и тот очень ценил его, понимая, что без его помощи не достиг бы таких высот. Отт считал Рихарда своим лучшим другом, полностью и безусловно доверял ему и охотно делился с ним любой информацией, даже такой, которой согласно инструкции он не должен был делиться вообще ни с кем. Делился он, впрочем, не только информацией. Жена посла стала любовницей Рихарда, Отт об этом знал и… не делал из происходящего проблемы. Как некогда для профессора Герлаха, дружба с Зорге оказалась для него важнее отношений с супругой. Конечно, был у него корыстный мотив – Рихард очень помогал ему в работе. Но этот мотив не был единственным, Ойген Отт действительно искренне любил Зорге – после его ареста он всеми силами пытался отстоять доброе имя своего друга и добиться его освобождения, он до последнего не верил в то, что тот был резидентом СССР.

При первой же встрече Рихард Зорге и Хельма Отт узнали друг друга. Как оказалось, они уже виделись раньше, когда-то давно, еще во Франкфурте, и познакомились при обстоятельствах, весьма компрометирующих обоих. Рихард в ту пору активно работал на КПГ, Хельма была замужем за членом КПГ. Собственно, они и познакомились на какой-то вечеринке, устраиваемой активом коммунистической партии, и весь вечер танцевали вместе, уже тогда проникнувшись друг к другу симпатией. Теперь симпатия возобновилась. И к тому же их связывала общая тайна. А это – очень сближает.

И конечно, Зорге не был бы самим собой, если бы ограничился любовными отношениями только с одной женщиной. Вообще, если посчитать все свидетельства на эту тему, возникнет впечатление, что в его постели побывала половина женского населения Токио – по крайней мере что касается иностранок.

Вездесущая японская полиция в процессе слежки насчитала около тридцати особ прекрасного пола, с которыми Рихард вступал в интимную связь – и это не учитывая проституток!

«Отт знал и об отношениях Рихарда со своей секретаршей, – пишет Николай Хохлов, – которая ни в чем не могла отказать любовнику и предоставляла ключи от любого кабинета и большинства сейфов. Иногда она, томимая любовным нетерпением, звонила Зорге и умоляла его о встрече. Ее страстные монологи прослушивало, конечно, гестапо, расценивая их как очередную любовную интрижку Рихарда… В то же время Хельма, забыв о немецкой сдержанности, устраивала жаркие сцены ревности Зорге. Секретарь Зела Габелин попала в немилость только за то, что лестно отозвалась о Рихарде и высоко оценила его хорошие манеры и талант рассказчика. Но никаких соперниц жена посла не собиралась терпеть и расправлялась с каждой, кто пытался отобрать ее трофей». Бедняжка Хельма, она заранее была обречена на провал…

Ключи от любого кабинета и большинства сейфов вполне мог предоставить Зорге и сам посол Отт, но с другой стороны, послом тот стал далеко не сразу, так что поначалу вполне могли пригодиться и услуги его секретарши. Впрочем, Зорге всегда был в посольстве своим человеком, и гестапо не проявляло к нему особого интереса по одной простой причине: Германское разведывательное управление считало Рихарда своим агентом. Еще до отъезда в Японию Зорге попросил разрешения у Берзина поступить на службу в шестой отдел РСХА и делиться с ним частью добытой информации. Иначе было бы просто невозможно внедриться в посольство – ему не стали бы доверять.

Но разумеется, немецкое посольство и Ойген Отт были у Зорге пусть и одним из главных, но не единственным источником информации. В целом, работа в Японии проходила таким же образом, как и в Китае: Зорге вел жизнь плейбоя, создавая у окружающих образ симпатичного, обаятельного и лихого парня, души компании. Круг его общения был чрезвычайно широк, в него входили и журналисты, и политики, и крупные промышленники, и представители японского генштаба. Как всегда, интересные и важные сведения добывались на дружеских попойках. Полиция следила за каждым его шагом, но ничего странного или предосудительного в жизни немецкого журналиста не находила. Зорге вел себя как вполне добропорядочный и достойный уважения гражданин.

«…Зорге вскоре наскучили дамы из высшего общества, и его потянуло к реальной жизни, – пишет Николай Хохлов. – Особенно нравился Рихарду квартал самых дешевых проституток. Наружное

наблюдение, следившее за каждым его шагом, благосклонно смотрело на невинные развлечения Рихарда. Тем более что сексуальные увлечения в Токио не считались подозрительными вещами… Он с завидным постоянством посещал дома дорогих танцовщиц и в то же время не брезговал обществом девиц, которых родители за гроши продавали в „особые” кварталы, где девочки двенадцати-шестнадцати лет развлекали клиентов. Рихард к этим девочкам относился с сочувствием, и его доброе отношение к ним приносило весомые плоды. Он и здесь находил соратниц и информаторов».

Соратниц – пожалуй, информаторов – вряд ли. Конечно, никаких особенно полезных сведений от проституток Рихард получить не мог, это было чистое развлечение. Но практическая польза от этого общения точно имелась: когда Зорге спрашивали, где же он так хорошо изучил японский язык, он, ничуть не смущаясь, отвечал: «В публичных домах».

9

Перед отъездом Рихарда в командировку они с Катей договорились, что он будет часто писать ей. В этом не было ничего невозможного – письма разведчиков переснимались на микропленку и с оказией доставлялись в СССР, правда, ждать их порой приходилось очень долго. Иногда можно было даже переправлять посылки, и Рихард обещал жене, что будет отсылать ей из той страны, где будет находиться, что-нибудь такое, чтобы она могла догадаться о том, где он сейчас. Не очень-то это соответствовало правилам конспирации, но, видимо, не возбранялось. Впрочем, раз уж в доме у Кати запросто хранились фотографии мужа, видимо, никто не ждал опасности с этой стороны.

Рихард действительно часто писал Кате, сохранилось множество его писем, нежных и грустных, сначала вполне оптимистичных, но с каждым годом становившихся все более безнадежными. При каждой возможности Рихард присылал жене подарки, красивую одежду, стремясь доставить ей хоть какую-то радость. Это были единственные знаки внимания, которые он мог ей оказать.

Через некоторое время после отъезда Рихард получил от Кати ошеломительное известие: она сообщила ему, что беременна! Рихард был счастлив. Он очень хотел детей, и эта новость просто окрылила его. Помолодевший и полный сил, он втайне от всех бегал по Токио, покупая игрушки и детскую одежду и мечтая о том, какая чудесная будет у них с Катей жизнь, когда он вернется. У него наконец-то будет нормальная семья! И больше – никаких командировок!

«Я очень озабочен тем, как все это ты выдержишь, – писал он ей. – Позаботься, пожалуйста, о том, чтобы я сразу, без задержки получил известие. Если это будет девочка, она должна носить твое имя. Я не хочу другого имени, если даже это будет имя моей сестры, которая всегда ко мне хорошо относилась. Будешь ли ты у своих родителей? Пожалуйста, передай им привет от меня. Пусть они не сердятся за то, что я оставил тебя одну. Потом я постараюсь все это исправить моей большой любовью и нежностью к тебе. Будь здорова, крепко жму твою руку и сердечно целую».

А еще через несколько месяцев, с большим опозданием, Рихард узнал, что ребенка не будет. У Кати случился выкидыш… Как сильно это ударило его – не передать словами. Он был раздавлен и уничтожен. Ему ведь было уже 38 лет… Он

чувствовал теперь особенно остро, как время уходит и старость подкрадывается все ближе, убивая надежду на то, что он сможет все успеть.

«Я тебя очень люблю, – писал он Кате, – и думаю только о тебе, не только когда мне особенно тяжело, – ты всегда со мной…»

В 1935 году Зорге вызвали с Москву для знакомства с новым руководством. Он приехал домой всего на две недели. Это так мало, просто невозможно мало!.. Впрочем, Рихард был совершенно уверен, что уедет в Японию ненадолго. Может, еще год или два – и он вернется. И больше уже никуда не уедет. У него накопилось столько материалов по Китаю и Японии, он будет писать книгу. Займется, наконец, научной работой.

Стремясь хоть что-то сделать для Кати, перед отъездом Рихард побывал на приеме у Урицкого и попросил, чтобы жене дали комнату получше. Вскоре она действительно получила квартиру в хорошем доме на Софийской набережной.

В один из последних дней перед отъездом, когда они как обычно гуляли по городу, Рихард спросил ее:

– Ты счастлива, Катя?

Катя помолчала немного, а потом ответила ему строкой из своего любимого Блока:

– «Не подходите к ней с вопросами…»
Лучше бы не спрашивал, право слово…
Под насыпью, во рву некошенном,
Лежит и смотрит, как живая,
В цветном платке, на косы брошенном,
Красивая и молодая.
Бывало, шла походкой чинною
На шум и свист за ближним лесом.
Всю обойдя платформу длинную,
Ждала, волнуясь, под навесом.
Три ярких глаза набегающих —
Нежней румянец, круче локон:
Быть может, кто из проезжающих
Посмотрит пристальней из окон…
Вагоны шли привычной линией,

Подрагивали и скрипели;
Молчали желтые и синие;
В зеленых плакали и пели.
Вставали сонные за стеклами
И обводили ровным взглядом
Платформу, сад с кустами блеклыми,
Ее, жандарма с нею рядом…
Лишь раз гусар, рукой небрежною
Облокотясь на бархат алый,
Скользнул по ней улыбкой нежною…
Скользнул – и поезд в даль умчало.
Так мчалась юность бесполезная,
В пустых мечтах изнемогая…
Тоска дорожная, железная
Свистела, сердце разрывая…
Да что – давно уж сердце вынуто!
Так много отдано поклонов,
Так много жадных взоров кинуто
В пустынные глаза вагонов…
Не подходите к ней с вопросами,
Вам все равно, а ей – довольно:
Любовью, грязью иль колесами
Она раздавлена – все больно.

И в самом деле, ну как она могла бы быть счастлива перед очередной долгой разлукой?

Конечно, Катя тоже надеялась, что очередная «командировка» не продлится долго. Разведчики не работали в одной стране по много лет – два-три года это максимум. Слишком уж сильного напряжения требует такая работа, кто сможет выдержать ее долго? Но прошел еще год, потом еще один, а никакой речи о возвращении не шло. И год от года, от письма к письму надежда на встречу таяла, пока она не оставила их вовсе…

1936 год: «Милая Катюша! Наконец-то я получил от тебя два письма. Одно очень печальное, видимо, зимнее, другое радостное – весеннее. Благодарю тебя, любимая, за оба, за каждое слово в них. Пойми, это был первый признак жизни от тебя после долгих дней, а я так ждал этого. Сегодня я получил известие, что ты поехала в отпуск. Это, должно быть, прекрасно – поехать с тобой в отпуск! Сможем ли мы это когда-нибудь осуществить? Я так хотел

бы этого! Может быть, ты и не представляешь, как сильно. Здесь сейчас ужасно жарко, почти невыносимо. Иногда я купаюсь в море, но особенного отдыха здесь нет. Во всяком случае, сейчас работы полно, и если ты спросишь о нас, тебе ответят, что наши довольны и я не на последнем счету. Иначе это не имело бы смысла для тебя и для всех нас дома. У меня к тебе большая просьба. Катюша, пиши мне больше о себе, всякие мелочи, все что хочешь, только больше. Напиши также, получила ли ты все мои письма за прошлый год. Ну, пока, всего хорошего! Скоро ты получишь еще письмо и даже отчет обо мне. Будь здорова и не забывай меня».

1937 год: «Милая К.! Итак, Новый год наступил. Желаю тебе самого наилучшего в этом году и надеюсь, что он будет последним годом нашей разлуки. Недавно у меня был период очень напряженной работы. Зато было очень приятно получить два письма от тебя. В одном из них ты писала, что была больна: почему же теперь не сообщаешь, как твое здоровье и чем ты болела? Я очень беспокоился о тебе. Ну, всего наилучшего, милая, мне пора. Через два месяца получишь снова весточку от меня. Ты не должна беспокоиться обо мне. Все обстоит благополучно».

«Спасибо, дорогой Ика, за твое письмо, полученное мной сегодня. Благодарю тебя за новогоднее поздравление-пожелание. Я надеюсь, что это будет последний год нашей разлуки, но как долго он еще протянется! Мои дела идут хорошо. Я весела и здорова. С работой все обстоит хорошо. Жаль только, что тебя нет. Не беспокойся обо мне, живи хорошо, но не забывай меня. Желаю тебе всего хорошего и крепко целую. К.».

1938 год: «Дорогая Катя! Когда я писал тебе последнее письмо в начале этого года, то был настолько уверен, что мы летом вместе проведем отпуск, что даже начал строить планы, где нам лучше провести его. Однако я до сих пор здесь. Я так часто подводил тебя моими строками, что не удивляюсь, если ты отказалась от вечного ожидания и сделала отсюда соответствующие выводы. Мне ничего не остается более, как только молча надеяться, что ты меня еще не совсем забыла и что все-таки есть перспектива осуществить нашу пятилетней давности мечту, наконец, получить возможность вместе жить дома. Эту надежду я еще не теряю даже в том случае, если ее неосуществимость является полной моей виной или, вернее, виной обстоятельств, среди которых мы живем и которые ставят перед нами определенные задачи. Между тем миновали уже короткая весна и жаркое, изнуряющее лето, которые очень тяжело переносятся, особенно при постоянной напряженной работе. Да

еще при такой неудаче, которая была у меня. Со мной произошел несчастный случай, несколько месяцев после которого я лежал в больнице. Однако теперь уже все в порядке, и я снова работаю по-прежнему».

«Дорогая Катя. Наконец-то я снова пишу тебе. Слишком долго я не мог этого сделать, не получая также ничего от тебя. А мне это было так необходимо. Не знаю, не потеряла ли ты уже терпение, ожидая меня? Но, милая, иначе невозможно. Мне кажется, ты захочешь меня увидеть, несмотря на то, что ожидание было слишком долгим и я очень устал. Жизнь без тебя очень тяжела и идет слишком медленно. Что ты делаешь? Где теперь работаешь? Возможно, ты теперь уже крупный директор, который возьмет меня к себе на фабрику в крайнем случае мальчиком-рассыльным? Ну, ладно, уж там посмотрим. Будь здорова, дорогая Катя, самые наилучшие сердечные пожелания. Не забывай меня, мне ведь и без того достаточно грустно».

«Дорогой Ика. Я так давно не получала от тебя никаких известий, что я не знаю, что и думать. Я потеряла надежду, что ты вообще существуешь. Все это время для меня было очень тяжелым, трудным. Очень трудно и тяжело и потому, что, повторяю, не знаю, что с тобой и как тебе. Я прихожу к мысли, что вряд ли мы встретимся еще с тобой в жизни. Я не верю больше в это, я устала ждать, устала от одиночества. Старею потихонечку. Много работаю и теряю надежду тебя когда-нибудь увидеть».

Печально было еще и то, что даже при наличии возможности вернуться домой Рихард не стал бы этого делать. После того как в конце 1937 года по обвинению в шпионаже был арестован Ян Берзин, у него не было никаких сомнений, что стоит ему ступить на родную землю, и он тоже будет арестован. Собственно говоря, Зорге ведь звали в отпуск, как раз примерно в это время, но он отказался самым решительным образом, сообщив в Центр, что никак не может оставить боевой пост, иначе «чрезвычайно важная информация перестанет поступать». Таким образом он выиграл себе пять лет жизни…

Катя больше никогда не увидела своего мужа. О провале группы «Рамзай» в октябре 1941 года она так и не узнала. Ее саму арестовали 4 сентября 1942 года по обвинению в шпионаже, и вроде бы даже случайно – ее дело никак не было связано с арестом Зорге. Существует документ, свидетельствующий, что Катю оговорила одна из родственниц, Гаупт Елена Владимировна, проживавшая в Свердловске, обвинив в том, что она завербовала ее как шпионку. Катю отправили в Свердловск, где проходило следствие, в процессе которого выяснилось, что ее мужем

является гражданин Германии, что только подтвердило справедливость обвинений.

Из постановления о продлении срока следствия от 8 сентября 1942 года: «Установлено, что Максимова Е. А. с 1937 года поддерживала связи с германским подданным Зорге Рихардом, временно проживавшим на территории СССР, заподозренным в шпионской деятельности…»

Катя не могла рассказать допрашивавшему ее лейтенанту, кем именно является Зорге Рихард и чем он занимается за границей. Поэтому она просто признала свою вину по всем обвинениям, надеясь, что ее отправят в Москву, где заниматься ее делом будут более серьезные люди, которые знают правду о ее муже.

Так и произошло.

17 ноября 1942 года Катю перевезли в Москву, и на первом же допросе она отказалась от своих показаний. К тому времени, кстати, оговорившая ее Елена Гаупт была мертва: 2 ноября 1942 года она повесилась в камере следственного изолятора. Так что дело разваливалось на глазах.

«Все это время я давала ложные показания, – заявила Катя на допросе. – Никакой шпионской работы я не выполняла. У меня не было другого выхода. Показания против Гаупт я дала только тогда, когда мне предъявили протоколы ее допросов, где она ссылается на меня как на вербовщицу… Про Шталя мне сказали, что он арестован за шпионаж, и мой муж также известен органам НКВД как шпион. Меня вынудили показать, что Шталь рассказал мне про мужа, будто Рихард вел шпионскую работу против СССР. Но мне об этом ничего не известно…»

Больше Катю на допросы не вызывали. 13 марта 1943 года она была приговорена к пятилетней ссылке в Красноярский край.

Выяснили ли следователи то, кем был муж Кати Максимовой, не известно. Возможно, что – нет. Иначе приговор оказался бы более суров. Существует, впрочем, еще версия о том, что на последнем допросе с Катей лично говорил Берия и уверил ее, что с Рихардом Зорге все в порядке. Так или иначе, о его аресте Катя не знала. Она была уверена, что у мужа все хорошо, и продолжала надеяться на встречу… Когда-нибудь, теперь уже после войны.

Местом ссылки ей был назначен поселок Большая Мурта, куда Катя прибыла 15 мая 1943 года. Она готовилась прожить здесь пять лет, но – не успела даже по-настоящему обустроиться на новом месте…

Вот ее письмо домой, датированное 21 мая 1943 года: «Милая сестричка! Вот я опять наслаждаюсь чистым воздухом и полной свободой. Случилось это на днях – мое возрождение. Правда,

меня клонит к земле от слабости, как былинку».

Чуть позже в Петрозаводск пришло еще одно письмо: «Милая мамочка! Господи, какая я сейчас бедная, голая, грязная! Мама, пишите мне чаще, ради Бога, если не хотите, чтобы я сошла с ума. Ведь я столько времени ни от кого ничего не слышала. Приезжайте ко мне на свидание, буду очень рада. Верю, что опять буду на коне, добьюсь хорошей жизни. Сейчас бы как-нибудь не сдохнуть и продержаться. Подкормиться немножко – вот главное…»

Это письмо оказалось последним. Мать не успела приехать к Кате на свидание – через месяц она получила еще одно послание, в своем роде шедевр эпистолярного жанра: «Здравствуйте! Привет из Сибири. Сообщаю вам, что ваша Катя 3 июля 1943 года, находясь на излечении в муртинской больнице, умерла. Сильно не беспокойтесь, видимо, ее судьба такова, и сейчас страна теряет тысячи героинь и героев. Если хотите узнать подробнее, то пишите. С приветом. Елена Васильевна Макеева».

В ответ на запрос пришло еще одно письмо, чуть более подробное, от врача муртинской больницы: «Ваша дочь поступила к нам в больницу 29 мая с химическим ожогом. Лечение проводилось открытым способом, т. е. был сделан каркас, который прикрывался простыней. Иногда у нее со слезами срывался вопрос: за что? Иногда она говорила, что только хочет увидеть свою мать… Деньги, оставшиеся после нее, 450 рублей, израсходовали на могилу, похороны и крест. После нее остались вещи: серая юбка шерстяная, теплая безрукавка и сорочка. Галоши старые. Вещи хранятся на складе больницы у кастелянши…»

Скорее всего, Катя погибла в результате несчастного случая на производстве. На каком именно, точно не неизвестно, в Сибири находилось множество эвакуированных военных заводов.

Уже много лет спустя после окончания войны, когда в Советском Союзе узнали о подвиге Рихарда Зорге, энтузиасты пытались найти могилу Кати, но так и не смогли. Все следы ее потеряны, и, видимо, навсегда.

10

До ареста Рихард Зорге прожил в Японии почти девять лет, вряд ли многие разведчики могли бы похвастать таким долгим сроком агентурной работы. Тем, кто не прошел что-то подобное сам, невозможно представить, каково это – жизнь в постоянном напряжении двадцать четыре часа в сутки, необходимость соблюдать предельную осторожность, притворяться, лгать, находить способы прятать шифры, документы, передатчик, искать возможность выхода в эфир, чтобы вовремя сообщать в Москву важные сведения. При этом Москва часто выражала недовольство, что информация приходит не в должном объеме или не хватает ссылок на источники. Или же Москва – просто не верит.

Бывало, что после общения с Центром Зорге напивался в хлам и не мог сдержать эмоций – разумеется, не в общественном месте, а в кругу своих. Макс Клаузен вспоминал, как однажды они получили шифровку из Москвы: «Мы сомневаемся в достоверности вашей информации». И Зорге завопил: «Как эти недоумки могут игнорировать наше донесение?!»

В нетрезвом виде он бывал агрессивен, ввязывался в драки, но даже в самом невменяемом состоянии никогда не говорил лишнего. Контрразведчик Ивар Лисснер решил однажды проверить Рихарда на знание русского языка. «Однажды я принес русскую газету и положил ему на стол. Русским я владел свободно. „Прочтите это!" – сказал я. Зорге уже успел выпить добрых пятнадцать порций виски. „Прочесть это? Да надо быть не в своем уме!" – И от его хохота, как обычно, стены заходили ходуном».

В своем уме он, впрочем, был не всегда, порой Зорге устраивал совершенно дикие выходки, грозившие провалом всей его группе. Он любил гонять на мотоцикле на высокой скорости и частенько нетрезвым. Мелких аварий было не счесть, в полицию попадал неоднократно. Но это – ерунда. Он всего лишь рисковал собственной жизнью. А как назвать то, что однажды в пьяном виде он поехал на встречу со своим агентом Ходзуми Одзаки, имея при себе секретные документы?! И гнал, как всегда, на предельной скорости! Везение не может быть бесконечным, на сей раз он попал в серьезную аварию (о которой, кстати, упоминает в одном из писем Кате) – то ли наехал на камень у обочины, то ли не вписался в поворот и врезался в стену. Получил тяжелые травмы: сотрясение мозга и такой сложный перелом челюсти, что врачам пришлось ставить протез, но главное – только чудом он избежал разоблачения. Попав в больницу, Зорге первым делом

вызвал Макса Клаузена, передал ему шифровки – успел буквально за несколько минут до того, как прибыла полиция, – и лишь затем позволил себе потерять сознание.

Казалось бы, зачем весь этот ненужный риск? Алкоголь, гонки, бесконечная череда сменяющихся в постели девушек… Просто способы снять напряжение? Отвлечься? Не оставаться в одиночестве? В письмах к Кате Рихард часто жаловался на то, как он одинок, но на самом деле это было не совсем так. Очень скоро после приезда в Японию в его жизни появилась женщина, которая безумно его любила, которую он любил и которая все эти годы была самым близким его человеком, не просто любовницей, скорее – гражданской женой. Более настоящей женой, чем оставленная в далеком СССР Катя. Они были вместе шесть лет – хороший срок для семейного стажа. Она была японка, ее звали Исии Ханако.

Ханако родилась в 1911 году в деревне рядом с Хиросимой. Училась в медицинском училище, потом поехала искать работу в Токио. Почему-то совсем не по полученной специальности. Должно быть, работа официанткой казалась ей более привлекательной. Не сразу, но она нашла место в ресторане «Золото Рейна».

Елена Прудникова так описывает ее знакомство с Зорге: «4 октября 1935 года Рихард отмечал день рождения в ресторанчике „Золото Рейна”, где любили собираться скучающие по родине токийские немцы. В заведении старательно поддерживался немецкий дух, даже японских официанток звали европейскими именами. Впрочем, воспитаны они были в лучших японских традициях, были умны и умели развлекать гостей утонченной беседой. В тот день хозяин подозвал одну из официанток, по имени Агнес, и велел: „Этому господину сегодня исполнилось сорок лет. Постарайся, чтобы ему запомнился этот вечер”. Однако несмотря на все старания девушки, „господин” чем больше пил, тем больше мрачнел.

– Люди веселятся в день рождения. А вам, наверное, у нас скучно… – сказала она, подливая гостю вина.

– Если тебе доведется отмечать сорокалетие так же далеко от родных мест, поймешь, насколько это весело, – мрачно усмехнулся тот.

Через несколько дней они случайно встретились в магазине грампластинок.

– Ты так старалась развеселить меня, что заслуживаешь награды, – улыбнулся гость.

Сегодня он был весел и обаятелен, подарил Агнес несколько пластинок. В следующий раз они увиделись весной 1936 года,

когда немец вновь появился в ресторане, затем – в июне… „Агнес”, на которую он произвел неизгладимое впечатление, помнила каждый его визит. А вскоре они познакомились ближе…»

Зорге жил в небольшом двухэтажном домике в «японском» квартале, в районе Адзабуку, кстати, случайно оказалось, что неподалеку от него находится полицейское управление, сотрудники которого являлись к нему с педантичной регулярностью – вероятно, им было просто удобно заходить к нему по дороге на работу. Рихард часто замечал пропажу каких-то рукописей или использованных листов копирки, но он не оставлял без присмотра ничего важного и относился к этим визитам снисходительно, как к неизбежному злу.

Никто из любовниц Зорге не жил в его доме – возможно, даже не оставался на всю ночь, – первой и единственной была Ханако, хотя и она, судя по всему, не жила у него постоянно. Полиция пыталась завербовать ее следить за немецким журналистом, но девушка с негодованием отказалась. Она любила его всем сердцем, верно, преданно и спокойно – без ревности, без ссор, принимая его таким, как есть без всяких оговорок. Идеальная возлюбленная. И она конечно же не знала о том, что Рихард – шпион. Его арест явился для нее большой неожиданностью.

11

Нападение Германии на Советский Союз стало для Зорге жестоким ударом.

Произошло то, против чего он работал все эти девять лет, – две его родины столкнулись в смертельной схватке.

За какую из них он переживал больше?

Вечером 22 июня 1941 года Рихад страшнейшим образом напился, так что даже потерял над собой контроль.

«Оставшись в баре отеля „Империал", Зорге пришел в состояние мрачной агрессивности. Где-то между 7 и 8 часами вечера он подошел к телефонному аппарату и вызвал резиденцию германского посла. „Эта война проиграна!" – крикнул он оторопевшему Отту. Вилли и Анита Моор, а также другие „столпы" германской общины в Токио были шокированы последовавшими звонками от Зорге с тем же черным пророчеством. Мооры позвонили Отту и обменялись с ним негодующими замечаниями».

«Внешне он мало изменился, разве что стал серьезнее, – пишет Елена Прудникова. – Его связник, В. Зайцев, вспоминал об одной из встреч того времени: „Я встретил Р. З. в одном из захолустных ресторанчиков… Зорге пришел с опозданием в несколько минут и подошел к моему столику. Внешне ничто не говорило о его паническом состоянии. Он был спокоен и, как всегда, собран, однако первым разговора не начинал и внимательно смотрел на меня, как бы изучая мое состояние. А услышав мое сообщение о том, что руководство в Москве высоко оценивает деятельность его и других членов его резидентуры в последние месяцы и ходатайствует перед ЦИК СССР о высокой награде, Зорге немного смутился и с улыбкой сказал: «Дорогой Серж, разве награда и благодарность для коммуниста и разведчика имеют какое-либо серьезное значение? Главное в том, что мы с вами не сумели предотвратить войну. Теперь за это люди будут платить большой кровью»"».

Ханако видела его другим, не таким сдержанным. «После 22 июня он потемнел, все время пропадал где-то, возвращался поздно и все больше тосковал. А однажды перепугал ее взрывом отчаяния. Он был уже не на пределе, а за пределом человеческих сил, понимал, что их не отзовут, и, наверное, уже предчувствовал катастрофу. Тогда, плача, он говорил ей:

– Я умру раньше. Я хочу, чтобы ты жила. Пожалуйста, живи долго… Ты не волнуйся, Зорге сильный. Он никогда не скажет ничего о тебе. А ты живи, выходи замуж… – И тут же сам себя

одернул: – Прости меня, пожалуйста. Мне просто очень одиноко и грустно… – И вдруг обнял ее: – Давай умрем вместе…»

Зорге был умным человеком, он не мог не понимать, что близок к провалу. Теперь, после начала войны, следовало свернуть деятельность группы «Рамзай» и хотя бы на какое-то время лечь на дно. Но Центр требовал информацию еще более настойчиво, чем раньше. Москва хотела знать планы Японии относительно СССР. И Рихард сделал все возможное, чтобы добыть нужные сведения. А потом события начали развиваться слишком быстро, и он не мог уже ничего предпринять…

К провалу разведгруппы «Рамзай» привела довольно сложная цепочка событий, и личной вины в случившемся ни у кого из ее членов не было. Виновато было руководство четвертого управления и лично Ян Берзин – к тому времени уже покойный, – нарушившие основное правило своего ведомства: нельзя привлекать к агентурной работе бывших коминтерновцев, на которых у полиции есть досье. На группу Зорге вышли по коммунистическим каналам. Совершенно случайно.

«В конце 30-х годов вернувшиеся из Штатов японцы-коммунисты создали подготовительный комитет для работы по воссозданию коммунистической партии Японии, – пишет Елена Прудникова. – В 1940 году полиция арестовала одного из руководителей этого комитета, Рицу Ито. Он держался несколько месяцев, а потом „раскололся” и назвал всех, кого знал. В число людей, выданных им, попала 55-летняя портниха Китабаяси Томо. 28 сентября 1941 года женщина была арестована и тоже заговорила, назвав в числе прочих Иотоку Мияги. Несколько дней полиция следила за домом художника и за ним самим. О том, что было дальше, поведал Хоцуки Одзаки, брат Ходзуми.: „10 октября полицейские агенты подъехали к дому Мияги. Увидев их в окно, тот в испуге, с трудом соображая, что предпринять, забаррикадировался в комнате. Взгляд его упал на самурайский меч, висевший на стене… Когда агенты полиции ворвались в комнату, они увидели истекающего кровью Мияги – он сделал харакири, но был жив. Старший офицер приказал быстро доставить его в больницу. Несмотря на обострение болезни – Мияги был с детства болен туберкулезом – и страшную рану, организм цеплялся за жизнь… Мияги допрашивали на втором этаже полицейского отделения. Во время допроса, когда двое сотрудников полиции вышли из кабинета, художник выбросился из окна. Трудно сказать, на что он рассчитывал, прыгая со второго этажа с целью покончить с собой, – по правде сказать, это больше похоже на попытку к бегству, чем на самоубийство. Остававшийся в комнате полицейский, недолго думая, прыгнул

следом. Внизу была каменная ограда, так что разбились оба. Мияги сломал ногу и повредил позвоночник, а полицейский провел две недели в больнице. После того как арестованному была оказана первая помощь, сразу же начались допросы. И тогда он, сломленный арестом и неудачной попыткой самоубийства, заговорил”».

Об аресте Итоку Мияги остальным членом группы стало известно почти сразу же, но они так и не придумали, что предпринять, – Центр не дал им никаких инструкций на случай провала. Впрочем, они не сделали даже того, что, казалось, было совершенно логично и без всяких инструкций: не были уничтожены ни компрометирующие документы, ни передатчик. Поэтому, когда их взяли, полиции даже не нужно было искать доказательства их шпионской деятельности, все они были налицо.

Рихарда Зорге арестовали 18 октября 1941 года. Его взяли рано утром, хотя полиция следила за домом, начиная с раннего вечера прошлого дня: во дворе дома Зорге стояла машина с номерами посольства Германии, и они не решились вторгаться к нему, пока она не уедет. Вероятно, как раз в ту ночь возлюбленного навещала Хельма Отт.

Сначала Рихард отрицал свою вину, но после того как ему были предъявлены вещественные доказательства, сдался. Возможно, и тогда сдался не сразу, потому что, хотя в отчете прокурора и значится, что «пытки к Зорге не применялись», есть в нем настораживающая фраза: «Я вместе с моим коллегой Тамасавой и полицейским пошли к нему выяснить, позволяет ли его здоровье продолжать допрос». Что же это за допрос был, если он мог закончиться летально? Вряд ли он ограничивался исключительно словопрениями… Зорге не стал испытывать себя на прочность, он заговорил, постаравшись взять всю вину на себя и максимально выгородить остальных членов своей группы. Отдельно он попросил не трогать Исии Ханако, заявив, что она не имеет никакого отношения к их деятельности. Забегая вперед, упомянем, что Ханако арестовали летом 1942 года, но после короткого расследования отпустили, уверившись, что она действительно ничего не знает.

А Рихард долгих три года провел в тюрьме, ожидая решения своей участи.

«…Их содержали в тюрьме Сугамо. Врач Токутаро Ясуда, арестованный по этому же делу, оставил описание тюремных порядков. „В шесть часов утра – подъем. Через час – проверка. Дверь камер открывается. Трое тюремщиков спрашивают: жив? Заключенный должен встретить их, распластавшись в поклоне на

полу. Далее – завтрак: горстка риса или ячменя, чашка супа. Обед и ужин из прогнивших продуктов приходилось покупать за свои деньги. Если родственники заключенного были бедны, он не получал ничего. Днем – прогулка…”» В общем, обычный тюремный режим с некоторой восточной спецификой, в виде поклонов и питания за свои деньги. С заключенными в то время нигде не церемонились. Впрочем, возможно, европейцам делались некоторые послабления. Так, Макс Клаузен вспоминал, что, когда их возили на допрос, то японцам надевали кандалы, а его удостаивали наручников.

После растерянности и отчаяния первых недель Рихард держался мужественно. Переводил на допросах Иоситоси Икома, профессор германистики. Режим проведения допросов был либеральным, и в перерывах подследственный мог спокойно общаться с переводчиком. Тот вспоминает: «Мы беседовали с доктором Зорге на самые разные темы, но главным образом – о войне Германии с Советским Союзом; как видно, это интересовало его больше всего. Если советские войска одерживали верх, как это было на заключительной стадии Сталинградской битвы, он приходил в хорошее расположение духа, становился разговорчивее. В противном случае он выглядел разбитым и был очень скуп на слова. Он был большим другом Советского Союза. Доктор Зорге был прирожденным журналистом с характером искателя приключений… Мне точно известно, что уже после оглашения смертного приговора он писал в дневнике: „Я умру как верный солдат Красной Армии”».

Как и во время допросов, на суде Рихард принял на себя ответственность за свои действия и за действия своих людей – возможно, именно поэтому почти всем были вынесены относительно мягкие приговоры. Лишь Рихард Зорге и Ходзуми Одзаки приговаривались к смертной казни, Макс Клаузен и Бранко Вукелич получили пожизненное заключение. Анна Клаузен – семь лет тюрьмы. Иотоку Мияги умер во время следствия. Еще 11 японцев получили разные сроки заключения, а 18 из 35 арестованных по делу были признаны «пособниками» и вскоре освобождены.

«Больше девяти месяцев Рихарда и Одзаки продержали в камере смертников. Им разрешили писать, „что они захотят”, и Зорге оставил после себя „Тюремные записки” – рассказ о своей жизни, политических взглядах и работе. Рихард ни в чем не раскаивался и ни о чем не жалел…»

Утром 7 ноября 1944 года дверь камеры смертников открылась. Вошел начальник тюрьмы, отдал официальный поклон и спросил, действительно ли заключенного зовут Рихард Зорге.

– Да, это мое имя.

– Сколько вам лет?

– Сорок девять.

– Ваш адрес?

Удостоверившись, что перед ним тот самый человек, тюремщик снова поклонился.

– Мне поручено сообщить, что по распоряжению министра юстиции барона Ивамура зачитанный вам приговор сегодня будет приведен в исполнение. От вас ждут, что вы умрете спокойно.

Снова поклон, на который Зорге отвечает вежливым кивком.

– Имеете ли вы какие-нибудь желания?

– Нет, свою последнюю волю я уже изложил письменно.

– В таком случае прошу вас следовать за мной.

– Я готов.

Они вышли во двор и направились к небольшому каменному домику, где уже ждали прокурор, палач и священник – правда, буддийский, но Рихард все равно был неверующим. Он, не повернув головы, прошел мимо статуи Будды в первой комнате домика для казней и сам ступил на крышку люка под виселицей, сжал кулак в традиционном приветствии немецких коммунистов. Говорят, перед смертью он воскликнул: «Да здравствует Советский Союз! Да здравствует Красная Армия!»

Рихард был повешен на рояльной струне – так было принято в Японии – довольно жестокий вид казни, продлевающий агонию. Рихард продержался довольно долго, у него было на редкость здоровое сердце. Врач констатировал смерть только через шесть минут.

До самого конца войны Ханако ничего не знала о судьбе любимого и, конечно, надеялась, что он жив. Только после капитуляции Японии, в октябре 1945 года, когда из тюрьмы стали выпускать политических заключенных, появились списки казненных, и она узнала, что Рихарда больше нет. Долгие пять лет она пыталась найти его могилу… Ходила по инстанциям, говорила с адвокатом Зорге, добилась разрешения просмотреть тюремные книги, где нашла запись: «Зорге, он же Рамзай, казнен 7 ноября 1944 года в 10 часов 36 минут 16 секунд утра». Где он похоронен, указано не было. Однако Ханако сообщили, что заключенных в массовом порядке хоронили в общей могиле на большом загородном кладбище Дзосигая, и даже ставили на могилах деревянные знаки с датами смерти. Ханако отправилась на кладбище, но, к сожалению, никаких знаков не нашла: еще во время войны окрестные жители растащили их на дрова.

Ханако не сдалась, она добилась разрешения разрыть безымянную могилу и вскоре нашла останки Рихарда – это

оказалось не сложно. Она опознала их по перелому на кости бедра, полученному Зорге еще в Первую мировую, по протезу челюсти, оставшемуся на память о мотоциклетной аварии в Токио. Ханако узнала его очки – Рихард стал носить их незадолго перед арестом, нашла пряжку его пояса. Сомнений не было никаких…

В крематории «Симонтиайно Касоба» останки Зорге превратились в прах, урну с которым Ханако целый год хранила у себя дома, – собирала деньги, чтобы купить место на кладбище. И только 8 ноября 1950 года, ровно через шесть лет после его смерти, она похоронила Рихарда на кладбище Тама.

Еще через шесть лет она смогла собрать деньги на скромный памятник. На одной стороне которого было написано на японском и немецком: «Рихард Зорге» и даты 1895–1944. На другой стороне была надпись: «Здесь покоится герой, который отдал жизнь в борьбе против войны, за мир во всем мире».

Среди останков возлюбленного Ханако нашла золотые коронки, поставленные ему после аварии, и заказала из них себе обручальное кольцо, таким образом символически обвенчавшись с Рихардом после его смерти. Это кольцо она носила не снимая до конца своих дней, оставаясь ему верной.

Она написала три книги о нем и, после того как в середине 1960-х о Зорге внезапно вспомнили на родине, ездила в СССР.

Умерла Ханако 4 июля 2000 года в возрасте 89 лет.

На родине, кстати, о разведчике Рихарде Зорге узнали совершенно случайно. Однажды Никите Сергеевичу Хрущеву привезли посмотреть новый фильм французского режиссера Ива Чампи, называвшийся «Кто вы, доктор Зорге?».

Рассказывали, что, посмотрев фильм, Хрущев воскликнул:

– Вот как надо снимать! Знаешь, что все это выдумки, а сидишь от начала и до конца как на иголках, все ждешь, что же дальше будет…

– Так ведь это не выдумки, Никита Сергеевич, – сказал кто-то из присутствовавших кагэбэшников. – Это чистая правда…

Хрущев снял телефонную трубку, позвонил в КГБ, и там подтвердили: да, действительно был такой разведчик…

– Так почему же о его подвиге до сих пор не знает страна?! – возмутился генсек.

5 ноября 1964 года был подписан Указ Президиума Верховного Совета о присвоении Рихарду Зорге звания Героя Советского Союза.

А спустя семнадцать дней после этого было пересмотрено дело Кати Максимовой – ее реабилитировали посмертно.

Вот так печально закончилась эта история любви.

Жизнь на адреналине – это то, что Рихард всегда так любил, то, что хотел, что выбрал для себя сам. Это ловушка, в которую он себя загнал и из которой не нашел выхода. Нет, он, конечно, не думал, что уже не выберется из Японии никогда, даже будучи в тюрьме он надеялся, что его выручат свои, верил, что после войны вернется домой и еще будет счастлив вместе с Катей, – его жены к тому времени уже не было в живых, но он об этом не знал. Так и не узнал. Умирая, думал о том, что у нее еще все будет хорошо и она сможет быть счастлива – без него…

И она наверняка тоже думала, умирая, что он жив, у него все в порядке и он еще будет счастлив – без нее…

Михаил Булгаков и Елена Шиловская: «Я буду любить тебя всю мою жизнь…»

Михаил Булгаков и Елена Шиловская

...

– Булгаков Михаил Афанасьевич (3 [15] мая 1891, Киев, Российская империя – 10 марта 1940, Москва, СССР) – великий русский писатель, драматург, театральный деятель.

– Нюрнберг (Нюренберг) (по первому мужу Неелова, по второму мужу Шиловская) Елена Сергеевна (21 октября [2 ноября] 1893 – 18 июля 1970) – муза.

– Он – вдохновенный, мятущийся, непостоянный, ранимый, зависимый, любил красоту в ее чисто материальном проявлении и нуждался в комфорте.

– Она – изысканная, утонченная, с природным чувством прекрасного, по-женски мудрая, эмоциональная, любящая натура.

– Она стала третьей женой для него, он – третьим мужем для нее.

– Безмерно любили друг друга до взаимного растворения. Каждый старался быть тем идеалом, о котором партнер мечтал.

– Общих детей не было.

– Ни одной измены.

– Были вместе с 1929 года по 10 марта 1949 года.

– Их разлучила смерть Михаила Афанасьевича.

Михаил Булгаков – один из самых востребованных и читаемых писателей XX века и один из самых загадочных. Елена Шиловская – его великая любовь, его жена и его муза.

Свою главную книгу – роман «Мастер и Маргарита» – он писал для нее. А она посвятила всю свою жизнь тому, чтобы книга увидела свет.

1

Еще до революции в Киеве совсем молоденькому Михаилу Афанасьевичу Булгакову цыганка нагадала, что у него будет три жены. Тогда Михаил опечалился: он был религиозен, а у православных считается: «Первая жена – от Бога, вторая – от людей, третья – от дьявола». Но по мере взросления и возрастания его свободомыслия Михаил не только смирялся с мыслью о суженых ему трех женах, но даже радовался: Булгакову виделось в этом нечто одновременно драматическое и романтическое – в том, что последняя жена, с которой он встретит старость и смерть, будет «от дьявола».

Занятно, что у третьей жены его, Елены Сергеевны Нюренберг, он также был третьим мужем. Правда, насчет трех мужей никакой пословицы не существовало: до эмансипации в России женщин, исхитрившихся трижды выйти замуж, можно было по пальцам пересчитать – ведь для этого ей нужно было бы дважды овдоветь! К счастью для себя, свободолюбивая Елена Сергеевна жила и любила уже в те времена, когда были возможны разводы.

2

Михаил Афанасьевич Булгаков родился 3 (15) мая 1891 года в Киеве в семье преподавателя Киевской Духовной академии Афанасия Ивановича Булгакова и его жены Варвары Михайловны, также происходившей из семьи священников. Михаил был их первым ребенком. После родились Вера, Надежда, Варвара, Николай, Иван, Елена. Жили Булгаковы не богато и хотя, разумеется, не нуждались, но по традиции разночинной интеллигенции чурались роскоши, а наибольшее внимание уделяли образованию детей.

Надежда Булгакова-Земская вспоминала: «…Основным методом воспитания детей… была шутка, ласка и доброжелательность… это то, что выковало наши характеры… У нас в доме все время звучал смех… Это был лейтмотив нашей жизни».

Афанасий Иванович умер в 1907 году от нефросклероза. Несмотря на страдания, всегда причиняемые этой болезнью, он успел позаботиться о будущем детей: добился степени доктора богословия и повлиял на то, чтобы Совет Духовной академии возбудил ходатайство перед Священным Синодом о присвоении ему звания ординарного профессора. После его смерти семье назначили значительный пенсион: 3000 рублей в год.

Варвара Михайловна также думала только о детях, о том, как сложится их жизнь, и постаралась дать хорошее образование не только мальчикам, но и девочкам. Она говорила: «Я хочу вам всем дать настоящее образование. Я не могу вам дать приданое или капитал. Но я могу вам дать единственный капитал, который у вас будет, – это образование».

Правда, Михаил Булгаков в гимназии учился плохо: высший балл он получил только по Закону Божьему и географии. В юности Михаил мечтал стать актером, и он действительно был артистической натурой – блестящий, остроумный. Как вспоминала его сестра Надежда, «он был весел, он задавал тон шуткам, он писал сатирические стихи про ту же самую маму и про нас, давал нам всем стихотворные характеристики, рисовал карикатуры, играл на рояле». Михаил вообще выделялся из всей семьи. Он вырос щеголем, страстно любящим все красивое и изящное, комфорт и роскошь, в общем – презираемые его родными соблазны земного бытия. Но когда Михаилу всерьез пришлось определяться со своим будущим, он даже не пытался связать его с театральными подмостками, а по примеру братьев матери – Василия, Николая и Михаила Покровских – решил стать

врачом и в 1909 году поступил на медицинский факультет Императорского университета Св. Владимира в Киеве. Специализацию выбрал в те времена востребованную: сифилидолог, то есть специалист по сифилису.

3

Елена Сергеевна Нюренберг родилась в Риге 21 октября 1893 года. Несмотря на изменение календаря, она всегда писала в документах именно эту дату и день рождения праздновала 21 октября, только уже по новому стилю. Среди предков ее по отцовской линии числился ювелир иудейского вероисповедания, который во времена Екатерины Великой приехал из немецкого Нюренберга в Россию. Впрочем, ее отец, податный инспектор Сергей Маркович Нюренберг, при рождении был крещен в лютеранство, а чтобы жениться на ее матери, дочери православного священника Александре Гронской, принял православие. У Елены было двое братьев – Александр и Константин и старшая сестра Ольга.

В семье Елена считалась красавицей. Свататься к ней начали, едва ей исполнилось пятнадцать. Среди прочих соискателей ее руки был поручик Бокшанский, которого Елена уговорила… жениться на ее сестре Ольге, которая в Бокшанского была влюблена!

Елена Нюренберг училась в женской Рижской Ломоносовской гимназии, но не окончила ее. Зато дома получила традиционное для девушек в те времена образование: знала несколько иностранных языков, была начитана, разбиралась в классической музыке и ценила театральное искусство. Единственный полезный навык, которому сестры были обучены, – печатать на машинке. И это им очень пригодилось в будущем.

В 1915 году во время Первой мировой войны Нюренберги перебрались из Риги в Москву. Ольга и Елена влюбились в Художественный театр, не пропускали ни одной постановки и даже пытались устроиться туда на работу, но принята была только Ольга – на должность секретаря-машинистки. Позже Ольга Бокшанская стала личным секретарем Владимира Ивановича Немировича-Данченко, а Михаил Булгаков вывел ее в «Театральном романе» в образе Поликсены Торопецкой.

4

В 1908 году Михаил Булгаков впервые влюбился – в пятнадцатилетнюю гимназистку Татьяну Лаппа. Первая любовь оказалась неожиданно сильной, выдержала четырехлетнее испытание, и 26 апреля 1913 года Михаил и Тася обвенчались. Михаил учился в университете, Татьяна – на высших женских курсах. Этот первый брак Булгакова продлился 11 лет и пришелся на самые тяжелые времена: Первая мировая война, революция, Гражданская война… Михаил служил в госпиталях Юго-Западного фронта русской армии, ему пришлось покинуть Киев, побывать на Смоленщине, на Кавказе, и всюду Татьяна следовала за ним – верная, кроткая спутница, старавшаяся максимально оградить мужа от обыденной жизни, которая в те годы была невыносимо трудна. А ведь еще во время своего пребывания на должности земского врача в селе Никольское Сычевского уезда Михаил стал злоупотреблять морфием и едва не погиб от наркомании – Татьяна спасла и вылечила его, врачи-наркологи считают – чудом.

В 1919 году супруги вернулись в Киев, находившийся под властью Добровольческой армии Деникина. Михаил Булгаков был призван в армию. «Он получил мобилизационный листок, кажется, обмундирование – френч, шинель. Его направили во Владикавказ, в военный госпиталь, – вспоминала Татьяна Булгакова-Лаппа. – Назначение было именно во Владикавказ, и не санитарным поездом… Почему я так думаю, потому что в Ростове он сделал остановку. Пошел играть в биллиард – то есть был сам себе господин. Там он сильно проигрался… и даже заложил мою золотую браслетку… В Киеве я жила без него, меньше месяца… получила телеграмму из Владикавказа и сразу вслед за телеграммой письмо… Поехала. Предупредили: если в Екатеринославе махновцы – поезд разгромят. Боялась, конечно…»

Во время пребывания во Владикавказе Михаил Булгаков начал свою профессиональную писательскую деятельность, причем так удачно, что вскоре смог оставить опостылевшую медицину. Сам он вспоминал: «Как-то ночью в 1919 году, глухой осенью, едучи в расхлябанном поезде, при свете свечечки, вставленной в бутылку из-под керосина, написал первый маленький рассказ. В городе, в который затащил меня поезд, отнес рассказ в редакцию газеты. Там его напечатали. Потом напечатали несколько фельетонов. В начале 1920 года я бросил звание с отличием и писал».

В 1920 году Михаил переболел тифом. Был при смерти.

Выходила его опять же Татьяна.

В Батуме Михаил наблюдал, как тысячи людей морем покидают Россию, и тоже захотел эмигрировать. Жену он отправил в Москву, а сам пытался сесть на пароход до Константинополя, мечтая в конце концов оказаться в Париже. Но уплыть не удалось и пришлось ехать вслед за Татьяной в Москву. Булгаков вспоминал: «В конце 1921 года приехал без денег, без вещей в Москву, чтобы остаться в ней навсегда. В Москве долго мучился; чтобы поддержать существование, служил репортером и фельетонистом в газетах…»

После скитаний по знакомым и по комнатам в общежитиях Булгаковы поселились в комнате коммунальной квартиры № 50 в доме 10 на Большой Садовой улице. Жили тяжело. «Он нигде не работал, я нигде не работала, одними вещами жили, и те уж на исходе были. Бывало так, что у нас ничего не было – ни картошки, ни хлеба, ничего. Михаил бегал голодный», – вспоминала потом Татьяна.

В марте 1922 года Михаил устроился литературным обработчиком в газету железнодорожников «Гудок», и материальное положение семьи несколько улучшилось. А после того как его очерки и фельетоны начали публиковать в эмигрантских газетах «Накануне» и «Литературное приложение» (выходивших на советские деньги), Михаил наконец смог позволить себе то, что он так ценил: элегантную одежду, сшитую у портного, брюки на шелковой подкладке и даже монокль, которым он в послереволюционной Москве всех неизменно шокировал.

В январе 1924 года Михаил Афанасьевич Булгаков пришел на вечер, устроенный газетой «Накануне» в Бюро обслуживания иностранцев. Жены с ним не было, и он познакомился с недавно приехавшей из-за границы Любовью Евгеньевной Белозерской. Это была яркая, очаровательная женщина, живо увлекавшаяся всем – от литературы и кинематографа до конного спорта и автомобилей. Она была со вкусом одета и казалась настоящей жар-птицей на фоне скромной и откровенно наскучившей ему Татьяны. Михаил Афанасьевич влюбился, Любовь Евгеньевна ответила ему взаимностью. Вскоре они решили, что не могут жить друг без друга. И в апреле 1924 году Булгаков развелся со своей первой женой. Брак с Любовью Евгеньевной он зарегистрировал ровно через год после развода. К тому моменту они давно уже жили вместе.

5

Осенью 1918 года Елена Сергеевна Нюренберг устроилась на работу машинисткой: не в театр, как мечталось, а в только что образовавшееся Российское телеграфное агентство (РОСТА). Проработала она недолго: уже в декабре Елена вышла замуж за Юрия Мамонтовича Неелова, сына знаменитого актера и революционера Мамонта Дальского. Венчались они в храме Симеона Столпника на Поварской. Юрий Неелов был военным, красным офицером, служил в Шестнадцатой армии, был личным адъютантом командующего Николая Соллогуба. Впрочем, о первом браке Елены Сергеевны известно мало: большинство документов были утеряны, а сама она вспоминать не любила. Даже Мариэтте Чудаковой, автору знаменитого (и первого!) «Жизнеописания Михаила Булгакова», с которой вдова писателя была достаточно откровенна, о Юрии Неелове она не рассказывала – возможно, даже спустя несколько десятилетий ее мучили угрызения совести, что она не сумела стать ему верной и достойной женой.

Всего через несколько месяцев супружеской жизни Елена Сергеевна познакомилась с Евгением Александровичем Шиловским. Дворянин, сильный волевой мужчина, прирожденный военный, Шиловский окончил Кадетский корпус и Николаевскую военную академию Генштаба, едва не стал жертвой ЧК, но перешел на службу победившему пролетариату и вступил в Красную Армию, где как раз ощущалась нехватка кадровых офицеров. Дзидра Тубельская, познакомившаяся Елену Сергеевну с Евгением Александровичем, когда тот был уже пожилым человеком, вспоминала: «Он был очень красив. Благородная аристократическая внешность бросалась в глаза. В кабинете Евгения Александровича за письменным столом стояло деревянное кресло, на спинке которого был вырезан девиз его дворянского рода. Я, к сожалению, не помню точный текст. Но это старинное кресло произвело на меня неизгладимое впечатление…»

В Елену Сергеевну Шиловский влюбился отчаянно и сделал все для того, чтобы заполучить ее. Пользуясь своим положением старшего по званию, он отдал приказ об отправке Неелова в штаб Южного фронта, а сам тем временем ухаживал за Еленой Сергеевной и добился ее взаимности.

Евгений Александрович уговорил Елену Сергеевну расторгнуть брак с Нееловым. А потом просил ее руки – и Елена Сергеевна согласилась. Осенью 1921 года они поженились. Елена

Сергеевна была уже в положении, и через несколько месяцев у нее родился сын, названный в честь отца Евгением. В 1926 году на свет появился второй сын – Сергей.

Евгений Александрович Шиловский приложил все усилия, чтобы сделать счастливой жену, которую он называл Люсей. Тем более что средства позволяли. С 1922 года он служил в Военной академии имени Фрунзе, с 1928 стал начальником штаба Московского военного округа. В семье никогда не было проблем с продуктами и вещами. Елена Сергеевна одевалась у портного, хозяйством занималась прислуга. Точно как у Маргариты в еще ненаписанном тогда романе Михаила Булгакова: «Маргарита Николаевна не нуждалась в деньгах. Маргарита Николаевна могла купить все, что ей понравится. Среди знакомых ее мужа попадались интересные люди. Маргарита Николаевна никогда не прикасалась к примусу. Маргарита Николаевна не знала ужасов житья в совместной квартире…»

Правда, Маргарита Николаевна при всем при том была еще и несчастлива. А Елена Сергеевна чувствовала всего лишь некоторую неудовлетворенность жизнью. Она писала сестре Ольге, когда та ездила в Европу на гастроли с труппой МХТ: «Мне иногда кажется, что мне еще чего-то надо. Ты знаешь, как я люблю Женей моих, что для меня значит мой малыш, но все-таки я чувствую, что такая тихая, семейная жизнь не совсем по мне. Или вернее так, иногда на меня находит такое настроение, что я не знаю, что со мной делается. Ничего меня дома не интересует, мне хочется жизни, я не знаю, куда мне бежать, но хочется очень. При этом ты не думай, что это является следствием каких-нибудь неладов дома. Нет, у нас их не было за все время нашей жизни. Просто, я думаю, во мне просыпается мое прежнее „я” с любовью к жизни, к шуму, к людям, к встречам и т. д. и т. д. Больше всего на свете я хотела бы, чтобы моя личная жизнь – малыш, Женя-большой – все осталось так же при мне, а у меня кроме того было бы еще что-нибудь в жизни, вот так, как у тебя театр».

6

Михаил Булгаков в ту пору тоже жил благополучно, но счастлив не был. Мариэтта Чудакова пишет: «Любовь Евгеньевна была увлечена верховой ездой, потом автомобилями, в доме толклись ненужные ему люди. Телефон висел над его письменным столом, и жена все время весело болтала с подругами. Елена Сергеевна передавала нам в 1969 г. со слов Булгакова следующий эпизод, звучащий правдоподобно. „Однажды он сказал ей: – Люба, так невозможно, ведь я работаю! – И она ответила беспечно: – Ничего, ты не Достоевский! – Он побледнел", – говорила Елена Сергеевна, рассказывая мне это. Он никогда не мог простить этого Любе».

С Еленой Сергеевной Шиловской Булгаков познакомился в феврале 1929 года, на Масленицу. Позже она вспоминала: «Какие-то знакомые устроили блины. Ни я не хотела идти туда, ни Булгаков, который почему-то решил, что в этот дом он не будет ходить. Но получилось так, что эти люди сумели заинтересовать составом приглашенных и его, и меня. Ну, меня, конечно, его фамилия. В общем, мы встретились и были рядом». Своему брату она писала об этой встрече: «Сидели мы рядом… у меня развязались какие-то завязочки на рукаве… я сказала, чтобы он завязал мне. И он потом уверял всегда, что тут и было колдовство, тут-то я его и привязала на всю жизнь».

Конечно, Елена Сергеевна произвела на него впечатление. Была ли она красавицей, спорили еще при жизни: некоторые красивой ее не находили. Но обворожительной и неотразимой считали все. Писательница Серафима Чеботарь в очерке о Елене Шиловской приводит слова одного из ее знакомых: «Когда Елена Сергеевна входила в гостиную, дамы наши вздрагивали и спешили отвлечь внимание своих мужей». К тому же Елена Сергеевна представляла собой тот тип женщин, который нравился Михаилу Афанасьевичу: холеная, изысканно одетая благоухающая парижскими духами, с нежными ухоженными руками, с парикмахерской укладкой.

Булгаков придавал много значения «оправе», в которую должна быть заключена, как драгоценность, природная красота женщины. Недаром в своем романе он уделяет такое внимание элегантности Маргариты, ее перчаткам, шелковым чулкам и замшевым туфлям с пряжками, а ведьма Гелла так соблазнительно напевает москвичкам: «Герлэн, шанель номер пять, мицуко, нарсис нуар, вечерние платья, платья коктейль…» – Михаил Афанасьевич все это ценил больше, чем многие его

современницы, воспитанные в идейном аскетизме 1920-х!

Потом произошла вторая встреча. На вечере у Уборевичей и в присутствии супругов – Шиловского и Белозерской. Но ничто не могло помешать вспыхнувшему чувству.

«Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих!» – писал Михаил Афанасьевич в «Мастере и Маргарите».

«Это была быстрая, необыкновенно быстрая, во всяком случае с моей стороны, любовь на всю жизнь», – вспоминала Елена Сергеевна.

7

Они стали любовниками. Сначала пытались замаскировать отношения дружбой: Булгаков с женой бывал у Шиловских, а Елена Сергеевна с мужем – у Булгакова. Елена Сергеевна даже подружилась с Любовью Евгеньевной: их объединял вполне женский интерес к моде, они обменивались французскими журналами, которые в те времена было сложно достать. Елена Сергеевна с облегчением поняла, что Любовь Евгеньевна к мужу равнодушна и, пожалуй, легко его отпустит. А вот сама она даже помыслить не смела о том, чтобы уйти от Шиловского, потому что любил он ее безумно, надышаться не мог, в ней одной видел смысл и радость жизни.

Летом 1929 года она уехала отдыхать в Ессентуки. В разлуке ее любовь к Булгакову стала только сильнее. Позже она вспоминала: «Михаил Афанасьевич писал мне туда прекрасные письма, посылал лепестки красных роз; но я должна была уничтожать тогда все эти письма, я не могла их хранить. В одном из писем было сказано: „Я приготовил Вам подарок, достойный Вас…" Когда я вернулась в Москву, он протянул мне эту тетрадку…» В тетрадке был черновик будущего «Театрального романа», посвященный «Тайному другу». То есть ей, Елене.

И тогда она решилась уйти от мужа.

Елена Сергеевна призналась Шиловскому в том, что у нее тайная связь, что она любит другого. Евгений Александрович был в ярости, но… все простил ей и принялся уговаривать не рушить семью, оставить любовника, хотя бы ради детей. «Мне было очень трудно уйти из дома именно из-за того, что муж был очень хорошим человеком, из-за того, что у нас была такая дружная семья. В первый раз я смалодушествовала и осталась…» – рассказывала потом Елена Сергеевна.

Она и правда пыталась разорвать с Михаилом Афанасьевичем: «Я не видела Булгакова… давши слово, что не приму ни одного письма, не подойду ни разу к телефону, не выйду одна на улицу. Но очевидно, все-таки это была судьба. Потому что, когда я первый раз вышла на улицу, я встретила его, и первой фразой, которую он сказал, было: „Я не могу без тебя жить". И я ответила: „И я тоже"».

Это была судьба. И никакой долг, никакие дети не могли уже удержать ее вдали от любимого.

Шиловский не собирался сдаваться. Он пригласил Булгакова для «приватного разговора», во время которого пытался уговорить Михаила Афанасьевича оставить в покое «чужую жену» и

«пожалеть детей». Потом, не сдержав эмоций, схватился за револьвер. Булгаков остановил его: «Не будете же Вы стрелять в безоружного?… Дуэль – пожалуйста!» Но разумеется, дуэль в советские времена была невозможна… И хорошо: Шиловский умел стрелять, Булгаков – нет.

Видимо, Михаил Афанасьевич чувствовал неловкость в отношении Шиловского, потому что так же пытался объяснить ему свои чувства к Елене Сергеевне и невозможность своего существования без нее. Лично встречаться он не стал, написал письмо. Сохранился лишь черновик, всего несколько строчек: «Дорогой Евгений Александрович, я виделся с Еленой Сергеевной по ее вызову, и мы объяснились с нею. Мы любим друг друга так же, как любили раньше».

Расставание Елены Сергеевны с Евгением Александровичем Шиловским было длительным и болезненным. «Делили» детей: старший, Женя, остался с отцом, а младшего, Сережу, Елена Сергеевна забрала с собой к Булгакову. Шиловский пытался отдать ей какие-то вещи, получше обеспечить ее быт в новом доме. Елена Сергеевна не хотела брать ничего, кроме колыбельки сына и сундука со своей одеждой и обувью.

3 сентября Шиловский написал родителям Елены Сергеевны в Ригу: «Когда Вы получите это письмо, мы с Еленой Сергеевной уже не будем мужем и женой… Мы хорошо прожили целый ряд лет и были очень счастливы. Я бесконечно благодарен Люсе за то огромное счастье и радость жизни, которые она мне дала в свое время…»

8

Михаилу Афанасьевичу оказалось куда как проще расторгнуть брак с Любовью Евгеньевной, у которой в то время тоже был роман на стороне. Она с полным пониманием отнеслась к его страстному увлечению Еленой Сергеевной. И даже приветствовала соперницу в своем доме. Елена Сергеевна позже вспоминала:

«…Когда я пришла к ней и сказала, что мы с Мишей решили пожениться (я дружила с ней), она приняла это спокойно. Она давно знала о нашей близости. Она только сказала:

– Но я буду жить с вами!

И я ответила:

– Ну конечно, Любочка!

(Когда я написала об этом своим родителям в Ригу, они решили, что я помешалась.)

Но потом она стала говорить мне о Мише дурно:

– Ты не знаешь, на что идешь. Он жадный, скупой, он не любит детей.

И тогда я сказала:

– Нет, Любочка, боюсь, нам не придется жить вместе. Я слышать не могу, как ты говоришь о нем плохо. Ну какой Миша скупой?!.

И тогда решили купить Любе однокомнатную холостяцкую квартирку – тут же, через стену».

3 октября был расторгнут брак Булгакова с Любовью Евгеньевной и 4-го заключен брак с Еленой Сергеевной. По словам Михаила Афанасьевича, они «обвенчались в ЗАГСе».

«Мы расписались, но я должна была еще жить у Шиловского – Любина квартирка еще не была готова, – рассказывала Елена Сергеевна, – ей некуда было переезжать. Булгаков очень мучился этим. Его пригласили тогда ленинградские театры, и мы уехали на две недели. Жили в „Астории”…»

Именно там, в «Астории», в первые месяцы супружеской жизни с Еленой Сергеевной Михаил Афанасьевич начал писать «Мастера и Маргариту».

9

Елена Сергеевна оказалась идеальной женой для Булгакова. Она сумела обеспечить ему комфортный быт, и в их квартире всегда было красиво и уютно, стол поражал роскошью и изобилием, и Михаил Афанасьевич с удовольствием демонстрировал свое старорежимное хлебосольство, принимая в гостях всю литературную и театральную богему Москвы.

В 1934 году Булгаковы переехали в Дом писателей в Нащокинском переулке, в хорошую большую квартиру. Дзидра Тубельская вспоминала: «Жили Булгаковы на верхнем этаже писательского дома. Входная дверь открывалась в переднюю, сплошь уставленную книжными полками. Далее главная комната – гостиная. Стены ее были оклеены синими обоями. Мебель красного дерева, на потолке – хрустальная люстра. В центре комнаты, под люстрой, – круглый стол, раздвигавшийся, когда приходили гости. В углу – рояль. Из этой комнаты две двери, направо и налево, вели в кабинет Михаила Афанасьевича и в комнату Сережи, младшего брата Жени».

При всем при этом Булгаковым почти всегда не хватало денег: Михаил Афанасьевич просто не умел экономить да и зарабатывал не всегда достаточно для удовлетворения своих же собственных запросов. Но Елена Сергеевна искусно вела любовную лодку мимо хозяйственных мелей.

И она по-прежнему старательно следила за своей внешностью, посещала парикмахера, косметичку и маникюршу, восхищала всех изысканностью своих туалетов, а обувь шила на заказ у известного всей столице Барковского. Дзидра Тубельская, посещавшая дом Булгаковых в 1938 году, была потрясена, когда Елена Сергеевна однажды «открыла в кабинете Михаила Афанасьевича свой секретерчик и продемонстрировала мне свои любимые духи. Я таких больших флаконов в жизни не видела! Ее любимыми духами были „Мицуки” фирмы Герлен. Она также под настроение предпочитала „Шанель № 5”. Эти духи тоже имелись в огромном флаконе…» Так что Елена Сергеевна все годы брака оставалась все той же соблазнительной и блистательной женщиной, в которую когда-то влюбился Михаил Афанасьевич.

Искусствовед Виталий Яковлевич Виленкин, часто бывавший у Булгаковых, вспоминал: «Обаяние личности Елены Сергеевны было настолько сильным, что не поддаться ему было действительно трудно даже самому замкнутому человеку. Я никогда не встречал подобного соединения бескомпромиссно правдивой прямоты с такой душевной чуткостью. Сколько раз ее

трудная судьба переходила в трагедию… и каким только чудом возрождалась ее способность так заразительно радоваться жизни, верить в людей и привлекать их к себе своей добротой, своим острым, живым умом, своей победительной, казалось, неподвластной времени женственной грацией!»

Елена Сергеевна была прекрасной хозяйкой и восхитительной любовницей для своего мужа, однако понимала, что главным для Михаила Афанасьевича все же остается его творчество. Елена Сергеевна сознавала и ценила гений Булгакова и старалась максимально облегчить для него творческий процесс, устраняя все, что мешает, то есть: вела за него переписку, отвечала на телефонные звонки, вникала в тонкости договоров и следила за своевременной выплатой гонораров. Она перепечатывала набело его рукописи перед отправкой в редакцию и помогала вносить правки.

И Михаил Афанасьевич понимал, какое сокровище он заполучил в жены в третий раз – тот, который от дьявола! – и даже через многие годы брака при расставании писал Елене Сергеевне страстные любовные письма: «Божество мое, мое счастье, моя радость. Я люблю тебя! И если мне суждено будет еще жить, я буду любить тебя всю мою жизнь. Королевушка моя, моя царица, звезда моя, сиявшая мне всегда в моей земной жизни! Ты любила мои вещи, я писал их для тебя… Я люблю тебя, я обожаю тебя! Любовь моя, моя жизнь, жена моя!»

Ему с ней было легко и комфортно жить. А вот ей временами приходилось трудно.

Елена Сергеевна постоянно чувствовала свою вину перед сыновьями. Особенно перед старшим, Женей, который часто гостил у них с Михаилом Афанасьевичем, но продолжал переживать «измену» матери.

С младшим было проще, он почти не помнил своей прежней семьи, и отношения с отчимом у него сложились прекрасные. Елена Сергеевна вспоминала: «Михаил Афанасьевич страшно любил Сережу. Редкий родной отец так любит. Он очень много проводил с ним времени. Он воспитывал в нем смелость, находчивость… Входил в комнату со словами: „Нет, Сергей, ты Немезида!” А тот отвечал: „Ну, это мы еще увидим, кто здесь Мизида, а кто не Мизида!” Михаил Афанасьевич хохотал, был очень доволен».

Но вот Женя… Его укоризненный взгляд…

«Когда мы сидели вчетвером за столом – я, Михаил Афанасьевич и мои сыновья, – рассказывала Елена Сергеевна Мариэтте Чудаковой, – и я была, конечно, самой счастливой женщиной на свете, – каждый из них спрашивал меня на ухо:

„Кого ты больше всех любишь?” (все они были страшно ревнивы!), и я каждому говорила шепотом: „Тебя!”»

Но в общем, они были счастливы. Они всегда были счастливы. Все те недолгие восемь лет, которые им отвела судьба для супружества.

«Он ее веселил. Это продолжалось всю жизнь – Михаил Афанасьевич писал ей уморительные записочки, рисовал карикатуры, вырезал из газет фотографии, переклеивал их и комбинировал со смешными комментариями, – рассказывал Сергей Шиловский, внук Елены Сергеевны. – Он замечательно рассказывал анекдоты и умел быть душой компании – к ним постоянно приходили гости. Сначала был стол-фуршет, затем Булгакова просили почитать. И все сидели полночи, слушая то, что он сегодня написал…»

Да, случались тяжелые периоды, когда Булгакова не печатали и его пьесы не ставили. Но он не был репрессирован, а это для литератора такого масштаба, к тому же никогда не писавшего на востребованные советской властью темы, можно считать настоящей удачей или чудом. Многие гадали, почему Булгакова не тронули. Высказывали самые разные предположения, вплоть до совершенно безумных… Скорее всего Михаилу Афанасьевичу просто повезло. Или добраться до него не успели.

10

В 1939 году Булгаков заболел. Будучи врачом, он сразу сам поставил себе диагноз, тот же, что был у его отца, – злокачественный нефросклероз.

«Имей в виду, я буду очень тяжело умирать. Дай мне клятву, что ты не отдашь меня в больницу, а я умру у тебя на руках», – сказал он жене. И она исполнила его просьбу. Хотя пришлось ей неимоверно трудно: сначала Михаил Афанасьевич ослеп, потом начались провалы в памяти и страшные боли, от которых он кричал и терял сознание, а приходя в себя, просил, чтобы она «взяла у Евгения револьвер», имея в виду Шиловского и вспоминая тот самый револьвер, из которого Евгений Александрович когда-то чуть не застрелил его, Булгакова… Мечтая теперь покончить с собой выстрелом из этого револьвера. А Елена Сергеевна, несмотря ни на что, надеялась на его выздоровление. Надеялась, что они еще побудут вместе.

Ольга Бокшанская посетила сестру и зятя в конце декабря 1939 года и в письме к матери так рисовала обстановку дома: «… Мака-то ничего, держится оживленно, но Люся страшно изменилась: хоть и хорошенькая, в подтянутом виде, но в глазах такой трепет, такая грусть и столько выражается внутреннего напряжения, что на нее страшно смотреть. Бедняжка. Конечно, когда приходят навещать Маку, он оживляется, но самые его черные минуты она одна переносит, и все его мрачные предчувствия она выслушивает и, выслушав, все время находится в напряженнейшем желании бороться за его жизнь. „Я его не отдам, – говорит она, – я его вырву для жизни”. Она любит его так сильно, что это не похоже на обычное понятие любви между супругами, прожившими уже немало годов вместе…»

Когда Михаил Афанасьевич уже не мог писать, Елена Сергеевна вела дневник за него.

4 марта 1940 года она записала последние слова мужа: «Я хотел служить народу… Я хотел жить в своем углу… Я никому не делал зла…»

9 марта у больного началась агония. «Он дал мне понять, что ему что-то нужно, что он чего-то хочет от меня, – вспоминала Елена Сергеевна. – Я предлагала ему лекарство, питье – лимонный сок, но поняла ясно, что не в этом дело. Тогда я догадалась и спросила: „Твои вещи?” Он кивнул с таким видом, что и „да” и „нет”. Я сказала: „Мастер и Маргарита”? Он, страшно обрадованный, сделал мне знак головой, что „да, это”. И выдавил из себя два слова: „Чтобы знали, чтобы знали”».

Михаил Афанасьевич Булгаков скончался 10 марта в 16 часов 39 минут. «Когда он уже умер, – рассказывала Елена Сергеевна, – глаза его вдруг широко открылись – и свет, свет лился из них. Он смотрел прямо и вверх перед собой – и видел, видел что-то, я уверена (и все, кто был здесь, подтверждали потом это). Это было прекрасно».

Спустя 20 лет, в очередную годовщину смерти мужа, Елена Сергеевна писала его брату Николаю Афанасьевичу Булгакову: «Он умирал так же мужественно, как и жил… не всякий выбрал бы такой путь. Он мог бы, со своим невероятным талантом, жить абсолютно легкой жизнью, заслужить общее признание. Пользоваться всеми благами жизни. Но он был настоящий художник – правдивый, честный. Писать он мог только о том, что знал, во что верил. Уважение к нему всех знавших его или хотя бы только его творчество – безмерно. Для многих он был совестью. Утрата его для каждого, кто соприкасался с ним, – невозвратима».

Елена Сергеевна добилась, чтобы Михаила Афанасьевича похоронили на престижном Новодевичьем кладбище. На похороны собралась целая толпа. Пришел даже бывший муж Елены Сергеевны Шиловский. Он вторым браком был женат на Марьяне Алексеевне Толстой, дочери писателя Алексея Николаевича Толстого, и вполне благополучен. Особых причин приходить на похороны Булгакова не было. Разве что отдать дань уважения покойному и примириться с ним – хотя бы сейчас.

…Когда Елена Алексеевна пошла в камнетесную мастерскую выбирать надгробие, ее взгляд привлек простой тяжелый валун. Его перевернули – и оказалось, что с другой стороны на нем высечено имя Николая Васильевича Гоголя: это был камень, который когда-то поставили над его могилой на кладбище Даниловского монастыря! Кладбище было уничтожено, а прах Гоголя перенесен на Новодевичье, только надгробие ему поставили уже другое – пышное, помпезное. А этот скромный камень отправили на переработку… Булгаков боготворил Гоголя, считал себя его учеником и литературным преемником. Елена Сергеевна выбрала бывшее надгробие Гоголя в качестве памятника на могиле мужа.

Она регулярно приходила на кладбище и всегда сажала ярко-красные бегонии вокруг камня.

11

«Несмотря на все, несмотря на то что бывали моменты черные, совершенно страшные, не тоски, а ужаса перед неудавшейся литературной жизнью, если вы мне скажете, что у нас, у меня была трагическая жизнь, я вам отвечу: нет! Ни одной секунды! Это была самая светлая жизнь, какую только можно себе выбрать, самая счастливая! Счастливее женщины, какой я тогда была, не было», – говорила Елена Сергеевна.

Она все еще была красивой женщиной, и за ней многие ухаживали, ей предлагали замужество, но Елена Сергеевна сохранила верность Булгакову. Оставшуюся жизнь она посвятила ему, сохранению его архива и публикации его произведений: «Я делаю все, что только в моих силах, для того чтобы не ушла ни одна строчка, написанная им, чтобы не осталась неизвестной его необыкновенная личность. Это – цель, смысл моей жизни. Я обещала ему многое перед смертью, и я верю, что я выполню все».

Елене Сергеевне пришлось пережить старшего сына: Евгений Евгеньевич Шиловский, прошедший войну и неоднократно раненный, скончался в 1957 году, не дожив до 36 лет. Умер на руках матери. А она продолжала жить – в надежде увидеть когда-нибудь «Мастера и Маргариту» опубликованными. Книгу решились напечатать только в 1966 году. Гранки Елена Сергеевна правила, будучи больна, с высокой температурой. Правила по памяти: роман мужа она знала наизусть.

На жизнь она зарабатывала машинописью и переводами. До последних дней с удовольствием принимала у себя гостей, особенно тех, кто хотел узнать что-то о жизни Булгакова. Про Михаила Афанасьевича она могла говорить бесконечно. А еще она верила, что ее связь с мужем не прекратилась после его смерти. Внук, Сергей Шиловский, вспоминал: «…В то, что у нее есть прямой контакт с покойным Михаилом Афанасьевичем, она верила свято. По вечерам Елена Сергеевна рассказывала ему о том, что сделала за день, какие были новости, чего она ждет от будущего. Спрашивала у него советов – и считала, что получает ответы. Самое удивительное то, что они часто сбывались…»

Елена Сергеевна умерла 18 июля 1970 года. Ее похоронили в могилу к мужу.

…Все жены Булгакова и некоторые его любовницы претендуют на звание его музы. Но в вечность с ним шагнула только Елена Сергеевна. Не потому, что она была последней, но потому, что оказалась самой верной. Не Булгакову как человеку, а тому, что было в нем сверхчеловеческим и по-настоящему

важным – его гению, его творчеству. Его великому роману.

«Слушай беззвучие, – говорила Маргарита мастеру, и песок шуршал под ее босыми ногами, – слушай и наслаждайся тем, чего тебе не давали в жизни, – тишиной. Смотри, вон впереди твой вечный дом, который тебе дали в награду. Я уже вижу венецианское окно и вьющийся виноград, он подымается к самой крыше. Вот твой дом, вот твой вечный дом. Я знаю, что вечером к тебе придут те, кого ты любишь, кем ты интересуешься и кто тебя не встревожит. Они будут тебе играть, они будут петь тебе, ты увидишь, какой свет в комнате, когда горят свечи. Ты будешь засыпать, надевши свой засаленный и вечный колпак, ты будешь засыпать с улыбкой на губах. Сон укрепит тебя, ты станешь рассуждать мудро. А прогнать меня ты уже не сумеешь. Беречь твой сон буду я…»

Михаил Тухачевский и Лика: таинственная любовь

Михаил Тухачевский и Лика

...

– Тухачевский Михаил Николаевич (4 [16] февраля 1893 года, Александровское Дорогобужского уезда Смоленской губернии, Российская империя – 12 июня 1937 года, Москва, СССР) – военный теоретик, маршал Советского Союза.

– Лика – настоящее имя этой женщины, ровно как и годы жизни, неизвестны.

– Он – талантливый, бесстрашный, жестокий, сильный, волевой, галантный, красивый и любвеобильный.

– Она – кроткая, нежная, трепетная, но гордая девушка, явно родившаяся не в свое время.

– Они познакомились, обвенчались и расстались в 1922 году, и Лика была единственной из жен Тухачевского, с которой он обвенчался, единственной, которую он по-настоящему любил и которая осталась вечной ссадиной на сердце маршала.

– Он изменял ей постоянно.

– Она была безупречно верна.

– Общий ребенок – рано умершая дочка Ирина.

Михаил Тухачевский принадлежал к тому типу мужчин, которые безумно нравятся женщинам. И дело не только во внешности, хотя он был весьма хорош собой. Нет, казалось, сама природа поставила эксперимент, создав совершеннейший идеал, именно такого героя, о которых барышни и дамы так любят читать в романах. Он был умен и

прекрасно образован. Он был внимателен и галантен, как истинный аристократ. В нем чувствовалась внутренняя сила, надежность, рядом с ним хотелось быть слабой, нежной и воздушной, он умел дать женщинам именно то, о чем те мечтали, и, конечно, они все падали к его ногам. Самый молодой маршал Советского Союза, победитель Колчака и Деникина, блестящий военный, сделавший головокружительную карьеру, человек с железной волей. Казалось бы, с ним рядом – как за каменной стеной, но… это было обманчивым впечатлением.

Тухачевский был из той породы мужчин, о которых говорят, что они меняют любовниц как перчатки. Правда, в его случае это было не донжуанство: это был поиск любви. Настоящей. Единственной. Идеальной жены. Именно жены, а не боевой подруги. Время же было урожайное именно на боевых подруг… Он опоздал родиться. В 1900 году он легко нашел бы свой идеал, а в 1920-е-1930-е годы наблюдался явный дефицит кротких, хрупких и зависимых женщин, готовых беречь очаг и не претендующих на собственное место в истории. И даже когда Михаил Тухачевский нашел такую женщину, то не смог ее удержать. Новое время формировало новые отношения. И «слюбится-стерпится» уже не работало.

Хотя в случае Михаила и его таинственной Лики, возможно, нужно было просто немного потерпеть… И они приросли, прикипели бы друг к другу, и они могли бы быть очень счастливы, потому что на самом деле подходили друг другу идеально! Но – не то было время, не то, чтобы жена смирялась с изменами мужа только потому, что ее долг – оставаться рядом с ним, несмотря ни на что. Да и для Лики, наверное, лучше так, как сложилось: сгинуть в туманах истории, а не разделять скорбную судьбу талантливейшего из советских маршалов.

1

Однажды в лагере для заключенных родственниц «врагов народа» во время перерыва между работами несколько женщин разговорились о «прошлой жизни» и, в частности, вдруг вспомнили о своих любовниках. Каждая рассказала о чем-то самом прекрасном, запоминающемся, волнующем, что поддерживает силы и желание жить в нынешних суровых условиях. Многим из них, блиставшим некогда в среде высшего комсостава Красной Армии, действительно было что вспомнить. Одна из женщин выслушала своих подруг с ироничной улыбкой и в конце концов не удержалась и воскликнула: «Ах, девочки, что вы знаете о любовниках?! Я знала величайшего любовника из всех – маршала Тухачевского. Вот это был мужчина! Всем любовникам любовник!» Она начала рассказывать подробности, и все так увлеклись, что начали слишком громко смеяться и даже не заметили, как вошли охранники. То, что те услышали, оказалось достаточным для того, чтобы добавить рассказчице к сроку четыре дополнительных года. За восхваление «врага народа».

Тухачевский был трижды женат, и у него было множество любовниц. Он увлекался, влюблялся, но не похоже, чтобы любил кого-то по-настоящему… Возможно, так и не встретил ту самую женщину, которая стала бы его единственной и заставила бы забыть о других. Возможно, такой женщины не существовало в природе, потому что все, что было для Михаила Николаевича действительно важно, – это его работа, дело всей его жизни, и женщины были лишь развлечением, возможностью приятно провести свободное время, которого у него было совсем немного. А может, и это предположение неверно и он тоже любил по-настоящему. Просто мужчины подобного склада никогда не говорят о своих чувствах и умеют казаться равнодушными, даже когда невыносимо больно. Как писала свояченица Тухачевского Лидия Норд: «Иногда его было очень трудно понять… И потому, что я знала – самое для него дорогое он скрывал в глубинах души, а на словах даже порой высмеивал…»

2

Михаил Николаевич Тухачевский родился 4 (16) февраля 1893 года в имении Александровское Дорогобужского уезда Смоленской губернии. Отец его, Николай Николаевич, был обедневшим дворянином из очень старинного рода. По отзывам людей, знавших его, это был человек добрый и непрактичный, общавшийся с крестьянами-арендаторами без должной строгости, по большей части себе в ущерб. Как вспоминал двоюродный брат Николая Николаевича полковник Балкашин: «В случае какой-либо нужды или беды – пожара, увечья, падежа скота – крестьяне шли к Тухачевским и получали ту или иную помощь. По праздникам у тетки был амбулаторный прием, усадьба заполнялась всевозможными пациентами, она их сама лечила и давала лекарства. Крестьяне нещадно травили их луга и делали порубки в лесу. Когда брат их за это стыдил, говорили: „Так где же нам и взять, как не у тебя, Николай Николаевич". – И начинался обычный припев: „Мы ваши, вы наши…" – тем дело и кончалось. Со своей стороны, крестьяне в случае какого-либо события у Тухачевских: прорыва плотины у мельницы, лесного пожара и прочее – без всякого зова дружно приходили на помощь».

Такие дружеские отношения с крестьянами впоследствии сослужили Тухачевским добрую службу. После Октябрьской революции, когда многие помещичьи имения подвергались погромам, Тухачевских не тронули. Крестьяне на общем сходе постановили оставить им часть имущества «по справедливости».

Женился Николай Николаевич по большой любви на девушке из крестьянской семьи Мавре Петровне Милоховой (или по другим данным Милеховой), отданной в услужение его матери Софье Валентиновне Тухачевской.

Абрам Петрович Косолапов, служивший в Александровском хлебопеком, вспоминал: «Жил в ту пору в нашем селе Княжнино бедный мужик, звали его Петр Прохорович Милехов. И вот у него, у этого бедного мужика, было пятеро дочерей, и все они… были красавицы. Хоть Аксинья, хоть Настя с Ольгой, хоть и Аленушка… Ну а Мавра – так про эту и говорить нечего – красавица: что ростом, что статью, что лицом. И разбитная, хоть она и грамоте тогда еще не знала, ну а так, ежели поговорить с кем, то другая грамотная с ней не сравняется… Она работала у Тухачевских в имении, и Николай Николаевич полюбил ее. Бывало, стоит, смотрит на Мавру и все улыбается… Конечно, старше ее годами, а так сам по себе – ничего, рослый, чернявый, только глаза были какие-то утомленные. Софья Алевтиновна понимала, что ее

Коленька влюбился в Маврушу, она ведь женщина была зоркая…» Намерениям сына жениться на крестьянской девушке Софья Валентиновна не воспротивилась, его счастье было для нее важнее сословных предрассудков.

И в самом деле, брак этот оказался на редкость счастливым и был благословлен большим количеством детей. В 1890 году у Тухачевских родился сын Николай, в 1892 – дочь Надежда, в 1893 – Михаил, в 1895 – Александр. И позднее – Мария, Софья, Елизавета, Ольга и Игорь. Все дети были крепкими, здоровыми и смышлеными. Все благополучно пережили детский возраст. Все подавали большие надежды и радовали родителей. И кто бы мог подозревать в то время, какую жестокую смерть готовит будущее для мальчиков, какая нелегкая жизнь ожидает девочек… Николай и Александр будут расстреляны по той же статье, что и Михаил. Мария, Софья, Елизавета и Ольга пройдут лагеря и ссылку, как родственницы «врага народа». Лишь Надежда и Игорь избегли репрессий, потому что умерли прежде, чем над родом Тухачевских разразилась гроза. К счастью, Николай Николаевич не дожил до тех дней, он умер в 1914 году. А вот Мавра Петровна стала свидетельницей гибели своих сыновей. Как мать «врага народа» она и сама была отправлена в ссылку, где вскоре умерла.

Но до страшного 1937 года было еще далеко. И жизнь, хотя никогда не была легкой и безоблачной, представлялась вполне хорошей, будущее виделось в радужном свете.

В 1898 году Тухачевские были вынуждены продать за долги свое имение Александровское и переехать в более маленькое поместье, принадлежавшее Софье Валентиновне и расположенное неподалеку от села Вражское в Пензенской губернии. Материальное положение семьи продолжало оставаться затруднительным – переезд ничего не исправил, – но жили Тухачевские весело и интересно. Детям прививали интерес к музыке и к литературе. В имении устраивались спектакли. По воспоминаниям сестер Тухачевского, «пьесы сочиняли сами и сами же рисовали смешные афиши. Главными действующими лицами бывали Михаил и Шура. Николай открывал и закрывал занавес, а также исполнял обязанности суфлера. Игорь играл на рояле».

С раннего детства Михаил чувствовал призвание к воинской службе и не мыслил себе никакой иной карьеры. Он занимался верховой ездой, упражнялся с гантелями и очень любил бороться потому что солдат должен быть сильным и выносливым. Он запоем читал книги по русской военной истории и отлично знал обо всех сражениях, обожал Петра Великого, Суворова, Скобелева. Когда в имение приезжал дядя, бывший сначала юнкером, а

потом ставший офицером, Михаил тотчас же завладевал его вниманием и уговаривал рассказывать героические истории про войну.

Но настоящим кумиром маленького Миши был двоюродный дед, бывший генерал.

«Я всегда смотрел на него с восторгом и с уважением, слушая его рассказы о сражениях, – рассказывал Михаил Николаевич. – Дед это заметил и раз, посадив меня к себе на колени – мне было тогда лет семь-восемь, спросил: „Ну, Мишук, а кем ты хочешь быть?" – „Генералом", – не задумываясь, ответил я. „Ишь ты! – рассмеялся он. – Да ты у нас прямо Бонапарт – сразу в генералы метишь". И с тех пор дед, когда приезжал к нам, спрашивал: „Ну, Бонапарт, как дела?" С его легкой руки меня дома и прозвали Бонапартом… В Бонапарты я, конечно, не метил, а генералом, сознаюсь, мне очень хотелось стать».

В 1904 году Михаил поступил в 1-ю Пензенскую гимназию. Несмотря на хорошие способности, учился он довольно скверно. Он хорошо успевал по иностранным языкам, очень любил астрономию, но оценки по другим предметам оставляли желать лучшего. А совсем плохо обстояло дело с изучением Закона Божьего. Николай Николаевич не верил в Бога и не заботился о том, чтобы воспитать религиозность в детях. Но если все они были к религии просто равнодушны, то Михаил проявлял какой-то воинственный атеизм, придумывая достаточно злые антирелигиозные истории и шутки, за что ему даже порой доставалось от матери. А уж в гимназии такое поведение могло стать по-настоящему серьезной проблемой. На уроках Закона Божьего Михаил вел себя слишком вольно, за что бывал удален из класса, преподаватель часто жаловался на него педсовету. А однажды выяснилось, что за все пять лет учебы Тухачевский ни разу не исповедовался и не причащался, что было вопиющим безобразием. Дело грозило вылиться в скандал и отчисление. Николая Николаевича вызвали в гимназию и потребовали должным образом воздействовать на сына. Проблема была улажена. Но репутация Михаила в гимназии продолжала оставаться скверной. Учился он все хуже и четвертый класс закончил из рук вон плохо.

На вопросы родителей, в чем причина такого отношения к учебе, Михаил отвечал неизменно одно: учиться в гимназии ему скучно, он хочет стать военным и просит перевести его в кадетский корпус. Отец долго не соглашался на эти уговоры, но в конце концов отчаялся спорить с сыном. Правда, поставил условие: Михаил поступит в кадетское училище, только если следующие два года будет учиться в гимназии на «отлично».

Репутация двоечника и хулигана не могла стать препятствием для этого – семья переезжала в Москву, и учиться теперь Михаилу предстояло в 10-й Московской гимназии, у него появилась возможность начать все с чистого листа.

Михаил обещал исправить учебу. И обещание сдержал, доказав серьезность своих намерений. В Московской гимназии он учился если и не отлично, то вполне хорошо, переходя из класса в класс с похвальными листами.

Он добился поставленной цели. Отец разрешил ему перевестись в военное училище. И последний седьмой класс Тухачевский отучился в 1-м Московском императрицы Екатерины II кадетском корпусе, сдав все экзамены на «отлично».

В этом же году умер его дед-генерал. Незадолго до смерти он попросил Михаила приехать к нему.

«Когда я приехал и вошел к нему, – рассказывал позже Тухачевский, – дед указал, чтобы я сел на край кровати, и, подняв уже с трудом свою длинную и костлявую руку, положил ее мне на плечо: „Ты мне пообещай три вещи, Мишук, – сказал он. – Первое – что ты окончишь училище фельдфебелем. Второе – что будешь умеренно пить. И третье – что окончишь Академию Генерального штаба. Постарайся выйти в Семеновский полк. В Семеновском служил с начала его основания, при Петре, наш предок Михаил Артамонович Тухачевский. Вон там, в бюро, в верхнем ящике его портрет-миниатюра, я его дарю тебе, ты на него и лицом похож…”»

Михаил почти исполнил завещание деда. Он действительно всегда очень умеренно пил и только хороший коньяк. Он поступил в Александровское военное училище, где учился на «отлично», с полной самоотдачей, и на последнем курсе был произведен в фельдфебели, а по окончании – в подпоручики. Как первый ученик он имел право выбрать любой полк для дальнейшего прохождения службы и выбрал – Семеновский. Только в Академию Генерального штаба Михаил поступить не успел – сначала помешала Первая мировая война, а потом революция. Но его последующая военная карьера была настолько блистательна, как дед и предположить бы не смог. Да и сам Михаил вряд ли предполагал, что достигнет таких высот…

3

12 июля 1914 года Тухачевский закончил училище и поступил в лейб-гвардии Семеновский полк. Перед началом службы он уехал в отпуск, домой в родовое имение, а 1 августа началась Первая мировая война.

Михаил тут же отправился на фронт. Воевал он храбро, был награжден всеми возможными орденами «от Анны IV степени до Владимира IV степени включительно». Мало кто из офицеров был удостоен такого количества наград за столь короткое время. Не успел он получить только последнюю уже практически обещанную ему награду – орден Георгия IV степени. Был ранен… А когда после выздоровления вернулся на фронт, попал в плен к немцам.

Со своим положением пленного Тухачевский не смирился, он четырежды пытался бежать – безуспешно. В конце концов как особо неисправимого беглеца его отправили в крепость Ингольштадт, где были более суровые условия, но и там он не оставил своих попыток. Тухачевский позже рассказывал Лидии Норд: «Сидевший со мной в плену в Ингольштадте французский офицер, когда я снова начал строить планы побега, сказал: „Вы, наверное, маньяк, неужели вам не довольно неудачных попыток…” Но неудачи первых побегов меня не обескуражили, и я готовился к новому. Немцев я ненавидел, как ненавидит дрессировщиков пойманный в клетку зверь…»

Упорство его было вознаграждено, последняя – пятая – попытка побега удалась. И после долгого, тяжелого пути через всю Европу Тухачевский наконец вернулся на родину. 16 октября 1917 года он приехал в Петроград, где явился для продолжения службы в запасной батальон Семеновского полка. Он получил отпуск для поправки здоровья, и уже дома во Вражском узнал о свершившейся Октябрьской революции…

Тухачевский симпатизировал большевикам, еще будучи в Ингольштадте. До пленников периодически, пусть и с опозданием, доходили газеты, и они знали обо всем, что происходит на родине: о Февральской революции, об отречении царя, об избрании для управления государством Временного правительства. Тухачевский переживал за судьбу России и, конечно, за судьбу русской армии. Он никогда не относился с особым почтением к царю и уж тем более не уважал Керенского, считая, что при его правлении Российская армия, которая и без того пребывала в плачевном состоянии, развалится окончательно. Большевики же, по его мнению, придерживались твердых

позиций, которые ему импонировали. Их лозунги казались ему правильными: землю – крестьянам, заводы – рабочим, власть – народу. И теперь, когда большевики пришли к власти, Тухачевский с энтузиазмом, не задумываясь, перешел на их сторону. Он верил, что большевики смогут вернуть России былое величие и восстановить силу и мощь русской армии.

Большевики в свою очередь с удовольствием приняли в свои ряды Тухачевского. Хоть он и был из дворян, но придерживался прогрессивных взглядов, а еще у него были военный опыт и знания, так необходимые новому правительству и только начавшей формироваться Красной Армии. Все еще шла война, молодая Советская республика была в опасности, ее требовалось защитить любой ценой.

Для Тухачевского настал звездный час.

Бывший подпоручик в один миг стал во главе армии. В июне 1918 года Михаил Николаевич был направлен на самый опасный в тот момент для Советской власти Восточный фронт. Ему было в то время всего лишь двадцать пять лет.

4

По дороге на фронт Тухачевский приехал в Пензу, город, где прошло его детство. Он решил жениться на девушке, с которой когда-то дружил, в которую был влюблен и чувство к которой, видимо, бережно хранил все эти годы. Ее звали Маруся Игнатьева, она была дочерью машиниста пензенского депо. Когда-то они познакомились на гимназическом балу, а потом гуляли вместе, взявшись за руки, по узеньким старым улочкам Пензы и клялись друг другу в вечной любви и верности. Расставаясь, Маруся обещала ждать Михаила столько, сколько понадобится, а он – обещал приехать за ней как только сможет. Свои обещания оба сдержали.

Вряд ли молодые люди состояли в переписке – по крайней мере в последние годы это было бы весьма затруднительно, так что скорее всего Тухачевский появился на пороге возлюбленной весьма неожиданно. Решительный, мужественный, красивый молодой командарм, он выглядел просто неотразимым… Встреча была по-книжному романтичной. И даже если сердце Маруси успело остыть за прошедшие годы, то теперь любовь в нем вспыхнула с прежней силой, а может быть, даже еще сильнее.

На фронт они отправились вместе. Маруся повсюду сопровождала мужа. Впрочем, никаких лишений, обычно сопутствующих походной жизни, она не испытывала, и даже напротив. Командующему армией был выделен целый вагон в поезде, обустроенный без роскоши, но вполне комфортно, здесь он жил, здесь же был и его штаб. К тому же снабжение командиров Красной Армии продуктами было налажено в самом лучшем виде, тогда как в стране уже вовсю свирепствовал голод.

Но счастье супругов, увы, продолжалось недолго. Они были вместе неполных два года. Что именно послужило причиной разрыва и последовавшей за тем трагедии – неизвестно. Возможно, сложились разом несколько обстоятельств.

Маруся переживала за оставшихся в голодной Пензе родителей, и было естественным с ее стороны желание позаботиться о них. Отправляясь якобы просто навестить родных, втайне от мужа Маруся возила им продукты – мешки с мукой и консервы. Жену командарма никто не стал бы обыскивать как мешочницу, более того, для безопасности пути к ней всегда были приставлены двое красноармейцев. Конечно, долго продолжаться это не могло… О проступке жены командарма кто-то донес в Реввоенсовет фронта, и Тухачевскому было поставлено на вид неподобающее поведение его супруги.

Михаил Николаевич очень серьезно относился к своей карьере и не мог допустить таких промахов. У него уже было достаточно врагов, которые могли использовать любую оплошность для того, чтобы его уничтожить. Перед Советской властью он должен был оставаться безупречен.

Тухачевский поговорил с женой очень жестко и заявил ей, что больше не хочет ее видеть. Этого оказалось достаточно для развода, с которым в России теперь было просто.

Спустя некоторое время, вероятно, уверившись, что муж был вполне серьезен и между ними действительно все кончено, прямо в штабном вагоне Маруся застрелилась.

А Тухачевский даже не присутствовал на ее похоронах, поручив позаботиться обо всем своему адъютанту.

Исследователи жизни Михаила Николаевича высказывают разные предположения о том, что именно произошло между супругами. Борис Соколов пишет: «Недруги Тухачевского действительно писали в вышестоящие инстанции о мешках продовольствия, которые использовали для своих нужд командарм с супругой и его штаб, но это было задолго до прибытия четы Тухачевских в Смоленск и вряд ли могло послужить поводом для самоубийства Марии». Возможно, причиной разрыва и самоубийства могла быть самая банальная ревность. Ведь уже тогда Михаила Тухачевского окружало множество женщин, и все искали его внимания. И он совсем не скупился отзываться на это внимание…

Так или иначе, о кончине жены Тухачевский действительно не особенно переживал. Да и некогда было переживать – жизнь летела со скоростью несущегося на всех парах бронепоезда. Впереди были победоносные бои с чехословаками, с Колчаком и Деникиным, тяжелое поражение в войне с Польшей, противоборство интригам недругов и новая романтическая встреча, еще один бурный и скоротечный роман, красивый и трагический.

5

…Кем была эта девушка – никто из исследователей в точности выяснить не смог, подробности о ней мы знаем только из мемуаров Лидии Норд, которая прячет вторую жену Михаила Николаевича под вымышленным именем Лика. Возможно, под этим псевдонимом скрывается Нина Гриневич, но обстоятельства знакомства Тухачевского с ней были совсем другими, да и весь последующий жизненный путь совершенно не совпадает.

Другой претенденткой на роль Лики называют Амалию Протас, одно время тоже числившуюся в женах Тухачевского. В книге «Советская военная элита в политической борьбе 1920-х-1930-х годов» С. Минаков пишет: «В штабных документах Западного фронта 1922–1923 гг. числится Амалия Яковлевна Протас. Согласно „Списку сотрудниц женщин управлений и отделов Штазапа, Пузапа и Упвосозапа по состоянию на 1 августа 1923 года” „Протас Амалия Яковлевна – адъютант командующего Западным фронтом [т. е. М. Тухачевского], девица, образование среднее, беспартийная, место службы – вагон командующего. Убыла со службы 25 августа 1923 года”. Учитывая, что режим службы М. Тухачевского в должности командующего Западным фронтом в 1922–1924 гг. был в основном „на колесах” (постоянные разъезды по фронту, в командировки в Москву, Минск и др. города), он жил в своем служебном вагоне. Там же располагался и его штаб. А. Протас с 1922 г. в силу своего служебного положения сопровождала М. Тухачевского в его постоянных разъездах. В Смоленске М. Тухачевский, судя по графику его служебной деятельности, бывал сравнительно мало. Учитывая все вышесказанное о режиме службы М. Тухачевского, А. Протас являлась его „действительной женой”. Для „другой жены” в „хронотопе” жизнедеятельности М. Тухачевского просто не находилось места».

Казалось бы, все верно, но, учитывая свободные нравы, царящие среди высшего комсостава Красной Армии в то время, это последнее утверждение можно подвергнуть сомнению. Амалия Протас вполне могла быть «действительной» женой Тухачевского при наличии еще одной «действительной» жены. Одна ждала его дома, другая ездила с ним по фронту и в командировки, исполняя помимо прочих обязанности адъютанта. На то, что все было именно так, указывает рассказ Лидии Норд, который совершенно исключает возможность службы Лики в качестве адъютанта Тухачевского. К тому же роман Тухачевского с Ликой и начался и закончился до 1922 года. Так что, возможно,

отношения с Амалией Протас были уже после их разрыва. И скорее всего, девушек действительно было две, или же Лидия Норд просто полностью сочинила эту романтическую историю. Но, казалось бы, зачем?…

«Неподалеку от Смоленска, где тогда находился штаб Тухачевского, в лесной чаще стоял большой деревянный двухэтажный дом. В нем жил лесничий „со своим выводком”, как говорили лесники. Выводок состоял из пяти молодых девушек. По существу, сам лесничий в этом изобилии девиц был неповинен. Их подбросили ему на попечение родители, дабы уберечь девушек от всех принесенных революцией бед, и они приходились ему родными и двоюродными племянницами. Лесничий и его жена действительно опекали весь „выводок”, как наседки. Время было тяжелое… Они сами случайно нашли приют в этом глухом уголке вздыбленной революцией страны. Правда, у лесничего был охранный мандат совслужащего и даже разрешение на ношение оружия, но все же жена зарыла все уцелевшие драгоценности, да и наиболее ценные вещи, под кормушкой в конюшне, где стояли принадлежавшие лесничеству лошади, и каждое утро протыкала тоненькой железной палкой землю, чтобы удостовериться – не выкопал ли их кто-нибудь».

Далее история действительно разворачивается как в женском романе. Однажды в лесничество случайно заехал командарм Тухачевский. Он разговорился с лесничим, тот пригласил его к обеду, за обедом Тухачевский и познакомился со спрятанными в глуши красавицами. С тех пор он навещал их достаточно часто. Супруга лесничего подозревала, что Михаилу Николаевичу пришлась по нраву одна из их воспитанниц, но некоторое время не догадывалась, какая именно. Как и полагается в романтической истории, больше всего командарму понравилась младшенькая из сестер – самая веселая и непосредственная.

«Если старшие племянницы все отличались красотой и… добрым нравом, – пишет Лидия Норд, – то у младшей и того, и другого сильно недоставало. И эстетические чувства Анны Михайловны (так звали жену лесничего) часто страдали от вида вечно растрепанных кос, синяков, ссадин и царапин на лице и руках младшей – следов ее бешеной скачки на лошади и лазания по деревьям».

Анна Михайловна с удивлением говорила мужу: «Ты можешь себе представить – он ведь увлекся Ликой! Я думала, он ездит ради Ани или Веры… Не понимаю… Ну что ему в ней понравилось?» Лесничий забеспокоился: «Она ведь совсем ребенок, он может вскружить ей голову. Надо придерживать ее теперь дома».

В самом деле, Лике в то время было всего шестнадцать…

Лике запретили появляться, когда Тухачевский приезжал в лесничество. Разумеется, тот не собирался оставлять дело на произвол судьбы и в один из приездов официально попросил руки Лики. Лесничий намеревался ответить отказом, по его мнению, Лика была еще слишком молода для замужества, но неожиданно на сторону влюбленного командарма встала Анна Михайловна, заявив, что ей самой было шестнадцать, когда она вышла замуж, и что решать свою судьбу может только сама Лика. Она предложила поговорить с ней, и Тухачевский сказал, что сделает это сам.

«Он нашел Лику во дворе, – пишет Лидия Норд. – Скинув варежки, она лепила снежки и бомбардировала ими старшую кузину, укрывшуюся за стоявшим у сарая большим деревянным щитом и взывавшую оттуда о пощаде. Увидев Михаила Николаевича, девушка смутилась, но озорство взяло верх, и она ловко угодила бывшим у нее в руках снежком в поспешившую вылезти из-за щита кузину. Тухачевский усмехнулся и взял ее покрасневшие от холода руки в свои: „Лика, я полюбил вас. Могу я надеяться, что вы станете моей женой?”

Та явно опешила. Потом кровь отхлынула от ее лица, и, вырвав руки, она понеслась куда-то… „Мне тогда стало очень страшно”, – после призналась она журившей ее тетке. Анна Михайловна, наблюдавшая всю эту сцену из окна, накинула шубку и поспешила спасать положение: она объяснила, что девушка сильно смутилась, обещала поговорить с ней и просила его приехать на другой день за ответом. Тухачевский уехал, не заходя в дом. Но Анна Михайловна простилась с ним как с будущим родственником.

После его отъезда в доме лесничего воцарилась необычайная тишина. Евгений Иванович, крупно поговорив с женой, из своего кабинета не показывался. Лика после долгого разговора с теткой с глазу на глаз вышла из спальни с покрасневшими глазами и бродила по дому притихшая, растерянная. Старшие девушки, узнав от тетки о предстоящем браке, ахнули…

На другой день был сговор. Лесничий, дав скрепя сердце согласие, поставил условием, чтобы брак был церковный. Тухачевский согласился. Но венчание должно было быть тайным. Оно должно было состояться через месяц – Тухачевский заявил, что и это очень долгий срок. Его всегда могут назначить на другой пост.

Первое время Лика держалась с ним отчужденно и больше льнула к дяде. Но, став в доме на правах жениха своим человеком, Михаил Николаевич сбросил с себя панцирь

спокойной, даже чуть холодной вежливости, которой он устанавливал дистанцию между собой и окружающими, держал себя просто и с большим тактом. Не навязываясь невесте, он сумел завоевать ее доверие. Единственная интимность, которую он позволял себе с ней, – это обертывать ее длинные, тугие косы вокруг своей шеи, серьезно уверяя всех, что он пойман и привязан „этим арканом".

Венчание произошло вечером в деревенской церкви. Когда сани с невестой подъехали к церкви, лошади вдруг захрапели и поднялись на дыбы, едва не вывернув всех. Вошли в церковь – и женщины вскрикнули, а Лика тяжело опустилась на руки успевшего подхватить ее лесничего: в церкви стоял гроб с покойником.

Пока на паперти невесте терли виски, покойника перетащили в дальний угол притвора и чем-то накрыли. Тухачевский со своим свидетелем комкором Уборевичем опоздали и приехали, когда суета окончилась».

Тем не менее венчание состоялось и было очень красивым, невеста и даже жених отнеслись к обряду серьезно и с трепетом, так, будто действительно считали, что в этот момент происходит важное мистическое таинство, соединяющее их навеки перед Богом и людьми… Хотя, казалось бы, для коммуниста и воинствующего атеиста это были странные, очень странные чувства.

Собственно, на этом все романтическое в истории женитьбы Тухачевского на «лесной красавице» и заканчивается, дальше началась совместная жизнь, которая не принесла обоим ничего хорошего. Брак продержался меньше года.

Лидия Норд рассказывает, что после поездки с мужем в Москву Лика вдруг вернулась в лесничество с вещами. Она ничего не желала рассказывать встревоженным дяде и тете, только заявила, что к Михаилу Николаевичу она больше не вернется. Вечером того же дня в лесничество приехал и сам Тухачевский. Лика не стала разговаривать с ним, вместо этого он имел долгий и явно трудный разговор с ее дядей за закрытыми дверями его кабинета. После чего – уехал.

Лика так и не вернулась к мужу, проявила твердость характера, хотя все отмечали, что разрыв обоим супругам дался очень тяжело. Причиной размолвки между ними, скорее всего, послужила связь Тухачевского с другой женщиной, а может быть, и не с одной… Михаил Николаевич даже не пытался скрывать свои романы, открыто появляясь в присутственных местах со своими любовницами. Лидия Норд пишет: «Однажды он появился в театре с поразительно красивой высокой блондинкой –

Татьяной Сергеевной Чернолусской. На следующий день об этом судачили все гарнизонные дамы. Сообщались подробности, что Чернолусская является сводной сестрой Луначарского (это было верно), что она приехала из Новозыбкова погостить к крестной матери, потому что давно была влюблена в Тухачевского, еще с тех пор, когда Тухачевский слегка ухаживал за ее сестрой, менее красивой, но очень изящной маленькой брюнеткой Наташей. Михаил Николаевич стал появляться с Татьяной довольно часто. Он даже афишировал свои встречи с ней».

Разумеется, Лика не могла относиться к этому спокойно, и ее решение оставить мужа было вполне естественно и понятно. Но ситуация осложнялась тем, что Лика была беременна. Родные пытались уговорить ее вернуться к Тухачевскому, заявляя, что она не имеет права лишать ребенка отца, да и ей самой будет тяжело растить дочь одной, но Лика не вняла мольбам и осталась непреклонна.

Михаил Николаевич не знал о беременности жены и о рождении дочери узнал на каком-то мероприятии от супруги одного из своих сослуживцев.

«Я очень рада, что роды прошли благополучно. Ваша дочка – поразительно крупный ребенок, весит девять с лишним фунтов… Анна Михайловна звонила мне по телефону перед самым собранием. Она говорила, что девочка – ваш вылитый портрет, но страшная крикунья…»

Тухачевский расстегнул крючок воротника гимнастерки, потом снова застегнул его: «Благодарю вас. Извините, я должен позвонить, узнать о здоровье жены». Он вышел из зала своей ровной, неторопливой походкой.

Как только окончилась торжественная часть, Тухачевский ускакал куда-то верхом. Ординарец рассказывал, что командарм вернулся только под утро».

Рождение ребенка оказалось для Тухачевского чем-то сродни удару молнии, он готов был полностью переменить свою жизнь. Михаил Николаевич порвал с любовницей и вернулся к жене. Отношения между ними продолжали оставаться натянутыми, но ребенок сближал их. Тухачевский имел твердые намерения быть хорошим отцом. И вел себя, по своему обыкновению, весьма авторитарно.

Борис Соколов пишет: «Лика и Тухачевский почти не разговаривали, хотя Михаил Николаевич теперь регулярно навещал дочь, которую назвали Ириной. Будто бы на этом имени настоял Тухачевский, заменив другое, данное женой, и сам зарегистрировал дочь. Дома девочку окрестили. Крестным отцом был Евгений Иванович, крестной матерью – двоюродная сестра

Лики. Через три месяца отец, взяв девочку на руки, уверенно заключил, что пошла она в Тухачевских. И добавил, обращаясь к Анне Михайловне, но так, чтобы слышала Лика: «Подрастет немного – тогда займусь ею как следует. Надо ребенка воспитывать рано и твердо…»

Но жена не принимала попыток мужа заявить свои права на дочь. Лидия Норд отмечает, что делал он это порой очень своеобразно. Например, брал непонравившуюся игрушку или другую вещь и, ни слова не говоря, бросал в печку. Зато в следующий приезд привозил ей замену. По наблюдениям свояченицы, «Тухачевский не требовал возвращения жены, но сумел поставить себя в лесничестве так, что все чувствовали – он муж Лики. После рождения ребенка он аккуратно из своего жалованья вручал Анне Михайловне порядочную сумму денег на расходы, а когда та вздумала сделать в его присутствии какое-то замечание Лике, то Михаил Николаевич вежливо, но решительно остановил ее, указав, что Лика уже не ребенок и его жена. Лесничий, обожавший свою «первую внучку», был подкуплен отношением Тухачевского к ребенку и защищал перед племянницей «право отца».

Едва начавшим налаживаться отношениям между супругами помешал неожиданный визит Татьяны Чернолусской. Отвергнутая любовница сгорала от ревности и пыталась сделать все, чтобы вернуть Тухачевского. Назвавшись сестрой Михаила Николаевича, она уединилась с Ликой в кабинете, и две женщины о чем-то говорили за запертой на ключ дверью. Анна Михайловна догадывалась о том, кем является их неожиданная гостья, но помешать разговору никак не могла. Впрочем, он закончился довольно быстро. Примерно через час Чернолусская уехала.

После ее ухода Лика сказала Анне Михайловне: «Да что ты, тетя… Неужели вы думали, что я не знала о ней еще тогда?… Только предупреди дядю – я ей дала слово, что Михаил Николаевич не узнает о том, что она была здесь… И потом, не надо нового скандала…»

Вечером приехал Тухачевский. Он пытался выглядеть веселым, только прятал под скатертью руку со свежими продольными царапинами – вероятно, след бурного объяснения с Чернолусской. Михаил Николаевич заночевал в лесничестве. Перед сном Анна Михайловна спросила мужа: «Ты думаешь, что она его любит и простила ему еще тогда, когда узнала?» – «Она не простила… Может быть, она его любит, но между ними стало еще что-то другое… Она все равно уйдет от него…»

И действительно, вскоре Лика вместе с дочерью уехала жить к бабушке в Харьков. Тухачевский навещал их примерно раз в

полгода – у него просто не было времени на более частые визиты, он виделся с дочерью, но с Ликой больше не встречался, она никогда не выходила к нему.

Вряд ли в то время Михаил Николаевич все еще испытывал надежду стать хорошим отцом, да судьба и не подарила ему такой возможности. Маленькая Ирина вскоре умерла от дифтерита. Тухачевский не знал о болезни дочери и увидел ее уже мертвой в гробу. И лишь у гроба, впервые за много лет, они встретились с Ликой, чтобы проводить в последний путь плод их недолгой любви. На том их отношения завершились уже окончательно.

После похорон Михаил Николаевич забрал с собой на память о дочери ее крохотные вязаные башмачки и всегда носил их с собой. Лидия Норд вспоминала, что однажды уже много лет спустя, в 1931 году, доставая что-то из кармана, Тухачевский случайно выронил конверт с этими детскими башмачками. Михаил Николаевич смутился и поспешно бросился к выходу, с силой пнув по пути случайно подвернувшийся маленький столик, да так, что тот отлетел к печке и раскололся. Это значит, что спустя почти десять лет и множество пережитых перипетий он все еще сильно переживал смерть дочери и – не менее сильно переживал о том, чтобы никто не заподозрил в нем сентиментальности. Тухачевский всегда старался скрывать свои чувства, но они прорывались, пусть и редко.

Лидия Норд рассказывает об одном случае, когда в разговоре она обмолвилась, что ее сестра Лика вполне счастлива во втором браке. Ее удивила тогда слишком бурная реакция Тухачевского. «Счастлива? – рванул он пояс. – Но только он ей не муж… Да… Да!.. Не муж! Пусть она не забывает, что мы были обвенчаны… Она может иметь двадцать гражданских разводов, но в глазах церкви и перед лицом Бога останется на всю жизнь моей женой. Спроси священника, „верующая” женщина».

Лидия Норд удивилась тому, что коммунист вдруг апеллирует к Богу, и поняла, что Михаил Николаевич все еще очень любит Лику. Может быть, он любил ее всю жизнь, спрятав чувства глубоко в сердце. Никто ведь не знает, на самом деле, в чем была истинная причина их разрыва, может быть, демонстративная связь с Татьяной Чернолусской была лишь способом отомстить Лике. Отомстить за что-то, чего мы никогда не узнаем…

Та же Лидия Норд рассказывает о том, что однажды в откровенном разговоре Тухачевский сказал ей: «…Я когда-то тоже полюбил на всю жизнь и также мучился, но женщина, которую я любил, не щадила моего чувства. С тех пор я перестал верить, что

у женщины есть сердце».

Скорее всего, в тот момент он говорил не о Лике…

Кто была женщина, разбившая его сердце, мы не знаем, но то, что сам Тухачевский разбил множество женских сердец – остается фактом. Рассказывали, что Татьяна Чернолусская после разрыва с Тухачевским глушила любовь и ревность вином и кокаином и опустилась до самого дна.

6

Помимо всех этих сложностей на личном фронте в военной карьере Тухачевского в то время тоже все было очень не просто. Он был героем Гражданской войны, но в то же время проиграл серьезное и очень много значившее для Советской России сражение с поляками под Варшавой, не оправдав возложенных на него надежд и доказав, что для настоящей серьезной войны ни он сам, ни Красная Армия не готовы. О причинах поражения в Польше говорили много, участвовавшие в нем военачальники всеми силами пытались переложить вину друг на друга, и Тухачевский в том числе – всю оставшуюся жизнь он пытался как-то оправдаться и найти виноватых, но так или иначе главнокомандующим операцией был именно он, и вся ответственность за поражение лежала на нем.

Казалось бы, после такого провала с карьерой командарма можно было распрощаться – Советское правительство больше не поручит ему ничего по-настоящему важного. Смириться с этим было трудно, и Тухачевский был готов на все, чтобы оправдаться и доверие вернуть. А Советское правительство таким положением вещей не преминуло воспользоваться.

Именно в этот тяжелый год после поражения в Польше и несложившихся отношений с Ликой Тухачевскому пришлось пережить еще два крайне неприятных события, легших черным пятном и на его репутацию, и на его совесть: подавление бунта моряков в Кронштадте и крестьянского восстания в Тамбовской губернии.

Гражданская война закончилась, но политику военного коммунизма никто не отменял, страна по-прежнему жила в чрезвычайно тяжелых условиях, в голоде, в холоде и в нищете. Как результат: повсеместно вспыхивали восстания. Разоренные продразверсткой крестьяне не видели иного выхода, кроме как брать в руки оружие и защищать свое имущество, иначе зимой их семьи ждала голодная смерть.

В марте 1921 года вспыхнуло восстание моряков в Кронштадте. Все они были выходцами из крестьянских семей, все знали о том, что происходит в деревнях, и выставили требования правительству: «Долой продразверстку! Долой заградительные отряды! Вернуть свободную торговлю!» К тому же постоянно сокращался продуктовый паек самих моряков, тогда как все они имели возможность видеть, что комсостав флота вовсе не бедствует.

Со своей стороны Советская власть на уступки не шла, на все

требования моряков красные комиссары отвечали так, как привыкли, – высокими речами и красивыми лозунгами, но это никого уже не устраивало.

Моряки до последнего пытались решить дело миром, но в Петрограде не желали вести диалог и объявили события в Кронштадте «контрреволюционным восстанием», которое требовалось срочно и жестоко подавить – иными методами Советская власть действовать не привыкла и не умела. Парламентеров от Кронштадта арестовали и чуть позже расстреляли. Против мятежников выступили войска.

Командовать взятием крепости было поручено Тухачевскому с указанием ликвидировать восстание в самые ближайшие сроки. И тот взялся за дело со всем возможным рвением.

Нас водила молодость
в сабельный поход,
Нас бросала молодость
на Кронштадский лед,
Боевые лошади
уносили нас,
На широкой площади
убивали нас…

Красивые строки Багрицкого как раз об этом – о попытке практически голыми руками взять вооруженную до зубов крепость по тонкому мартовскому льду, который трещал и проламывался под ногами молоденьких курсантов, бывших отличной мишенью для восставших. А тех, кто трусил и поворачивал назад, расстреливали позже на «широкой площади», чтобы другим неповадно было… Впрочем, на «широкой площади» расстреливали не только дезертиров, но и мятежников, после того как крепость сдалась. Советская власть не щадила никого. Время было такое, говорили потом, иначе было нельзя.

Время было суровое, время требовало жестких мер, удержать власть в разрываемой раздорами стране было действительно очень непросто. А люди… Люди всегда готовы поверить в то, что они не пыль под ногами и каждый что-то значит. Главное – найти нужные слова, это всегда хорошо умели делать комиссары и поэты.

Но в крови горячечной
подымались мы,
Но глаза незрячие
открывали мы.
Возникай, содружество

ворона с бойцом.
Укрепляйся, мужество,
сталью и свинцом,
Чтобы земля суровая
Кровью истекла,
Чтобы юность новая
Из костей взошла…

Штурм Кронштадта был столь же стремительным и беспощадным, сколь и бессмысленным. Бессмысленным потому, что практически в это же время Ленин выдвинул на очередном съезде партии вопрос об отмене продразверстки, в сущности, выполняя требования моряков. Бессмысленным потому, что те не желали сражаться с советским правительством, особенно после того, как это утратило смысл, и всеми силами пытались решить дело миром, сдаться при условии амнистии. Бессмысленным потому, что изрядная часть восставших уже планировала бегство в Финляндию, проявив дальновидность и понимая, что ничего хорошего на родине их больше не ждет, после чего крепость неминуемо сдалась бы без всяких уже условий и можно было обойтись без жертв. Нужно было только подождать. Недолго. Всего лишь сутки. Но был штурм, унесший тысячи жизней с обеих сторон. А после штурма начались неминуемые репрессии – расстрел тысяч человек, сдавшихся в плен…

При штурме Кронштадта от Тухачевского не потребовалось демонстрации воинского искусства, но он доказал свою абсолютную преданность Советской власти, умение четко выполнять приказы, умение воевать жестко – это было самое главное.

Окончательно же загладить свою вину за поражение в Польше Михаилу Николаевичу представилась возможность уже очень скоро. Всего лишь через месяц после Кронштадта оценившее его старание правительство поручило ему так же в короткие сроки подавить затянувшееся крестьянское восстание в Тамбовской губернии. И на сей раз поставленная задача была гораздо сложнее. Крестьянское восстание на Тамбовщине действительно имело колоссальные масштабы: по сути, против Советской власти воевала целая армия, численность которой составляла почти 50 тысяч человек.

«Антоновщина»… Это слово когда-то звучало по-настоящему зловеще, «антоновцев» называли бандитами, жестокими, кровожадными убийцами, не щадившими никого, кто проявлял лояльность к Советской власти. О них рассказывали много: о жестоко убитых коммунистах и комсомольцах, о достойных

Средневековья пытках пленных, о детишках, сожженных в бане вместе с учителем, о том, как бандиты отнимали хлеб у крестьян, оставляя их на голодную смерть, по сути, столь же безжалостно, как поступала продразверстка. Скорее всего, так и было. Потому что иначе воевать невозможно. Поэтому называть «антоновцев» невинными жертвами, а Тухачевского монстром – все же преувеличение, жертвами «антоновцы» не были, они воевали с Красной Армией на равных и одинаково жестоко, – жертвами были, как всегда, женщины, дети и старики, да еще те крестьяне, которые хотели оставаться в стороне от войны.

Действия же Красной Армии в Тамбовской губернии можно вполне сравнить с тем, что двадцатью годами позже совершали на оккупированных территориях фашистские захватчики, пытавшиеся справиться с партизанами. Собственно, схема всегда одна и та же, ничего нового никто не придумал: для того чтобы прекратить поддержку и снабжение провизией прячущихся в лесах восставших, следует: брать в заложники и при необходимости расстреливать местных жителей, конфисковывать имущество, выселять семьи бандитов в отдаленные края или в специально созданные концлагеря. Задачей Советской власти было заставить крестьян бояться себя больше, нежели бандитов. И она была выполнена вполне успешно.

Некоторое время у «антоновцев» оставался выбор – они имели возможность сдаться в обмен на амнистию. Тухачевский свое слово держал, касалось ли дело помилований или репрессий. Об этом знали. И многие «бандиты» действительно сдавались. Сдавались от усталости, от безнадежности, от того, что уже понимали, что не смогут успешно воевать с Советской властью, к тому же на полях созревала пшеница и сбор урожая был гораздо важнее войны.

Но сдавались, разумеется, не все, – грабить и убивать многим нравится больше, чем работать, и многочисленные отряды развалившейся армии восставших уходили глубже в леса с намерением продолжать борьбу. Для того чтобы уничтожить их, был придуман интересный и во многом новаторский план: Тухачевский решил использовать газовую атаку, обстреливать леса снарядами с особым отравляющим химическим составом. Эта жесткая акция была уже, в сущности, излишней, не так опасны были ушедшие в леса партизаны, да и половиной из «бандитов» были жены и дети «антоновцев». Но зато таким образом успешно выполнялся основной приказ правительства – окончательно ликвидировать восстание за короткие сроки. Ну и к тому же командованию Красной Армии просто хотелось провести испытание нового оружия. Случай представился удобный, кто

знает, выпадет ли такой снова… В условиях надвигающейся войны проверить на людях действие отравляющих веществ было важно и полезно.

7

В том же 1921 году Тухачевский женился снова.

Если считать Лику реально существовавшей женщиной, а не плодом воображения Лидии Норд, женитьба выглядит очень скоропалительной. Но с другой стороны – почему бы нет? Как известно, клин вышибается клином. Нет лучшего способа забыть об оставленной жене, чем жениться снова.

Новую избранницу Михаила Николаевича звали Нина Евгеньевна Гриневич. Это была очень красивая, спокойная и безупречно воспитанная женщина дворянского происхождения. К моменту их встречи она была уже замужем. В 1920 году в возрасте 19 лет Нина сочеталась браком с политработником Лазарем Наумовичем Ароштамом, а уже через год оставила мужа ради Михаила Тухачевского.

О знакомстве с Тухачевским Нина Гриневич впоследствии так рассказывала на следствии: «В 1920 году, примерно в марте месяце, я и мой отец… уехали в город Ростов-на-Дону… В штаб Западного фронта в город Смоленск я приехала примерно через полгода и устроилась работать в секретариат… В 1921-м я вышла замуж за Тухачевского и уехала в город Тамбов, куда он был переведен на работу».

Через год, в 1922 году, у них родилась дочь Светлана.

Жена командира Красной Армии Л. В. Гусева так вспоминала о Нине Евгеньевне: «Мы оказались соседями с Тухачевскими по дому. Так я познакомилась, а затем на всю жизнь подружилась с женой Михаила Николаевича – умной, тактичной, располагавшей к себе молодой женщиной Ниной Евгеньевной. Она ввела меня в свой… семейный круг… Особую привлекательность приобрел дом Тухачевских с переводом Михаила Николаевича в Москву. Какие там встречались люди! Как часто звучала чудесная музыка!.. Михаил Николаевич и Нина Евгеньевна умели создать обстановку непринужденности. У них каждый чувствовал себя легко, свободно, мог откровенно высказать свои мысли, не боясь, что его прервут или обидят».

Брак этот оказался более удачным, чем предыдущие. Несмотря на все жизненные перипетии, Нина Евгеньевна оставалась женой Тухачевского до самого конца, прощая ему многочисленные измены и даже наличие почти официальной второй семьи… Ведь спустя всего лишь пару лет после этой женитьбы Михаил Николаевич сошелся с Юлией Ивановной Кузьминой, супругой своего друга, бывшего комиссара Балтфлота Николая Кузьмина, с которым когда-то они познакомились при

взятии Кронштадта.

Юлия Ивановна развелась с мужем, и Тухачевский сделал ей квартиру в Москве, а потом и в Ленинграде. Как и официальная жена, она следовала за ним повсюду, согласно его назначениям.

О наличии этой второй семьи знали все друзья и знакомые Тухачевского, в том числе, разумеется, и Нина Евгеньевна. Но она смирилась с существующим положением вещей, может быть, слишком сильно любила мужа, а может, просто не хотела разрушать семью.

Впрочем, Юлия Кузьмина была не единственной любовницей Тухачевского – чем выше он поднимался по служебной лестнице, тем больше вокруг него вилось женщин. Перечислить всех любовниц Михаила Николаевича затрудняются даже самые дотошные исследователи его биографии. Ясно одно: его возлюбленные хоть и не всегда были ослепительными красавицами, но все были женщинами интересными и неординарными.

Как рассказывала Лидия Норд, было ощущение, что Тухачевский постоянно ищет в женщинах что-то и не может найти. Увлечения вспыхивали и кончались очень быстро. «Знаешь, а ведь в ней что-то есть», – говорил он, указывая на очень красивую женщину. Обычно тогда он начинал ухаживать, но в большинстве случаев флирт кончался быстро, и он говорил: «Она оказалась обыкновенной курицей».

Одним из самых длительных и, возможно, даже платонических романов Тухачевский имел с некой Марией Николаевной Х. «Блондинка, с темными бровями и длинным разрезом серо-голубых широко расставленных глаз. У нее был греческий, но немного тяжелый профиль, гладкая прическа и „лебединая шея”… Настоящей красавицей ее нельзя было назвать, но в ней действительно „что-то было”. Держала она себя очень скромно, была замужем, и муж ее обожал…» Тухачевский не переносил женщин вульгарных и одевавшихся безвкусно. «Когда я встретил ее второй раз, на ней было такое платье, что я чуть не закричал от ужаса, и весь мой интерес к ней испарился в ту же минуту». Или: «Пока она стояла, казалась привлекательной, но когда пошла, то так вульгарно раскачивала бедрами, что я поспешил отвернуться, не смотреть ей вслед».

Короткий, страстный роман был у Тухачевского с Жозефиной Гензи, певицей, выступавшей в офицерских клубах, кокетливой, соблазнительной блондинкой, которая, как позже выяснилось, была немецкой шпионкой и любовницей адмирала Канариса и пыталась выяснить, возможно ли завербовать самого блестящего советского маршала. А может быть, просто хотела выведать какие-

нибудь секреты…

Была среди любовниц Тухачевского вдова Максима Пешкова, сына Максима Горького, художница Надежда Пешкова. В нее был влюблен и всесильный нарком НКВД Генрих Ягода, влюблен так страстно, что, возможно, даже приложил руку к убийству ее мужа, по крайней мере именно в этом его обвинили при аресте.

Еще одна любовница Ягоды хорошенькая блондинка Шурочка Скоблина, племянница бывшего белогвардейского генерала (ныне проживающего в Париже и работающего на советскую разведку), была тайной сотрудницей НКВД и писала на Тухачевского доносы, тем более злые, чем сильнее разгоралась ее ревность.

В певицу Большого театра Веру Давыдову был влюблен сам Сталин, но и она не смогла устоять перед обаянием Тухачевского, хотя эта связь могла стоить обоим жизни… Кстати, вполне может быть, что она и была одной из причин ненависти Сталина к Михаилу Николаевичу, – он не прощал людям и меньших ошибок. Много лет спустя Вера Давыдова так вспоминала о Тухачевском: «Радостно и тревожно было в его объятиях. Каждая линия его тела казалась мне воплощением мужской красоты. При одном воспоминании о нем меня начинает бросать в дрожь, закипает кровь, по-молодому бьется сердце».

Антонина Барбэ воевала рядом с Тухачевским во время Гражданской войны, была комиссаром его армии и хранила к нему теплые чувства всю жизнь. Антонина не побоялась навещать Михаила Николаевича после ареста, вскоре сама была арестована и умерла под пытками, не сделав никаких признаний.

А с режиссером Центрального детского театра Натальей Сац у Тухачевского были настолько серьезные отношения, что ради нее он даже хотел развестись с женой. Но не успел. Был арестован. А примерно через полгода после этого как член семьи «врага народа» была арестована и сама Наталья. Пять лет она провела в ГУЛАГе, и после ее ждала долгая ссылка. Вернуться в Москву она смогла только после смерти Сталина.

8

В 1924 году Юлия Кузьмина родила Тухачевскому дочь, которую тоже назвали Светланой… Видимо, Михаил Николаевич питал особенные чувства к этому имени, очень ему хотелось, чтобы у дочерей было счастливое, светлое будущее. И разве мог он сомневаться в этом? Гражданская война закончилась, Советская власть победила, и жизнь в стране начала потихоньку налаживаться – голод и разруха отступали в прошлое, Новая экономическая политика позволила людям вздохнуть свободнее… Но обеим Светланам досталась очень нелегкая жизнь. Им пришлось в полной мере пройти все невзгоды, доставшиеся на долю детей «врагов народа»: детский дом, потом лагерь и ссылку.

Разумеется, Тухачевский не мог такого предполагать. Карьера его неизменно поднималась в гору. В 1925 году он был назначен начальником Штаба РККА, чуть позже – начальником Ленинградского военного округа. Он писал книги, преподавал в Академии Генштаба, вплотную занимался реорганизацией армии и подготовкой ее к новой неизбежной войне с мировым империализмом и в первую очередь – с Германией. И наркома обороны Ворошилова и самого Сталина Тухачевский пытался убедить в необходимости увеличить численный состав армии, ратовал за развитие артиллерии, авиации, танковых войск, уверяя, что в будущей войне большую значимость будет иметь техника, а не люди. Но, увы, предложения его не вызывали в правительстве особого энтузиазма.

Тухачевский работал и над повышением боеспособности Красной Армии, проводил крупные маневры армии и флота, предлагал различные меры по улучшению управления войсками, призывал учить солдат тому, что требуется на войне. Его единственной ошибкой был расчет на то, что следующая война будет наступательной, именно к этому он и готовил войска. Но время показало, что Советской армии придется вести оборонительную войну, а к ней, увы, она оказалась совсем не готова…

К сожалению, учесть и исправить ошибки Тухачевскому не удалось, у него не было для этого возможности. И карьера его и жизнь оборвались на самой высокой точке взлета. В 1935 году Михаил Николаевич получил звание маршала Советского Союза, в 1936 году стал первым заместителем наркома обороны. Казалось, Сталин благоволил к нему и оказывал огромное доверие, а ведь в то время он уже планировал его арест и уничтожение. Судьба Михаила Николаевича была уже решена и

приговор подписан.

На Тухачевского – как и на всех значительных военачальников – много лет собирали компромат, но не давали ему хода до поры до времени.

Время пришло в 1937 году.

Сталин всегда побаивался Тухачевского: маршал был слишком волевым, слишком независимым да и вел себя не особенно почтительно. Нет, вопреки многочисленным журналистским инсинуациям Тухачевский не был заговорщиком и не планировал переворот. Но никто не мог ручаться, что такого не произошло бы никогда. Тухачевский – герой Гражданской войны, его любит народ, его любит армия, если вдруг он скомандует повернуть оружие против правительства, есть большая вероятность, что его поддержат, за ним пойдут… Смириться с тем, что рядом с ним находится такой опасный человек, всегда отличавшийся параноидальной подозрительностью, Сталин конечно же не мог.

9

Первой ласточкой грядущей опалы был запрет Тухачевскому на выезд за границу. В конце апреля 1937 года Михаил Николаевич с супругой должны были ехать в Лондон на коронацию Георга VI. Нина Евгеньевна за некоторое время перед этим взялась усиленно изучать английский язык, чтобы быть с мужем на равных, но, как выяснилось, напрасно… Поводом для отмены поездки послужили якобы полученные сведения о том, что по пути в Англию германская разведка готовит на Тухачевского покушение, чтобы спровоцировать международный скандал. Что ж, ничего невозможного в этом не было.

Но по-настоящему гром грянул 10 мая 1937 года.

Политбюро приняло предложение Ворошилова освободить Тухачевского от обязанностей первого заместителя наркома обороны и назначить командующим второстепенным Приволжским военным округом.

Повод был выбран довольно неожиданный – виновницей опалы оказалась Юлия Кузьмина.

Борис Соколов пишет: «Старый друг Кулябко, доживший до реабилитации, показал партийной комиссии, что когда узнал о назначении Тухачевского в Приволжский округ, то бросился к нему на квартиру. Маршал объяснил, что „причиной его перевода в Куйбышев, как об этом сообщили в ЦК партии, является то обстоятельство, что его знакомая Кузьмина и бывший порученец оказались шпионами и арестованы”».

Лучше всех отнесся к опальному маршалу Гамарник. Глава Политического управления армии, не кривя душой, сообщил Тухачевскому, что у него есть копия постановления ЦК партии относительно снятия Тухачевского с поста заместителя наркома. «Кто-то под тебя, Михаил Николаевич, сильно подкапывался последнее время, – сказал он. – Но между нами говоря, я считаю, что все обвинения ерундовые… Зазнайство, вельможничество и бытовое разложение, конечно… Бабы тебя сильно подвели – эта… твоя блондинка, Шурочка… И „веселая вдова” – Тимоша Пешкова». – «Со Скоблиной я уже несколько лет тому назад порвал, – ответил Тухачевский, – а за Надеждой Алексеевной больше ухаживал Ягода, чем я». «А ты со Скоблиной не виделся, когда вернулся из Англии, не привозил ей подарков?» – «Не виделся и никаких подарков не привозил. Она мне несколько раз звонила по телефону, но я отвечал, что очень занят». – «И лучше не встречайся с ней больше… И с Ягодой не соперничай… А в остальном положись на меня. Обещаю тебе, что постараюсь это

все распутать, и уверен – ты недолго будешь любоваться Волгой, вернем тебя в Москву».

Михаил Николаевич вернулся от Гамарника несколько успокоенный, но возмущаться не переставал. «Когда у нас хотят съесть человека, то каких только гадостей ему ни припишут, – говорил он, шагая по комнате. – Разложение… Три раза был женат. Ухаживаю за женщинами… Вот наш мышиный жеребчик – Михаил Иванович Калинин, отбил Татьяну Бах от Авербаха и третий год содержит ее в роскоши, и ЦК партии покрывает все „Бах-Бахи" „всесоюзного старосты"…»

В тот же день Шура несколько раз звонила Тухачевскому, говорила, что ей совершенно необходимо поговорить с ним «по очень, очень важному делу», но Тухачевский сам к телефону не подходил и просил сказать ей и тем, с кем не хотел разговаривать, что его нет. «Натворила, дуреха, из ревности делов, а теперь лезет с раскаяньем…» – сказал он о ней.

В надежде, что все еще будет хорошо и опала не продлится долго, Тухачевский отправился в Куйбышев, куда прибыл 14 мая.

Дожидаться решения своей участи долго ему не пришлось. Уже 22 мая он был арестован.

О том, как происходил арест, написал Петр Радченко, бывший охранник тогдашнего секретаря Куйбышевского обкома, в чьем кабинете все и происходило: «Весной 1937 года в Куйбышев приехал М. Н. Тухачевский. Он оставил на вокзале в салон-вагоне жену и дочь, а сам явился в обком партии представиться Павлу Петровичу Постышеву. В приемной я был один. В кабинете находился секретарь Чапаевского горкома партии. М. Н. Тухачевский обратился ко мне. Я зашел к Павлу Петровичу и сказал: „Просит приема Тухачевский". – „Одну минуту, – ответил мне Павел Петрович, – я кончаю и сейчас же приму Михаила Николаевича". Я вышел из кабинета и попросил маршала подождать. Не прошло и трех минут, как в приемную ворвались начальник областного управления НКВД старший майор госбезопасности Панашенко, начальники отделов Деткин и Михайлов. Они переодели Тухачевского в гражданское платье и черным ходом вывели к подъехавшей оперативной машине…»

25 мая Михаила Николаевича привезли в Москву.

И там уже ему было предъявлено шокирующее и до глубины души изумившее его обвинение: организация военно-фашистского заговора с целью военного переворота и свержения правительства. Учитывая многолетнюю ненависть Тухачевского к Германии и его постоянные предложения по подготовке к войне с ней, обвинение выглядело особенно абсурдным.

Первое время Тухачевский отрицал свою вину, но вскоре

согласился давать признательные показания. Почему это произошло, существует несколько мнений. Возможно, просто от безысходности. Михаил Николаевич прекрасно понимал, что если Сталин пожелал подвести его под расстрельную статью, он все равно это сделает. Возможно, его сломили показания друзей, людей, которым он верил. Ближайший друг, арестованный незадолго до него, Борис Фельдман, признал свою вину сразу же после ареста и дал показания на Тухачевского. Ходили слухи так же о том, что сотрудники НКВД однажды привели на допрос дочь Михаила Николаевича Светлану и угрожали пытать и даже изнасиловать девочку, если он не подпишет протокол. А может, Тухачевского сломили побои и унижения… Применялись ли к Тухачевскому пытки, верных сведений нет. Исследователи последних дней маршала отмечают, что у него менялся почерк день ото дня, по мере того как он писал показания, становясь все более дерганным и неровным, выдавая тяжелое душевное и физического состояние. Так же, на одном из листов следственного дела Михаила Николаевича были обнаружены пятна крови. Борис Соколов пишет: «Но даже если Тухачевского не пытали, он сильно страдал уже от одной только крайней унизительности своего положения, которую следователи и тюремщики старались еще и подчеркнуть. Например, бывший сотрудник НКВД с забавной фамилией Вул вспоминал в 1956 году: „Лично я видел в коридоре дома 2 (Наркомата внутренних дел. – *Б.С.*) Тухачевского, которого вели на допрос к Леплевскому, одет он был в прекрасный серый штатский костюм (вероятно, в тот самый, в который переодели его чекисты в приемной Постышева. – *Б.С.*), поверх него был надет арестантский армяк из шинельного сукна, а на ногах лапти. Как я понял, такой костюм на Тухачевского был надет, чтобы унизить его”».

Так или иначе, к 11 июня следствие было закончено, и состоялся суд. Вместе с Тухачевским в тот день судили командармов И. Э. Якира и И. П. Уборевича, комкоров А. И. Корка, Р. П. Эйдемана, Б. М. Фельдмана, В. М. Примакова и В. К. Путну, а также незадолго до ареста покончившего жизнь самоубийством начальника Политуправления РККА армейского комиссара первого ранга Я. Б. Гамарника.

Суд длился один день, и в итоге всем обвиняемым вынесли смертный приговор, который был приведен в исполнение незамедлительно – в ночь на 12 июня.

И уже на следующий день о казни «главарей военно-фашисткого заговора» было объявлено в газетах. «Как тогда было принято, он получил единодушное одобрение рабочего класса,

колхозного крестьянства и трудовой интеллигенции, – пишет Борис Соколов. – Среди одобрявших были артисты Художественного театра Леонид Леонидов и Николай Хмелев, братья-академики Сергей и Николай Вавиловы (одному из них через несколько лет суждена была смерть в тюрьме, а другому – президентство в Академии), „инженеры человеческих душ" Александр Фадеев и Всеволод Вишневский, Алексей Толстой и Николай Тихонов, Михаил Шолохов и Леонид Леонов, Александр Серафимович и Антон Макаренко…»

Впрочем, одобрение все же не было полностью единодушным…

Командарм Тухачевский очень любил музыку, хорошо играл на скрипке и даже с большим увлечением и знанием дела занимался изготовлением этих музыкальных инструментов. Он был дружен со многими людьми искусства, которые оказались мужественнее большинства военачальников и отказались заклеймить «Тухачевского и его банду».

Композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович не подписал ни одного письма или телеграммы с осуждением заговорщиков. Николай Николаевич Кулябко, работавший в то время директором Московской государственной филармонии, отказался заклеймить на партсобрании того, кого когда-то рекомендовал в партию, за что отправился в лагерь. Когда пришли арестовывать профессора Московской консерватории Н. С. Жиляева, то увидели на стене его квартиры портрет Тухачевского. Один из чекистов удивленно спросил: «Так вы его еще не сняли?» Николай Сергеевич ответил: «Знайте, что ему со временем поставят памятник». Жиляев был отправлен в лагерь и через полгода расстрелян.

Из-за того, что арест Тухачевского пришелся на предвоенное время, много лет спустя начались предположения, что существовал хитроумный заговор немецких спецслужб, направленный на уничтожение высшего комсостава Красной Армии. Об этом пишет в своих мемуарах Вальтер Шелленберг, начальник политической разведки Германии; есть об этом упоминания и в воспоминаниях других немецких разведчиков. Однако военные историки доказали, что никакого заговора не было и быть не могло и немецкие разведчики выдумали его, вероятно, для привлечения внимания читателей к своим книгам или же просто из тщеславия – проигравшей стороне хотелось продемонстрировать хоть какие-то свои успехи, пусть даже и не существующие. На самом же деле Сталин успешно справился с уничтожением виднейших полководцев Советской армии собственными силами…

Михаил Тухачевский мечтал о воинской славе. Он мечтал о том, что будет командовать армиями. В царской России он наверняка стал бы генералом – у него были для этого все задатки. Наверняка он был бы хорошим военачальником, порой жестким и бескомпромиссным, но неизменно справедливым и честным. Он не был гением и вряд ли когда-либо снискал бы славу Суворова или Скобелева, не говоря уж о Наполеоне Бонапарте, сходство с которым ему всегда приписывали. Может быть, он даже не выиграл бы ни одного крупного сражения, но он был умен и талантлив и главное – целиком и полностью предан своему делу. Предан Российской армии. Все свои знания, все свои силы он отдал бы ей… Но история не знает сослагательного наклонения. Тухачевский не служил в царской армии: он служил в советской. И он отдал ей столько, сколько смог. Столько, сколько ему позволили.

Дмитрий Шостакович и Нина Варзар: восьмое чудо

Дмитрий Шостакович и Нина Варзар

...

– Шостакович Дмитрий Дмитриевич (25 сентября 1906 года, Петербург, Российская империя – 9 августа 1975 года, Москва, СССР) – великий композитор.

– Нина Васильевна Варзар (1909 год, Санкт-Петербург, Российская империя – 5 декабря 1954 года, Ереван, СССР) – астроном.

– Он – истинный гений и истинный интеллигент, тонко чувствующий, порывистый, погруженный в себя, интеллигентный, мягкий, но верный своим принципам, совершенно не приспособленный к быту.

– Она – мудрая, спокойная, уравновешенная, решительная женщина, надежная опора для супруга, при этом весьма самостоятельная, волевая личность.

– Двое общих детей. Поженились 28 апреля 1932 года. Пережили развод, но снова вернулись друг к другу. Жить порознь не могли.

– Шостакович тяжело пережил ее смерть, но потом женился еще дважды.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович был композитором от Бога… Собственно, как и все великие композиторы. Но он даже не знал мук творчества – только проблемы с окружающим миром из-за неприятия его творений. А музыка – музыка приходила к нему сама. Шостакович не сочинял, он просто принимал ее и переносил на нотную бумагу. Он пытался объяснить, как это происходит: «Есть разные способы писать музыку. У некоторых рождается мелодия, какие-то

ходы, а потом они оркеструют. У меня же вся музыка рождается оркестрованной. Я слышу ее так. И какой состав оркестра, и какие играют инструменты. Все это складывается в голове. А потом я сажусь и пишу. Мне трудно понять, как можно иначе писать музыку…»

Он был гением. Но очень скромным. И все время пытался доказать, что он – обыкновенный человек. Это у него не очень хорошо получалось. Но скромным, деликатным и патологически порядочным его запомнили все. Иногда у Шостаковича даже возникали проблемы из-за его скромности и порядочности. Но какие бы уроки ни преподносила ему жизнь, Дмитрий Дмитриевич отказывался меняться: отказывался изменять себе и своей музыке.

Музыка была его единственной страстью.

И казалось, все его любови к земным женщинам не могли сравниться со страстью к музыке… Однако была одна, которая была для него – главной. Его первая жена. Нина Варзар. Его подруга и опора. Ровный и теплый свет, возле которого композитор имел прибежище от тьмы и холода внешнего мира.

1

Он родился 25 сентября 1906 года в Петербурге. Отец, Дмитрий Болеславович Шостакович, – поверитель Главной палаты мер и весов, поляк по происхождению, предки которого участвовали в Польском восстании и отбывали наказание на каторге. Мать, Софья Васильевна Кокоулина, – дочь начальника золотых приисков, получила прекрасное образование: сначала – в Иркутске, потом – в Петербургской консерватории. Родители Дмитрия Дмитриевича не были профессиональными музыкантами, но были одаренными и увлеченными музыкой людьми.

Софья Васильевна сама учила музыке своих троих детей. У нее была своя собственная метода: она считала, что за инструмент ребенка нужно сажать не раньше, чем ему исполнится девять лет, потому что до этого он еще неусидчив и не способен к серьезным занятиям. Но если к двенадцати годам юный ученик не полюбит музыку – не следует далее его или ее мучить… Старшая дочь, Мария, интерес к музыке проявила и стала пианисткой, младшая в семье, Зоя, от дальнейшего обучения отказалась и стала ветеринаром.

Средний же ребенок, Митенька, вырос великим композитором, хотя сам признавал: «В детстве я не обнаруживал особой любви к музыке. У меня не было того, что у других композиторов. Я не подкрадывался в трехлетнем возрасте к дверям, чтобы послушать музыку, а если и слушал ее, то после этого спал так же безмятежно, как и предыдущую ночь. В детстве слушал много музыки: отец пел, мать играла на фортепиано. У знакомых за стеной часто собирался любительский струнный квартет. Любил слушать (лет в 7–8), но сам учиться желания не проявлял, относился к учению скорее даже отрицательно. Когда исполнилось 9 лет, по настоянию матери начал учиться игре на фортепиано: до этого возраста вообще не подходил к роялю. Моя мать, Софья Васильевна Шостакович, очень настаивала, чтобы я начал учиться игре на рояле. Но я всячески уклонялся. „Слишком корень учения горек, чтобы стоило учиться играть”, – думал я. Но мать все же настояла и летом 1915 года стала давать мне уроки игры на рояле. Так завела у нас мать порядок: как девять лет исполнится – садись за рояль. Так было с моими двумя сестрами, так было и со мной. Занятия пошли успешно. Я полюбил музыку, полюбил рояль. Первые уроки сразу же обнаружили во мне большие способности, и дело пошло очень быстро. У меня оказались абсолютный слух и большая память. Я быстро выучивал

ноты, быстро запоминал, выучивал наизусть совершенно без всякого труда: само запоминалось, легко читал ноты».

В семье Дмитрий был любимцем. Мать и сестры обожали его. Софья Васильевна с умилением вспоминала: «Митя тихостью походил на девочку». Милый послушный мальчик, он не любил шумных игр, ему нравилось «слушать тишину», и, даже перелистывая книгу, он спрашивал мать: «Ты слышишь, как звучат страницы?»

Для него все в мире – звучало, все могло превращаться в музыку: шелест страниц в тиши домашней библиотеки и жужжание прялки, услышанное в деревне, рев тигров в цирке и треск горящего дерева. И стрельба на улицах революционного Петрограда… А крик смертельно раненного превращался в симфонию.

Шостакович вспоминал: «Пытаться сочинять я начал тогда же, как начал учиться игре на рояле. Первое сочинение, какое я сейчас припоминаю, была какая-то длинная пьеса, под названием „Солдат”. Толчком к этому сочинению явилась война 1914 года. Тогда я сочинял, получая позывы к творчеству исключительно от внешних событий и явлений, как то: война, марширующие солдаты, шум улицы, лес, вода, огонь. Будучи совсем маленьким, видел, как горел лес. Это послужило впоследствии толчком к сочинению какой-то „огненной сонаты” для рояля. Названия тогдашних сочинений (поскольку я их припоминаю) были: „В лесу”, „Шум поезда”, „Буря”, „Гроза” и тому подобное.

Тогда же я очень много читал Гоголя и даже пытался сочинить оперу „Тарас Бульба”. Но из этого ничего не вышло».

2

Осенью 1915 года Митю отдали учиться в музыкальную школу выдающегося пианиста Игнатия Альбертовича Гляссера. Уже в декабре на зачете Митя сыграл половину вещей из «Детского альбома» Чайковского. К концу года он играл сонаты Гайдна, Моцарта, Бетховена. На следующий год перешел к фугам Баха. Все отмечали уникальный талант ребенка, но к попыткам сочинительства юного Шостаковича Гляссер «относился весьма скептически и не поощрял таковыми заниматься».

Однако Митя все равно сочинял. Не мог не сочинять. Он вспоминал: «Во время Февральской революции я, возвращаясь домой из гимназии, попал в толпу и долго с ней проходил. Были выстрелы, крики. Все это я пытался изобразить в „революционной симфонии". Тогда же сочинил „Похоронный марш" памяти жертв революции. Октябрьскую революцию я встретил тоже на улице, причем тогда кто-то, оказавшийся, как писали в газетах, бывшим городовым, застрелил у меня на глазах маленького мальчика. Этот трагический эпизод сильно врезался мне в память».

Софья Васильевна, видя, как упорно Митя сочиняет «свое» и насколько это «свое» он предпочитает даже самому великому чужому, повела его на консультацию к знаменитому педагогу Александру Ильичу Зилоти. «Вывод Зилоти был категоричен: „Карьеры себе мальчик не сделает. Музыкальных способностей нет". Плакал я тогда всю ночь. Очень обидно было. Видя мое горе, повела меня мать к А. К. Глазунову. Я поиграл мои сочинения, и А. К. сказал, что композицией заниматься необходимо. Авторитетное мнение Александра Константиновича убедило моих родителей учить меня помимо игры на рояле и композиции. Итак, осенью 1919 года я поступил в Консерваторию…»

Тринадцатилетний Митя Шостакович пришел на экзамен в сопровождении матери. Одет он был в детский костюмчик, выглядел моложе своего возраста, но в руках держал огромную папку с нотами, среди которых имелось восемь прелюдий его авторства.

Годы, проведенные в консерватории, стали едва ли не счастливейшими в его жизни. Учителя были благосклонны к чудо-ребенку, соученики уважали серьезного мальчика, да и вообще Дмитрия Шостаковича окружало только всеобщее восхищение. Ему постоянно твердили, какой он талантливый и необыкновенный. А дарованию так важна поддержка…

Шостаковичи дружили с художником Борисом Кустодиевым, часто бывали у него в гостях всей семьей. На Митю произвел

большое впечатление цикл его иллюстраций к повести Лескова «Леди Макбет Мценского уезда», над которым художник работал будучи уже тяжело больным. Тогда-то Шостакович и прочел эту повесть, и описанные в ней неистовые, преступные страсти потрясли его и нашли отклик в его тихой душе, в его музыке…

Спустя много лет он напишет оперу по мотивам Лескова. А пока играет для друзей Кустодиева, один из которых вспоминал: «Чудесно было находиться среди гостей, когда худенький мальчик, с тонкими поджатыми губами, с узким, чуть горбатым носиком, в очках, старомодно оправленных светящейся ниточкой металла, абсолютно бессловесным, злым букой переходил большую комнату и, приподнявшись на цыпочки, садился за огромный рояль. Чудесно – ибо по какому-то непонятному закону противоречия худенький мальчик за роялем перерождался в очень дерзкого музыканта с мужским ударом пальцев, с захватывающим движением ритма. Он играл свои сочинения, переполненные влияниями новой музыки, неожиданные, заставлявшие переживать звук так, как будто это был театр, где все очевидно до смеха или до слез. Его музыка разговаривала, болтала, иногда весьма озорно. Вдруг в своих сбивчивых диссонансах она обнаруживала такую мелодию, что у всех приподнимались брови. И мальчик вставал из-за рояля и тихонько, застенчиво отходил к своей маме, которая румянилась, улыбалась, как будто аплодисменты относились к ней, а не к ее бессловесному сыну.

И когда музыканта обступали со всех сторон, требуя поиграть еще, а он сидел, сердито опустив под очками глаза и держа руки на острых мальчишеских коленках, мама говорила: „Ну, поди, Митя, сыграй еще”. Митя тотчас послушно вставал и по-детски угловато шел к роялю…»

3

1922 год стал тяжелым для семьи Шостаковичей: сначала скоропостижно скончался отец Дмитрий Болеславович, а потом заболел Митя – на шее у него образовалась опухоль. Подозревали рак, и близкие едва не сошли с ума, тем более что точных способов диагностики тогда не существовало. Опухоль просто удалили, а измученного послеоперационным лечением пациента отправили отдыхать в Крым, для чего пришлось продать семейную ценность – рояль «Дидерикс». Материальное положение семьи уже тогда было трудным.

Сопровождала Дмитрия старшая сестра Мария. И вот там, в Гаспре, в Доме отдыха ученых, Шостакович встретил свою первую любовь – Татьяну Гливенко.

Они были ровесниками, им обоим еще не исполнилось семнадцати лет. Отец Тани, ученый, отправил дочку отдохнуть в Крым после окончания семилетки. Шостаковичи снимали комнату в деревне, но обедать приходили в столовую Дома отдыха. Тоненькая темноволосая Таня в платье с белым воротничком и с большим бантом сидела за столом напротив Дмитрия – исхудалого, бледного, в толстых очках, мучительно застенчивого… Впрочем, влюбленность придала ему смелости, и, по воспоминаниям, во время обедов Дмитрий Шостакович блистал остроумием и эрудицией. Они с Таней подружились, часами гуляли вместе, беседовали. И даже когда Дмитрий сочинял музыку, он просил Таню: «Посиди рядом». Татьяне Гливенко он посвятил трио: «Посвящается тебе, если ты ничего не будешь иметь против».

Мария написала матери, что их Митенька, похоже, влюбился. Софья Васильевна запаниковала: почему-то она очень боялась, что сын рано женится и это погубит его карьеру! В ответ на ее нервное письмо Шостакович поделился своими взглядами на любовь и брак, наивными, но вполне типичными для юноши 20-х годов: «Мамочка дорогая, я тебя предупреждаю, что, возможно, если я полюблю когда-нибудь, то моей целью не будет связать себя браком. Но если я женюсь и моя жена полюбит другого, то я ни слова не скажу; если ей понадобится развод, я дам ей его, взяв всю вину на себя. Но в то же время существует святое призвание матери и отца. Так что, когда обо всем подумаешь, то прямо голова начинает трещать. Во всяком случае, любовь свободна! Ты, мамочка, прости, что я с тобой так разговариваю. В данном случае я с тобой говорю не как сын, а как философ с философом. Мне бы очень хотелось, чтобы ты мне написала бы словечка два

по этому поводу. Разврат – это значит то, когда мужчина за деньги покупает женщину. А кроме этого, есть свободная любовь и принудительный разврат.

Крепко тебя целую и остаюсь любящий сын Митя».

Нет, он не женился на Татьяне Гливенко. Но отношениям их, зародившимся в то лето в Крыму, суждено было продлиться много лет и стать источником терзаний для обоих…

Впрочем, вернувшись из Крыма, Дмитрий Шостакович терзался совсем по другому поводу: семья была в долгах и на грани нищеты, и чтобы заработать хоть что-то, ему пришлось забыть о серьезных занятиях музыкой и пойти аккомпаниатором в кинотеатр: «Для этого необходимо было пройти в комиссии квалификацию на пианиста-иллюстратора. Сперва меня попросили сыграть „Голубой вальс”, а потом что-нибудь восточное. Квалификация дала положительные результаты, и в ноябре я поступил в кинотеатр „Светлая лента”. Тогда еще не было звуковых фильмов, и картины демонстрировались в сопровождении рояля, на котором таперы исполняли популярные марши и вальсы. Я же удовлетворял свою страсть к импровизации…»

Страстью к импровизации Дмитрий утешался недолго. Пришел момент, когда ему до смерти надоело приходить каждый день в стылый темный кинозал. Работа негативно сказывалась на его способности к творчеству. В октябре 1925 года Дмитрий писал другу: «Живу я в высшей степени скверно. Особенно в материальном… Хорошо было бы, если бы все кредиторы вдруг умерли. Да надежды на это маловато. Сочиниловку мою малость застопорило… Сейчас у меня очень печальное настроение из-за творческого бессилия. Утешать себя мне нечем. Ежели я с лета ничего не сочинил, то, стало быть, что-то такое случилось, из-за чего я разучился или на время, или же навсегда сочинять. Хватался я в это время за многое и, несмотря на то что не мое дело судить, хорошо или плохо я сочиняю, плакал с досады и со злости на судьбу. Я чувствую, что кинематограф и ежедневная там „импровизация” губит меня. Какой ужас! Я уверен, что многие мои музыкальные друзья отвернутся от меня, узнав, что я перестал быть сочинителем или если не перестал, то стал из рук вон плохим. А кинематограф меня губит, это факт. Исполнение моей симфонии будет лебединой песнью меня-композитора. Потом я стану музыкальной машиной, умеющей изображать в любую минуту „радость свиданья двух любящих сердец”, горе потери любимого человека и прочую гадость…»

Мать видела и тяжело переживала происходящее с сыном: «Ужасно грустно, что ему приходится служить в кино. Эта

убийственная работа отнимает все его вечера и лишает возможности послушать концерты. А главное, губительно для его слабого здоровья. Тяжело мне сознавать, что я не могу зарабатывать столько, чтобы Митя мог не служить, а заниматься своим любимым делом. У нас до сих пор нет рояля, и я теряю надежду, что нам его поставят».

Дмитрий был измучен, обозлен, разочарован. Он исполнял ненавистную работу, он лишил себя единственной радости в жизни – творчества, и все равно семья постоянно бедствовала, и никак не удавалось расплатиться с кредиторами… А ведь единственным мужчиной в семье был он! И именно он отвечал за благополучие матери и сестер! В тот период характер его начал меняться. Мария и Зоя вспоминали: «Из мягкого, уравновешенного юноши получился мрачный интроверт, нетерпеливый и резкий со своими близкими, редко разговаривающий с матерью и сестрами. Вежливый и приятный с чужими, но требовательный и очень упрямый с домашними, Дмитрий всегда замкнут в себе и почти высокомерен, а завязать с ним близкие отношения было очень трудно из-за его сдержанности».

Но Шостакович, нежный и чуткий, на самом деле понимал, что все чаяния родных сосредоточены на нем и что из-за него они несчастны, и это усугубляло его собственное отчаяние: «Дома обстановка унылая; все, кроме меня, отчего-то ссорятся друг с другом. Я ничего не могу сделать для того, чтобы чем-нибудь осветить их жизнь. Моя мама и сестры такие хорошие люди, но у них очень-очень мало радостей. Забота о завтрашнем дне, и больше ничего, в сущности. Но я ничего не могу сделать для их радости. Я знаю, что моя радость – их, но у меня нету радостей. Скорей все горе и сомненье. Но я никогда не позволю себе огорчать их своими печалями. И так у них их много. Поэтому дома я весел, бодр, утешаю, если возможно, смешу и ощущаю каждый мой нерв. Я их держу в беспрерывном напряженье, но пару раз не выдержал. Позавчера, идя в консерватории по гостиному коридору, заплакал. Выплакал все слезы, и не стало легче. А вечером после резкого замечания по моему адресу дирижера кинооркестра за неудачную иллюстрацию я опять заплакал…»

В 1925 году состоялся первый авторский концерт Шостаковича. Ему было девятнадцать лет. Он возлагал на концерт большие надежды. И провал переживал очень тяжело. Он опять плакал… Плакал на подоконнике в артистической, а рядом стояла Татьяна Гливенко, приехавшая его поддержать. И не знала, что сказать ему и что сделать, чтобы утешить.

Разочарование в жизни у юного композитора было ужасающим. Позже он вспоминал: «Служба в кино совсем парализовала мое творчество, и сочинять тогда я совсем не мог. И только бросив эту службу, я снова смог продолжать свою работу. Я был внезапно охвачен сомнением в своем композиторском призвании. Я решительно не мог сочинять и в припадке „разочарования” уничтожил почти все свои рукописи. Сейчас я очень жалею об этом, так как среди сожженных рукописей была, в частности, опера „Цыгане” на стихи Пушкина».

4

Дмитрия Шостаковича спас – в буквальном смысле! – Михаил Николаевич Тухачевский. Легендарный полководец был поклонником хорошей музыки. И неожиданно между этими двумя столь непохожими людьми зародилась настоящая дружба: «Он был специалистом в ужасной профессии. Его профессия заключалась в том, чтобы шагать через трупы и как можно успешнее. Мы познакомились в 1925 году. Я был начинающим музыкантом, он – известным полководцем. Но ни это, ни разница в возрасте не помешали нашей дружбе, которая продолжалась более десяти лет и оборвалась с трагической гибелью Тухачевского. С первого дня нашей дружбы я проигрывал Тухачевскому свои сочинения. Он был тонким и требовательным слушателем. Помню неожиданный вызов к командующему Ленинградским военным округом Б. М. Шапошникову. Ему, оказывается, звонил из Москвы Тухачевский. Михаилу Николаевичу стало известно о моих материальных затруднениях, и он просил на месте позаботиться обо мне – такая забота была проявлена. А начиная с 1928 года, когда М. Н. Тухачевский сам оказался командующим войсками Ленинградского военного округа, наша дружба стала еще более тесной. Мы виделись всякий раз, когда было желание и возможность. Каждую свободную минуту – а такие у Михаила Николаевича случались не часто – он старался проводить за городом, в лесу. Порой мы выезжали вместе и, прогуливаясь, больше всего беседовали о музыке. Он спросил меня, хочу ли я перебраться в Москву? Я сказал: „Хочу, но…” – „Что – но?” – „Как же я устроюсь?” – „Вы только захотите, а устроить такого человека, как вы, не будет трудно”. Я сказал ему, что подумаю. Приехавши в Питер, я сразу же написал Тухачевскому письмо, в котором просил его сдержать обещание насчет службы и даже комнаты».

Шостакович мечтал о переезде в Москву. Там преподавал профессор Б. Л. Яворский, у которого он мечтал учиться. Там создался кружок молодых композиторов, сочинявших «новую музыку». И там жила Татьяна Гливенко… К тому же переезд в Москву означал уход от назойливой опеки матери и сестер, которая Дмитрия начала тяготить.

В Москве Шостакович наконец-то обрел покой. К нему вернулась способность сочинять музыку. Его окружали понимающие и симпатизирующие ему люди. Он шел играть концерты в Московскую консерваторию не как на работу, а как на праздник, повторявшийся каждый день.

12 мая 1926 года в зале Филармонии была исполнена его Первая симфония, имевшая огромный успех. Критики соревновались в восхвалении нового молодого дарования. И дальше все его произведения принимались с восторгом: симфония «Октябрь», песни к кинофильмам, музыка к пьесе Владимира Маяковского «Клоп», причем сам поэт, в то время обласканный властью и практически богоравный, пожелал встретиться с молодым композитором и выразил ему свое восхищение и уважение.

В марте 1927 года Шостакович участвовал в турне по Польше, которое принесло ему и материальное, и моральное удовлетворение, то есть почести и неплохие гонорары.

Казалось бы, все складывалось чудесно. Другому юноше в его возрасте этого хватило бы для счастья, но Дмитрий не умел чувствовать себя счастливым. Он оставался все тем же мрачным меланхоликом.

Он вернулся в Ленинград, стал жить с семьей. Во время всех своих турне непрерывно переписывался с матерью и по-детски болезненно реагировал на все ее замечания: «Сегодня мама меня упрекала в хамстве и нежизнерадостности. „Каждый молодой человек твоих лет бывает жизнерадостным”. Меня и самого это смущает. Несмотря на то что трагизм вызывает во мне хохот, я написал 4 пьесы, которые отнюдь нельзя назвать веселыми. Сны вижу большей частью меланхоличные. Но в конце концов, это совсем не так важно по сравненью с вечностью. Но скверно то, что я очень одинок…»

5

Татьяна Гливенко не смогла спасти Дмитрия Шостаковича от одиночества. Их роман длился много лет, были периоды охлаждения, были периоды страсти, то они решали порвать отношения, то – пожениться… Татьяна любила Дмитрия, хотела стать его женой, но он никак не мог решиться изменить свою жизнь. Да и мама решительно выступала против. Она по-прежнему считала, что семья и быт погубят его талант, лишат его будущего, которое сейчас начало открываться во всем блеске.

Татьяна рассказывала биографу Шостаковича Оксане Дворниченко: «Были такие идеи: считали, что замуж нельзя выходить, надо раздельно жить. Он писал, что ищет комнату и все у него спрашивают, для кого. Теперь-то я понимаю, что мать его, очевидно, испугалась, она считала, что сын – мальчишка. И кончилось тем, что он написал мне странное письмо, на грани непонятного. В крайней обиде я это письмо порвала. Если бы он написал, что не любит меня…»

Черновик этого письма уцелел. Действительно, можно понять обиду Татьяны, когда человек, которого она любила всем сердцем, написал ей в ернически-шутливом тоне: «Некая девица с очень громкой фамилией желает выйти за меня замуж, но учтя всякие трудности, вытекающие из этого шага (подыскивание комнаты, покупка примуса и пр.), предложила мне стать ее неофициальным мужем. Как говорится, гони природу в дверь – она влетит в окно. Много размышляю по поводу того, как бы отделаться, и не знаю, что придумать. Жуть, жуть. Несчастный я человек. Мало того что не получил премии – пришлось думать о приискании средств для покупки примуса; мало того что примус решено не покупать – неофициальным мужем придется стать. Ужас, ужас…»

При этом и сам Шостакович страдал, особенно когда Татьяна решилась выйти за другого. «В один из приездов Шостаковича – это было в 1929 году, – вспоминала она, – я ему сказала: „Знаешь, я выхожу замуж”. Он сначала не поверил. Уезжая из Москвы, позвонил с вокзала: „Неужели ты и впрямь выходишь замуж?” Тут уж я, что называется, „полезла в бутылку” и сказала: „Да, действительно”. Он этого не ожидал. И все-таки мне не сказал, мол, ни в коем случае, – может, он мне не поверил? Ведь даже когда люди друг друга любят, чужая душа – потемки. Я вышла замуж. После этого он еще приезжал и виделся со мной и моим мужем».

Потеряв Татьяну, Дмитрий понял, как она была нужна ему,

как важны для него их отношения, и начал настаивать на разводе. Он засыпал Татьяну отчаянными письмами, признавая свою вину, проклиная свою нерешительность. Дмитрий не оставлял возлюбленную в покое, постоянно требовал встреч. В 1930 году Шостакович написал Татьяне письмо, в котором просил приехать и остаться с ним: «Довольно нам играть в журавля и цаплю». И она согласилась, потому что все еще любила его: «Я приехала, ничего не решив. Он спрашивал: „Ну хорошо, ну хорошо, ты переезжаешь?" А я? Или характер у меня такой дурацкий, или мужа мне было жалко. Я почувствовала, что он с кем-то сблизился. Пожила у них, и в этот раз семья очень хотела, чтобы я осталась. Я уехала опять в сомнении. Он еще писал: „Вот я приеду – решайся…" Я очень многого не поняла, какую любовь я теряю, любовь какого человека. Мы опять переписывались, и он писал, что приедет за мной, чтобы помочь поговорить с мужем (даже в этом случае он думал о других). Он писал: „Если тебе трудно, я приеду, помогу тебе с мужем разговаривать". В Москву приехала сестра Шостаковича и увидела, что я в положении. В 1932 году у меня родился сын, и тут же вскоре Дмитрий Дмитриевич женился…»

На этом их роман и закончился. Но любовные страдания стали стимулом творчества: Шостакович начал работу над оперой «Леди Макбет Мценского уезда» и циклом музыки на стихи японских поэтов.

6

Женщину, которая стала его женой и матерью его детей, Дмитрий Шостакович впервые встретил еще в тот период, когда в разгаре был его роман с Татьяной Гливенко. Восемнадцатилетняя Нина Варзар была студенткой физико-математического факультета ЛГУ и прекрасной теннисисткой. Познакомились они с Шостаковичем летом 1927 года в Детском Селе: Дмитрий работал над оперой «Нос» по мотивам повести Гоголя, а Нина просто отдыхала. Шостакович часто любовался ею на теннисном корте. Стройная, гибкая, в белом платье, Нина великолепно играла и заразительно смеялась. Не влюбиться в нее было просто невозможно, и Дмитрий влюбился – хотя при этом все еще любил другую…

У Нины были две сестры, обе считались красавицами, и мать, известный астроном. Они жили в Ленинграде, в бывшем особняке, и по четвергам устраивали чаепития. Шостакович с удовольствием ходил к ним в гости, но посвататься к Нине не решался. Во-первых, никак не мог разобраться в своих отношениях с Татьяной. Во-вторых, он не понравился матери Нины, которая сочла, что в материальном отношении Дмитрий безнадежен, а значит, хорошего мужа из него не получится.

Однако годы шли, дружба между Ниной и Дмитрием становилась все теснее, а его успехи умилостивили будущую тещу. Дмитрий предложил Нине руку и сердце и получил согласие. Правда, свадьба несколько раз откладывалась. Оксана Дворниченко в книге «Дмитрий Шостакович. Путешествие» писала: «Однажды в назначенный день Шостакович не явился на собственную свадьбу: сказались его нервозность, перемены настроения».

Приятельница Шостаковича Галина Серебрякова рассказывала, как однажды навестила его в период, когда он готовился к свадьбе: «Молодой композитор признался, что собирается жениться, и, волнуясь, заглатывая слова, рассказал о своей невесте, стараясь быть объективным, что недостижимо для влюбленных. Он был влюблен. Рассуждал о характере Гоголя. Мне показалось, что у него был страх перед сексуальной изнанкой жизни».

И все же 28 апреля 1932 года Дмитрий Шостакович наконец женился на Нине Варзар. Втайне от своей матери, боясь препятствий с ее стороны. Расписались они в Детском Селе. Софью Васильевну поставили перед свершившимся фактом. Месяц спустя Дмитрий писал матери: «В общем, жизнь прекрасна!

Новостей у меня никаких. Занимаюсь тем, что и душой и телом ощущаю свое скромное счастье. Нина Васильевна такое седьмое чудо (или восьмое), что пером не опишешь. Пока что я счастлив и плюю с высоты своего счастья на разные мелкие неурядицы житейского свойства».

Нина Васильевна оказалась идеальной супругой для гения. Она взяла на себя абсолютно все житейские проблемы, к которым композитор были одновременно равнодушен и неприспособлен. Дмитрий Дмитриевич довольно быстро разучился обходиться без помощи жены в каких бы то ни было вопросах, кроме творческих… После окончания университета Нина Васильевна работала в физической лаборатории. Подруге она рассказывала: «Едва я приходила на работу и начинала эксперимент, как Митя звонил и спрашивал, когда я вернусь».

Обстановка в квартире на улице Марата была спартанской, поскольку к уюту и удобствам супруги проявляли одинаковое безразличие. Зато оба любили гостей, и в квартире Шостаковичей собиралась интереснейшая компания. Виссарион Шебалин вспоминал: «Шостакович любил общество, охотно бывал у знакомых, часто собирались у них в доме. Говорили, спорили, Митя много играл. Было всегда оживленно, весело. Большей частью это был просто чай, бывали вечеринки с ужином, иногда на столе появлялась водка, что придавало такой вечеринке шумный характер. Засиживались долго, расходились поздно. Играли мы много и обстоятельно – и классику, русскую и западную, и то новое, что можно было достать».

Жили счастливо. Свидетельство тому – многочисленные любительские фотографии, которые сделала Нина Васильевна. Воспоминания друзей и знакомых… Кору Ландау-Дробанцеву познакомил с Ниной Шостакович, которую близкие называли Нитой, Артем Исаакович Алиханьян, друг Льва Ландау и Нитин начальник. Кора рассказывала: «Нина Васильевна Шостакович, жена знаменитого композитора: золотоволосая с золотистыми глазами… Как красиво она смеялась. Впервые я слышала в смехе и звон хрусталя, и переливы серебряных колокольчиков. Иногда я думала: Митя за музыку смеха так беззаветно полюбил Ниту с юных лет. Многие молодые женщины, поклонницы таланта Мити, усыпая его квартиру цветами, горели желанием приручить гениального композитора. Цветы принимала Нита, а композитор сидел, уткнувшись в рояль».

7

Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу было 22 года, когда состоялась премьера его первой оперы «Нос», и 26 лет, когда была поставлена «Леди Макбет Мценского уезда»: опера по мотивам повести Лескова, задуманная Шостаковичем еще в детстве под влиянием иллюстраций Кустодиева. Сначала опера была принята восторженно. Она продержалась на сцене полтора года, а потом грянул гром… Статья в «Правде» «Сумбур вместо музыки»: «Слушателя с первой же минуты ошарашивает в опере нарочито нестройный, сумбурный поток звуков. Обрывки мелодии, зачатки музыкальной фразы тонут, вырываются, снова исчезают в грохоте, скрежете и визге. Следить за этой „музыкой" трудно, запомнить ее невозможно… Это левацкий сумбур вместо естественной, человеческой музыки. Способность хорошей музыки захватывать массы приносится в жертву мелкобуржуазным формалистическим потугам, претензиям создать оригинальность приемами дешевых оригинальничаний. Это игра в заумные вещи, которая может кончиться очень плохо. Опасность такого направления в советской музыке ясна. Левацкое уродство в опере растет из того же источника, что и левацкое уродство в живописи, в поэзии, в педагогике, в науке. Мелкобуржуазное „новаторство" ведет к отрыву от подлинного искусства, от подлинной науки, от подлинной литературы. Автору „Леди Макбет Мценского уезда" пришлось заимствовать у джаза его нервозную, судорожную, припадочную музыку, чтобы придать „страсть" своим героям».

За статьей последовала ожесточенная травля Шостаковича. Все газеты печатали выступления «простых рабочих» и «простых крестьянок», которые высказывали свое возмущение непростой и непонятной для них музыкой. Композитора упрекали в «мейерхольдовщине», а это было страшное обвинение… Тем более страшное, что Дмитрий Дмитриевич когда-то восхищался опальным ныне режиссером Всеволодом Мейерхольдом. И критики, прежде превозносившие Шостаковича, принялись его клеймить. Впрочем, кто-то не клеймил, а по-отечески журил «заблудшего юношу», чрезмерно «оторвавшегося от народа».

Для Дмитрия Дмитриевича все это стало настоящим кошмаром. Ему было больно не только из-за травли, но еще и из-за того, что его оперу, его детище раскритиковали и перестали ставить. Он писал матери: «Я обладаю рядом отвратительных качеств, которые мне так мешают жить. Первое из них – это повышенная ревность и мнительность к своим вещам. Я глубоко убежден, что мне надо подняться выше этого, но никак не могу.

Не хватает сил. И когда публика кашляет в театре, то это равносильно для меня ударам ножа по окровавленной ране. Я никогда не мог бы подумать, что это окажется до такой степени тяжело. Здесь нет кокетства, здесь нет кривляния. В это, мне кажется, никто не верит…»

Вступился за Шостаковича (а может, даже спас его) Максим Горький. Он обратился к Сталину с письмом в защиту молодого композитора.

В те годы Дмитрию Дмитриевичу, как и всем ярким представителям творческой интеллигенции, пришлось пережить многое. Как личную трагедию воспринял он арест Мейерхольда и Тухачевского… Шостакович скорбел об участи друзей и каждую ночь ожидал, что и за ним придут: композитор ложился спать в одежде и постоянно держал собранным «тюремный чемоданчик».

Однажды его едва не арестовали. Оксана Дворниченко приводит такой случай: «Шостаковича вызвали в „Большой дом”. На допросе следователь его спросил: „Вы были у Тухачевского. Вы слышали, как Тухачевский обсуждал с гостями план убийства товарища Сталина?” Шостакович стал отрицать. „А вы подумайте, вы припомните, – говорит следователь. – Некоторые из тех, кто был с вами в гостях у Тухачевского, уже дали нам показания”. Шостакович продолжал утверждать, что он ничего не помнит. „А я вам настоятельно рекомендую вспомнить этот разговор, – сказал следователь с угрозой. – Я даю вам срок до одиннадцати часов утра. Завтра придете ко мне еще раз, и мы продолжим беседу…” Шостакович вернулся домой и стал готовиться к аресту. Тухачевский написал Сталину письмо в защиту Шостаковича после статьи «Сумбур вместо музыки» – уже одного этого хватило бы, чтобы посадить Дмитрия Дмитриевича. Приезжая в Москву, Шостакович останавливался у Мейерхольда, в той самой квартире, где потом убили Зинаиду Райх. И этого достало бы, чтобы его не только посадили, но и убили. Утром он снова явился в „Большой дом”, получил пропуск и сел возле кабинета следователя. Проходит час, другой, а его не вызывают. Наконец какой-то чекист поинтересовался: „Что вы тут сидите? Я смотрю, вы здесь уже очень давно”. – „Жду. Меня должен вызвать следователь Н.”. – „Н.? – переспросил чекист. – Ну, так вы его не дождетесь. Его вчера ночью арестовали. Отправляйтесь-ка домой”. Так Шостакович тогда чудом избежал ареста».

Если бы не поддержка жены, Дмитрий Дмитриевич не смог бы выдержать всего этого… Но вместе они пережили многое в те годы: не только внешнюю агрессию, но и внутрисемейные сложности. Пережили увлечение Шостаковича красивой студенткой Еленой… Пережили разрыв и даже развод, после

которого поженились вновь.

У Нины Васильевны были больные почки, и врачи не рекомендовали ей рожать. Но она решила рискнуть, потому что Дмитрий Дмитриевич очень хотел детей. В 1936 году появилась на свет дочь Галина. Два года спустя – сын Максим.

Максим Шостакович рассказывал: «Мать наша была цементирующим началом в нашем доме и в нашей семье. В ней была какая-то сила необыкновенная, и семья наша чувствовала себя защищенной, пока была мать. На протяжении жизни у отца было много моментов, когда его возносили, давали ордена и также когда его преследовали, музыку запрещали, – и параллельно с этим интерес прессы постоянно менялся – то его одолевали журналисты, то предавали забвению – имя его и музыку его. В такие моменты политического признания его издергивали, буквально на части рвали – он этого очень не любил. Он вообще не любил жить на людях, камерах, газетах – и мать его от этого оберегала. Она все могла – и позаниматься с нами музыкой, и позаниматься математикой, – в общем, отец чувствовал себя защищенным, все мы чувствовали себя защищенными под ее крылом. А уж если сказать о годах страшных преследований в 37-м, 36-м то в эти годы мать сыграла свою роль защитницы, хранителя нашей семьи, дома, отца, дав ему возможность продолжить творить…»

8

Кто мог ожидать, что самый могучий прилив вдохновения подарит Шостаковичу война?

Летом 1941 года дети Шостаковича с няней находились на даче. Их перевезли в город, но об эвакуации даже не думали: никто не верил, что немцы дойдут до Ленинграда. А немцы наступали, казалось, неудержимой лавиной… Началась эвакуация – паническая, спешная, на юг уходили бесконечные змеи поездов: по 50 вагонов в составе! Шостакович от эвакуации отказался.

Сначала он решил, что его долг – идти добровольцем на фронт, защищать родину. Возможно, он пошел бы и погиб, как многие талантливые его ученики, о которых он скорбел до последних своих дней. Но его спасли люди, далекие от музыки, но понимавшие, что Шостаковича надо уберечь, не пустить…

«Вскоре многие студенты Ленинградской консерватории добровольцами ушли на фронт. В начале войны – 22 или 23 июня – я подал заявление о приеме меня добровольцем в Красную Армию. Мне сказали, чтобы я подождал. Второй раз я подал заявление сразу же после речи товарища Сталина, в которой он говорил о народном ополчении. Мне было сказано: мы вас примем, а пока идите и работайте там, где работаете. Я работал в консерватории. В третий раз я пошел в народное ополчение, потому что думал, что обо мне забыли. В народное ополчение было подано очень много заявлений. Например, подал заявление профессор Николаев, которому уже было 70 лет. Я был зачислен заведующим музыкальной частью в театр народного ополчения. Заведовать музыкальной частью в театре было трудно, потому что она состояла только из баянов. Я снова стал проситься в Красную Армию. Меня принял комиссар. Выслушав мой рапорт, он сказал, что взять меня в армию очень трудно. Он выразил уверенность, что я должен ограничить свою деятельность писанием музыки».

И Шостакович писал. Уже в первые дни войны им были написаны десятки песен и романсов для фронтовых бригад.

И Седьмая симфония уже звучала, гремела в его душе…

«Я начал писать партитуру в первые дни Отечественной войны, а как писал – сказать сложно. Я работал в то время в консерватории и взял на себя обязанности пожарного. Я нес службу на крыше, а между налетами, в интервалах, писал мою партитуру. Я не мог оторваться от нее и все время писал, писал и писал. И таким образом я вовремя ее закончил. Это была моя самая захватывающая работа».

Началась блокада Ленинграда. Город обстреливали.

«Я был отчислен из театра народного ополчения, и меня, вопреки моей воле, хотели эвакуировать из Ленинграда. Я считал, что в Ленинграде я был бы гораздо полезнее. Об этом у меня был серьезный разговор с руководителями ленинградских организаций. Они сказали, что я должен уехать, но я не спешил уезжать из города, где царило боевое настроение. Домашние хозяйки, дети, старики вели себя мужественно. Я всю жизнь буду помнить ленинградских женщин, которые самоотверженно боролись с зажигательными бомбами и вообще проявляли героизм во всем. Женщины Ленинграда вели себя замечательно».

Подчас после отбоя воздушной тревоги Шостакович шел гулять и забредал далеко, глядя на опустевший Летний сад, на укрытого мешками с песком и деревянной обшивкой Медного всадника. «Иногда основательно удалялся от дома, забывая, что нахожусь в осажденном городе… с болью и гордостью смотрел я на любимый город. А он стоял, опаленный пожарами, закаленный в боях, испытавший глубокие страдания войны, и был еще более прекрасен в своем суровом величии. Возвращался обуреваемый страстным желанием скорее внести свой ощутимый вклад в борьбу…»

Его борьбой была музыка. 25 сентября 1941 года Дмитрий Дмитриевич отпраздновал свое 35-летие. В этот день он особенно много и вдохновенно работал…

А 1 октября его с женой и детьми все же заставили эвакуироваться. Транспортным самолетом, дважды пересекавшим линию фронта, вывезли в Москву.

Столицу тоже бомбили. И немцы подступали все ближе. 15 октября Шостаковичей эвакуировали в Куйбышев. Самой большой драгоценностью, которую он увозил, была незаконченная партитура Седьмой симфонии. Сначала эвакуированных поселили в школе – множество народу в одном большом классе, что для Шостаковича, остро нуждавшегося в уединении, было невыносимо. Потом композитору с семьей выделили комнату. Но дети шумели, мешали, писать он не мог. Мучила тревога за оставшихся в Ленинграде родных: мать, сестру, племянника, родственников Нины. Приходившие оттуда письма убивали всякую надежду. Наконец Шостакович получил дополнительную комнату… И смог закончить Седьмую симфонию.

9

Премьера состоялась в Куйбышеве 5 марта 1942 года. Успех? Нет, это было нечто большее, чем успех. Все, кто исполнял и слушал Седьмую симфонию, с первых аккордов понимали, что перед ними нечто абсолютно великое, превыше всего, что играли они прежде, сравнимое с «Реквиемом» Моцарта и «Аллегро с огнем» Бетховена.

29 марта Седьмую симфонию играли в Москве, в Колонном зале Дома Союзов.

Партитура симфонии на катушках фотопленки была выслана через Ташкент, Ашхабад, Иран, Ирак, Египет – в Лондон. Иностранные дирижеры соперничали за право исполнить симфонию Шостаковича.

Седьмую симфонию исполнили в концертном зале «Радио-сити» в Нью-Йорке. «Эта музыка выражает мощь России так, как никогда не передаст слово», – восхищенно писали американские критики.

Поэт Карл Сэндберг создал стихотворение под названием «Вручите письмо Шостаковичу». В предисловии он написал: «По всей Америке в полдень прошлого воскресенья звучала ваша Седьмая симфония, миллионы слушали ваш музыкальный портрет России, погруженной в кровь и скорбь. Она начинается тишиной плодоносной почвы, полями и долинами, открытыми труду человека. Она продолжается, напоминая, что в дни мира у людей есть надежда поймать своих птиц счастья, чтобы послушать их. Народ России может отступать и терпеть поражения и снова отступать; протянутся долгие годы, но в конце концов он победит».

Дирижер Сергей Кусевицкий, эмигрировавший в США, сказал в интервью: «Чем ночь темней, тем ярче звезды. В эпоху мировой трагедии и разрушений создаются ценности незыблемые, высшего и вечного порядка. В той стране, где вторгшийся варвар несет разрушения, на дымящемся пепелище мирной жизни родилось одно из величайших произведений мирового искусства…»

А 9 августа – именно в этот день Гитлер планировал захватить Ленинград! – состоялась самая важная премьера Седьмой симфонии: ее сыграли в блокадном городе. Чудом уцелевшие музыканты, полумертвые от голода, они играли симфонию борьбы. Играл Ленинградский симфонический оркестр. Дирижировал Карл Элиасберг, исхудавший, похожий на скелет. В списке оркестрантов черным были помечены 27 фамилий умерших, красным – имена живых. Это было уникальное

исполнение. Те, кто слушал его в зале, в финале – встали. Сидеть было невозможно. Его слушали во всех городах у радиорупоров. Слушали в полупустых, полувымерших ленинградских квартирах. Слушали в окопах. Слушали в Нью-Йорке, в Лондоне… Восемьдесят минут абсолютного торжества духовности над варварством и насилием.

25 сентября 1942 года, в день своего 36-летия, Шостакович получил поздравления от Поля Робсона, Леопольда Стоковского, Артуро Тосканини, Чарли Чаплина. Английский журнал «Time» вышел с портретом Шостаковича на обложке: композитор был изображен в каске пожарного, на фоне пылающего города.

Сам же Дмитрий Дмитриевич в это время больше всего беспокоился о том, как прокормить и обустроить родных, которых наконец-то вывезли из Ленинграда, и очень нуждался материально.

10

Сталин счел, что в тяжелые времена стране необходим новый гимн, и объявил конкурс. На 17 ноября 1942 года было назначено прослушивание участников. Сначала сыграли гимны разных стран, «Марсельезу», «Интернационал» – в качестве образцов. Потом начали играть гимны претендентов. Шостакович тогда сказал Хачатуряну: «Хорошо бы мой гимн приняли. Была бы гарантия, что не посадят».

Слушала комиссия во главе со Сталиным, и вердикт вынес сам вождь: «Шостаковича гимн хорош, и Хачатуряна гимн хорош. Теперь объединитесь и сочините вместе – тогда будет совсем хороший гимн». Работать вместе они не могли, но раз приказал сам Сталин – пришлось разделить, кто пишет куплет, кто – припев.

Вернувшись после мирной конференции в Тегеране и заново прослушав все предложенные на конкурс гимны, Сталин остановил свой выбор на творении Александрова.

Шостаковичу Сталин сказал: «Ваша музыка очень хороша, но что поделать, песня Александрова более подходит для гимна по своему торжественному звучанию».

Потом обратился к своему окружению: «Я полагаю, что следует принять музыку Александрова, а Шостаковича… поблагодарить».

А дальше разыгралась сцена дикая, невозможная в те времена тотального ужаса, и тем более – невозможная в присутствии самого вождя… Сцена, которая как ничто другое доказывает уникальную порядочность и благородство Шостаковича, который даже перед лицом самого воплощения террора не мог смолчать и допустить, чтобы совершилась подлость.

Сталин сказал Александрову: «Вот только у вас, профессор, что-то с инструментовкой неладно».

Александров поспешно попытался оправдаться, заявив, что оркестровку, мол, делал не он, а Святослав Николаевич Кнушевицкий – известный виолончелист и педагог, на прослушивании отсутствовавший…

И тут раздался голос Шостаковича, робкого, застенчивого Шостаковича, который перебил Александрова: «Как вам не стыдно, Александр Васильевич! Вы же отлично знаете, что Кнушевицкий инструментует замечательно. Вы несправедливо обвиняете его, да еще за глаза, когда он вам не может ответить. Постыдитесь!»

Воцарилось мертвое молчание. Все ждали реакции Сталина. А

тот, улыбнувшись в усы, чуть растягивая слова, сказал Александрову: «А что, профессор, нехорошо получилось…»

«А ваш общий гимн тоже Кнушевицкий инструментовал?» – спросил Молотов у Шостаковича.

Шостакович, видимо, был уже в шоке от собственной смелости и пробормотал: «Композитор должен инструментовать сам. Композитор должен инструментовать сам…» Он судорожно повторял эту фразу снова и снова.

Когда музыканты ушли, Сталин сказал Молотову: «А этот Шостакович, кажется, приличный человек…»

11

В 1943 году Дмитрий Дмитриевич Шостакович вернулся в Москву. Там ему дали квартиру. Однако Нина Васильевна еще не приехала, а самостоятельно обустроить свой быт композитор не умел. Кора Ландау рассказывала: «Был такой случай, когда он переехал из Ленинграда в Москву, а Нита еще не вернулась из эвакуации. Прошел слух, что Шостакович один и плохо устроен (хотя квартиру ему дали хорошую). Из Союза композиторов приехала комиссия, чтобы проверить эти слухи. На звонок в дверь Митя вышел сам, став на пороге, чтобы не дать войти в квартиру, и стал уверять, что ему ничего не нужно, он благодарит и категорически отказывается от всякой помощи. Члены комиссии были настойчивы и в квартиру вошли: в совершенно пустой квартире стоял рояль со стульчиком, около рояля – газеты вместо постели, на окне – бутылка из-под кефира. Митя был смущен и растерян: начнут устраивать его быт, следовательно, мешать, а ему ведь нужен только рояль!»

Но спокойно работать он смог очень недолго. В 1948 году начались очередные гонения. На Дмитрия Шостаковича, а также на Сергея Прокофьева, Михаила Шебалина, Николая Мясковского, Арама Хачатуряна и Вано Мурадели обрушились с критикой, разоблачая их «антинародную музыку» и обвиняя в «формализме», «буржуазном декадентстве» и «пресмыкательстве перед Западом». От них требовали публичного выступления с раскаянием и осуждением своего творчества. От переживаний Прокофьев тяжело заболел: собственно, от этой болезни он так и не оправился. Шебалина разбил паралич. Мясковский слег с инфарктом. А Шостакович был на грани самоубийства.

Нина Васильевна увезла его в санаторий, надеясь, что удастся его спрятать, что удастся переждать эту бурю… Но – не удалось. В окна Шостаковича летели камни: «народ» выражал отношение к композитору, объявленному антинародным. Семья оказалась словно в осаде. Даже дети чувствовали, что происходит нечто кошмарное.

Максим Шостакович позже писал: «Я помню тот бастион, который мать сумела создать, потому что терзали, конечно, отца ужасно. И она сумела выстроить стену между внешним миром, который оголтело рвал на части отца, и семьей, – и мы, дети, очень хорошо понимали это, знали, что на нас лежит очень большая ответственность. Что стоит только нам сделать что-то не так, это может немедленно быть против отца, поэтому мы вели себя тише воды ниже травы».

Галина Шостакович вспоминала: «Очень хорошо помню, как он переживал постановление 1948 года – ходил по комнате по диагонали и непрерывно курил. С мамой они почти не разговаривают. Мы с Максимом тоже молчим. Мне почти двенадцать, Максиму – десять. Это – зима сорок восьмого года. Это было нервное время, более того, отец приказал, чтобы нас приводили из школы. Максим уже учился в музыкальной школе, где это постановление проходили. И ему разрешили не ходить недели две, чтобы его не терзали – там ведь тоже преподаватели хотят задать какой-нибудь вопросик.

Мы знали, что во всех газетах превозносят „историческое постановление Центрального Комитета партии", а музыку Шостаковича и прочих „формалистов" ругают».

Приближался Съезд советских композиторов. Бывшие ученики и многие друзья советовали Шостаковичу все-таки выступить с раскаянием. Они боялись, что в противном случае его просто уничтожат. Они не понимали, что уничтожить его может унижение, которое ему придется пережить.

И все-таки Шостаковичу пришлось выступить. Единственному из всех «формалистов»: остальные по разным уважительным причинам не явились. Дмитрий Дмитриевич прочел по бумажке то, что ему приказали… Потом всю жизнь корчился в муках стыда за этот эпизод: «Тогда, в 1948 году, велели нам, „формалистам", выступить с самокритикой на собрании в Союзе композиторов. Объявляют мою фамилию, что буду говорить – понятия не имею, знаю, что необходимо каяться – отговорюсь как-нибудь. Иду из зала к трибуне, по дороге (знаете, там справа лесенка и загородка) ловит меня за рукав, сует мне бумагу: „Возьмите, пожалуйста…" Сначала я не понял, в чем дело, он объясняет шепотком, этак ласково, снисходительно, покровительственно: „Тут все написано, зачитайте, Дмитрий Дмитриевич". Вылез я на трибуну, стал читать вслух кем-то состряпанный глупый бред. Да, читал, унижался, читал эту якобы „свою" речь, как последнее ничтожество, совершенно как паяц, петрушка, кукла на веревочке!!!»

Зато он уцелел. И семья уцелела.

Чтобы поддержать композитора, Анна Ахматова посвятила ему стихотворение «Музыка». Оно датируется 1958 годом, но многие утверждают, что написано было десятью годами раньше…

В ней что-то чудотворное горит,
И на глазах ее края гранятся.
Она одна со мною говорит,
Когда другие подойти боятся.

Когда последний друг отвел глаза,
Она была со мной в моей могиле
И пела словно первая гроза
Иль будто все цветы заговорили.

В 1949 году Шостакович написал кантату «Песнь о лесах». Она была создана в том патетическом «большом народном стиле», которого от всех «формалистов», собственно, и требовали. В 1950 его даже выпустили за границу: он был членом жюри на Конкурсе имени Баха в Лейпциге. Его все чаще отпускали в заграничные турне… Его снова хвалили в прессе.

12

В 1954 году произошла трагедия. Скоропостижно скончалась Нина Васильевна Шостакович. Ей было только 43 года.

Каждый год летом она ездила в Армению, где в лаборатории на горе Арагац изучала природу космических лучей под руководством Артема Исааковича Алиханьяна. Кора Ландау утверждала, будто Алиханьян был влюблен в Нину Васильевну и Шостакович ревновал к нему. Она вспоминала: «Приближалось время очередной экспедиции, Митя стал серьезно возражать против поездки Ниты: в последнее время она стала сильно терять в весе, талия стала совсем девичьей. Нита согласилась лечь в больницу на обследование. Две недели длилось обследование в кремлевской больнице. Врачи уверили Митю, что его жена совершенно здорова. Перед отъездом Нита и Артюша зашли к нам. Нита помолодела и была жизнерадостна. В Москве наступала зима, а в Ереване стояла золотая осень, такая щедрая на вкуснейшие плоды. Это время года Нита привыкла проводить в Ереване. В ту роковую для Ниты осень там были Вертинский, Утесов и многие другие. Когда экспедиция Алиханьяна спускалась с Алагеза, интеллигенция Еревана отмечала это событие банкетами вместе с артистами. Жена знаменитого композитора и Алиханьян были всегда в числе звезд. Едва под утро закончился банкет, Нита попала на операционный стол. Непроходимость кишечника, срочная, безотлагательная операция. Оперировали лучшие хирурги Армении. Непроходимость устранили, но потревожили злокачественную опухоль сигмовидной кишки. Это место в кишечнике – белое пятно для рентгена. Ведь несколько месяцев назад Нита прошла полное обследование, и опухоль не была обнаружена. Уложив Ниту на операционный стол, Артюша помчался телеграфировать Мите. Шостакович с сыном мгновенно прилетели в Ереван. А Нита через два часа после операции пришла в сознание, сказала: „Какое счастье, что операция уже позади", – улыбнулась, закрыла глаза и умерла. Легко, спокойно, как уснула».

Дмитрий Дмитриевич был в Консерватории на концерте. В антракте после первого отделения к нему подошли и сообщили, что его жена в Ереване попала в больницу и находится в очень тяжелом состоянии. Он вылетел в Ереван… А вернулся с цинковым гробом. В Москве шел мокрый снег. Гроб поставили в квартире Шостаковичей. Сквозь стеклянное окошко была видна голова Нины Васильевны, чуть повернутая набок. Дмитрий Дмитриевич не отрываясь смотрел на нее и несколько раз

произнес: «Какая она хорошенькая!»

Кто-то из пришедших попрощаться говорил, что неудачно поставили диагноз, неудачно прооперировали, обвинял врачей… Шостакович возмутился: «Как же так можно говорить?!. Ведь смерть… Зачем же вы так?… Ведь смерть… Разве можно кого-нибудь винить, если смерть…» Через комнату с гробом шли и шли люди, а Дмитрий Дмитриевич сидел на диване и плакал, не скрывая слез.

Хоронили на Новодевичьем кладбище. «Вот и мне здесь есть местечко. И мне тоже», – бормотал Шостакович. Стоял лютый мороз. Вдовец предложил не произносить никаких речей, просто почтить память молчанием… А потом сказал: «Холодно очень. Очень холодно. Давайте разойдемся…»

Смерть жены едва не сокрушила весь мир Дмитрия Дмитриевича. Он просто не умел без нее жить – как в духовном плане, так и в материальном. «Он чувствовал себя защищенным под ее крылом», – писал много лет спустя его сын Максим. А одной из подруг жены композитор признался: «Знаете, по моему характеру я совершенно неспособен к связям. Мне нужно, чтобы женщина, жена, жила со мной, была рядом».

13

Шостакович женился еще дважды.

Второй его брак поверг в недоумение всех. Маргарита Андреевна Кайанова казалась совершенно неподходящей спутницей для композитора: работник ЦК ВЛКСМ, человек, далекий от музыки. «Она добрая женщина и, надеюсь, будет хорошей женой и матерью детям», – написал Дмитрий Дмитриевич в июле 1956 года, вскоре после того, как расписался с Кайановой. Он говорил, что очень тяжело переносил одиночество… Но семьи не получилось. Знакомые считали, что Маргарита Андреевна просто не понимает, чем ее муж заслужил свою всемирную славу, не понимает ценности его искусства. Кроме того, Кайанова не скрывала своего антисемитизма и корила Шостаковича за то, что у него половина друзей – евреи, что он принимает их у себя в гостях, а это же опасно… Шостакович ненавидел антисемитизм! Только природная кротость мешала ему взорваться, обрушить на жену свой гнев, хотя все окружающие ожидали, что рано или поздно этим кончится. Прожили вместе они недолго, в семейном архиве Шостаковичей даже не сохранилось ее фотографии. Зато Маргарита Андреевна, как говорили, выйдя замуж снова, держала на видном месте портрет Шостаковича. Возможно, из гордости, что была женой знаменитого композитора. После развода Шостакович купил ей квартиру и вообще оставил ее полностью обеспеченной.

Где-то примерно в этот период Дмитрий Дмитриевич случайно встретился на Арбате со своей первой любовью: Татьяна Гливенко, сильно располневшая и постаревшая, приехала в центр за покупками. Шостакович был уже великим композитором, вдовцом, отцом двоих детей. Единственный сын Татьяны Ивановны погиб от удара молнии, муж умер, и она жила у невестки, в квартире на окраине Москвы, помогая по хозяйству. Жизнь очень далеко развела бывших влюбленных… Но им было что вспомнить, и они несколько раз встречались, чтобы поговорить о прошлом. Однако прежней близости между ними уже возникнуть не могло.

А в третий раз он женился в 1962 году. Ему было 56 лет. Его избраннице, Ирине Антоновне Супинской, – 27.

2 июня 1962 года Шостакович писал другу: «Я женился! Мне хочется приехать в Ленинград и показать тебе мою избранницу. Это надо было, конечно, сделать до женитьбы, но все хорошо. Я, кажется, счастлив. Ирина очень смущается, встречаясь с моими

друзьями. Она очень молода и скромна. Она служит лит. редактором в издательстве „Советский композитор”. С 9 до 17 она сидит на службе. Она близорука. „Р” и „л” не выговаривает. Отец ее поляк, мать еврейка. В живых их нет. Отец пострадал от культа личности и нарушения революционной законности. Мать умерла. Воспитывала ее тетка со стороны матери, которая и приглашает нас к себе под Рязань. Как называется это место под Рязанью, я забыл. Родом она из Ленинграда. Вот краткие о ней сведения Была она и в дет. доме и в спец. дет. доме. В общем, девушка с прошлым».

…Предшествовало этому назначение Шостаковича в 1957 году на пост председателя Союза композиторов и вступление в партию. Ни того ни другого он не хотел, его практически заставили – как самого знаменитого из живущих, самого известного за рубежом композитора. На нервной почве у него начала развиваться болезнь, поначалу врачам казавшаяся загадочной: немела правая рука. Постепенно онемение и слабость стали распространяться по всему телу. Шостакович неоднократно ложился в больницу, но помочь ему не могли. А болезнь мешала его творчеству. И необходимость присутствовать на заседаниях Союза композиторов тоже мешала. В общем, когда Дмитрий Дмитриевич и Ирина Антоновна поженились, мало кто сплетничал – дескать, молодая и бойкая окрутила знаменитого старца. Больше сочувствовали: «Ведь Митя – совсем развалина, а она – молодая женщина, все взяла на себя».

Знакомы они были до свадьбы около шести лет, но сугубо по работе. Ирина относилась к Шостаковичу с восторженным трепетом, а когда он заболел, попал в больницу – навещала, пыталась поддержать. Поддержка переросла в дружбу, дружба – в любовь. «Я уж даже не помню, как все это было. Но, во всяком случае, Дмитрий Дмитриевич был человек старого воспитания. Он сделал мне предложение, потом представил своим друзьям, познакомил, послесвадебные визиты мы делали. Ну, так и стали жить-поживать», – вспоминала Ирина Антоновна.

14

К 60-летию Шостаковича в Ленинграде открыли фестиваль «Белые ночи». Газеты пестрели заголовками: «Замечательный музыкант», «Пламенный патриот».

«Раньше все как один не понимали и возмущались. Теперь все как один понимают и восторгаются. Было некритическое подражание западному декадентству, стало сознательное следование русскому реализму. Раньше – неврастения, теперь – здоровье. Прежде – антинародное, нынче – народное. Сперва „у Шенберга", потом – „у Мусоргского". Но существо в том, что все это „масштабное", „государственное" переменило оценку к нему, а он свою оценку не изменил», – писал в те дни один из друзей Шостаковича.

Состояние здоровья композитора ухудшалось: «Я совсем беспомощен в бытовых делах. Я не могу самостоятельно одеваться, мыться и т. п. В моем мозгу будто испортилась какая-то пружина, после 15-й симфонии я не сочинил ни одной ноты. Это для меня ужасное обстоятельство».

Летом 1973 года Шостаковичу разрешили уехать для обследования и лечения в США. Но и американские врачи были бессильны. После консилиума они пригласили Ирину Антоновну и сказали: «В этой стране нет средств, чтобы помочь вашему мужу. Как вы хотите, чтобы мы ему об этом сказали?» Она ответила: «Скажите правду, но все-таки не лишайте его надежды». Однако Шостакович все понял. Для него это был приговор: он больше не мог писать – значит, он больше не сможет записывать музыку… Но все же он пытался: поддерживая левой рукой бессильную правую. Быстро уставал, но как только чувствовал, что снова может сесть к столу, – снова брался за перо. Музыка еще жила в его душе. Но тело подводило, препятствовало тому, чтобы вывести музыку из души – в мир… Жена помогала ему как могла. Буквально водила под руки: «Осторожно, Митя, здесь ступенька вниз… А здесь ступенька вверх…»

В декабре 1973 года у Шостаковича в левом легком обнаружили опухоль. Это был рак, это была неизбежная смерть… От него снова пытались скрыть тяжесть его положения, но он конечно же опять все понял. Он был уже так слаб, что пальцы не удерживали перо. Он больше не мог читать ноты: быстро уставали глаза. Все чаще случались приступы удушья.

Когда Шостаковичу предложили госпитализацию, он предположил, что из больницы уже не выйдет. Попросил отвезти его к дому, где жил когда-то подростком и писал свою Первую

симфонию. Потом захотел проехаться по городу, попрощаться с любимыми местами…

4 июля 1975 года Дмитрий Дмитриевич лег в больницу. У него оставалась незаконченной Альтовая соната. Кажется, именно она удержала его на краю небытия – в тот раз… Из больницы Шостакович вышел, чтобы закончить Альтовую… Вернулся в палату 6 августа. 9 августа в 18.30 он скончался.

Сохранились наброски речи композитора Георгия Свиридова, подготовленной им для гражданской панихиды по Шостаковичу: «Музыка его остается здесь, на земле. Его музыка звучит повсюду. Можно сказать, что воздух над землей постоянно заполнен звуками его музыки. Мягкий, уступчивый, нерешительный подчас в бытовых делах – этот человек в главном своем, в сокровенной сущности своей был тверд как кремень. Его целеустремленность была ни с чем не сравнима. Этот человек знал, что он делал, и понимал, кто он такой».

…В Антарктиде именем Дмитрия Шостаковича назвали полуостров. Он соседствует с ледником Игоря Стравинского и шельфовым ледником Иоганна Себастьяна Баха.

Валентина Серова и Константин Симонов: «Страшная и удивительная жизнь…»

Валентина Серова и Константин Симонов

...

– Симонов Константин (Кирилл) Михайлович (15 [28] ноября 1915 года, Петроград, Российская империя – 28 августа 1979 года, Москва, СССР) – журналист, поэт, драматург.

– Серова (в девичестве Половикова) Валентина Васильевна (10 февраля 1919 года, Харьков, Украина – 11 декабря 1975 года, Москва, СССР) – актриса театра и кино, «звезда эпохи».

– Он – яркая личность, рациональный и романтичный одновременно, упрямый, несгибаемый.

– Она – страстная, пылкая, мятущаяся, непостоянная, взбалмошная, нежная и пленительная женщина.

– Он для нее – второй муж. Она для него – третья жена.

– Вместе с 1939 года. Поженились в 1942 году.

– Общий ребенок – дочь Мария.

– Константин был влюблен, Валентина принимала его любовь. Он долго добивался, она не сразу сдалась. Она не считала нужным хранить верность, он терпел. Он писал ей дивной красоты стихи и письма… Но именно он в 1957 году ее оставил, окончательно разочаровавшись в своем чувстве и утомившись от жизни с ней.

Какой они были парой!

Одной из самых ярких и самых «звездных» среди советского истеблишмента.

Валентина Серова – «звезда эпохи», популярнейшая актриса, красавица, блондинка с самыми голубыми глазами и самыми длинными ногами в кинематографе того времени.

И Константин Симонов – молодой и талантливый драматург, поэт, отважный военный журналист, прошедший сквозь огонь, пронесший сквозь все годы войны свою любовь к единственной женщине… К той, которой он написал самое знаменитое военное стихотворение – «Жди меня»:

Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: – Повезло.
Не понять не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, —
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

На самом деле – она не умела и не хотела ждать. По крайней мере, ждать его. Других – да. Тех, кого любила.

На самом деле она так долго не могла его полюбить, что он почти отчаялся… А когда полюбила – было уже поздно.

И не умела она любить его так, как ему было надо. И даже когда стала его женой – не смогла воплотить его мечту о доме, о жене, о семье… Не смогла стать – правильной женой. Надежным тылом.

И всегда вокруг них вились злобные сплетни: Валентина – изменяет, Валентина – пьет. Константин готов был противостоять сплетням, как клевете – «Всем смертям назло». Но в конце концов даже его любовь не выдержала бесконечных испытаний.

История любви Константина Симонова и Валентины Серовой – история о том, что не всегда любовь побеждает. Иногда – проигрывает. Даже если это великая любовь.

Вместе с тем их история – о том, что великая любовь бессмертна. Ее не убить изменами, болью, разочарованием. Она останется сама по себе – тлеть среди осколков разбитого сердца. И если полюбил, ты уже не узнаешь покоя. И если

тебя полюбили великой любовью, ты уже не освободишься от ее пут… Как бы кому из двоих – и даже обоим вместе – этого не хотелось.

1

С датой рождения Валентины Серовой и информацией о ее детстве до сих пор путаница: самые почтенные источники называют весьма разные даты и самые разные подробности. Но наверное, лучший источник – ее родная дочь Мария Симонова, которая рассказывала:

«Валя Половикова, моя будущая мама, родилась 10 февраля 1919 года в Харькове. Ее мать, Клавдия Половикова, урожденная Диденко, – актриса.

Отец, Василий Половиков, хотя правильнее – Половьш, был инженером-гидрологом. Родители Вали рано развелись, ей было года три, наверное. Валя до школы воспитывалась обожавшими ее бабкой и дедом Половьшами. Жила на хуторе Пасуньки у деревни Валки. Выговаривался этот адрес скороговоркой: „Валкипасунькибобыркинавульца". Потом мать забрала Валю в Москву. Русский сразу пришлось выучить хорошо, потому что жестоко дразнились ребята. Вечерами просиживала у матери в театре. Вся закулисная театральная жизнь была перед глазами. В театре было куда интереснее, чем в школе, где „неуды" схватывались часто и как-то неожиданно.

Жили они с матерью и двумя тетками в Лиховом переулке, в коммуналке, в одной комнате. У Вали была раскладушка за занавеской.

Несмотря на то что деньги она зарабатывала наравне с матерью – лет в десять она впервые вышла на сцену Студии Малого театра на Сретенке в спектакле „Настанет время" по драме Р. Роллана, – ее серьезно наказывали за двойки и непослушание. Клавдия Михайловна рассыпала в углу горох и ставила Валентину на колени, пока прощения не попросит. А она не просила. От боли и обиды не плакала, а только плевалась в этот угол.

Я однажды попробовала постоять на горохе на коленках – не получилось и минуты.

Валя так хотела стать артисткой, что в четырнадцать лет решила поступить учиться в театральный техникум. Но туда принимали только с шестнадцати! Тогда она подчистила метрику, исправив свой год рождения на 1917.

С тех пор с датами в ее личной и творческой биографии сплошная неразбериха. Я отмечаю обе эти даты – и день ее появления на свет Божий, и день рождения актрисы.

Творческая жизнь Вали Половиковой развивалась бурно. В кино она впервые снялась в 1934 году в фильме „Соловей-

Соловушка”. Сыграла Груню Корнакову в детстве. Впоследствии, правда, в связи с переработкой сценария эпизод в фильм не вошел. Год проучившись в техникуме, она была приглашена в Театр рабочей молодежи – ТРАМ и с успехом сыграла первую же свою роль – Любови Гордеевны в пьесе Островского „Бедность не порок”. Она увлеклась литературой, заучивая стихи, поэмы, понравившуюся прозу – для себя. В ТРАМе работалось весело – молодые ребята, многие совмещали сцену с работой на фабриках, заводах. Все в театре делали все сами и с удовольствием – красили, мыли, шили костюмы и строили декорации, шефствовали над пионерлагерем. От той поры у мамы осталась песенка „Наша милая картошка-тошка-тошка-тошка, пионеров идеал-ал-ал…” Она ее часто напевала или насвистывала».

Отца Валентина не знала. Потому что мать с ним рассталась, когда она сама была еще совсем малышкой. И потому, что его арестовали, а после он не посмел прийти к бывшей жене и к дочери: боялся испортить им жизнь. Предпочел считаться исчезнувшим или мертвым… Он появится рядом с Валентиной много позже. Тогда, когда он будет по-настоящему ей нужен.

2

В историю кинематографа Валентина Половикова вошла под фамилией своего первого мужа Анатолия Серова. Прожила с ним год. Ровно год… Анатолий погиб.

Мария Симонова рассказывала: «Когда ей было девятнадцать, она встретилась с летчиком, героем войны в Испании Анатолием Серовым. Буквально за два дня было решено – женимся! 11 мая 1938 года они расписались и прожили светло и счастливо ровно год – 11 мая 1939 года Серов, испытывая самолет, погиб. В сентябре родился желанный сын. Большой, кричащий басом мальчишка, о котором они мечтали, был назван в честь отца Толей. Фатальное в жизни Серовой число 11. Я родилась спустя 11 лет, 11 мая 1950 года. И каждый мой день рождения, сколько я себя помню, начинался с того, что мы с мамой утром к девяти часам шли на Красную площадь, к Кремлевской стене. Там захоронен прах Анатолия Константиновича. Мы шли к Кремлевской стене первым делом, несмотря на то что для меня это был день рождения, а для него – день гибели… Несмотря на то что Серов был отцом не моим, а моего старшего брата Толи. И я точно знаю, что в этом желании мамы привести меня на могилу своего первого мужа никакой воспитательной ошибки не было. Она словно стягивала концы причудливой кривой, которую выписала ее судьба, в точку этого дня».

Анатолий называл Валентину ласково и странно: Лапарузка. Говорил, что ее голубые глаза напоминают ему чистейшую воду пролива Лаперуза, какой она видится с высоты птичьего полета. Иногда менял собственное же придуманное прозвище на «лапа моя русая» или просто «лапа».

Ухаживание было стремительное, брак – скорый, но – по безумной любви. Устраивать свадеб в те времена было не принято, большинство даже и не расписывались… Валентине же хотелось красивой свадьбы. И она ее получила. Правда, не совсем настоящую.

Композитор Никита Богословский рассказывал об этом странном торжестве:

«Наша творческая группа (фильм „Истребители”), приехавшая в Ленинград на премьеру фильма, объединившись с четой Серовых (они проводили там медовый месяц), весело обедала на открытой площадке ресторана „Крыша” в „Европейской” гостинице, где мы все тогда жили. И тут Валя Половикова (пардон, тогда уже Серова) посетовала на то, что красивый и торжественный ритуал церковного брака ушел далеко в прошлое,

а скучная и формальная канцелярская регистрация в загсе наводит только уныние и не останется в памяти как событие в семейной жизни. А о том, чтобы закрепить им лично брачный союз в церкви, и речи быть не может: Толя – член партии, и если узнают (вспомните те времена), то и не посмотрят на его геройство, и крупные неприятности обеспечены.

И тогда я предложил молодоженам „имитацию" церковного брака – театрализованный вариант обряда. Всей компанией спустились ко мне в номер, послали горничную за цветами, заказали в ресторане шампанское. Невеста переоделась в белое, увы, не подвенечное, платье, жених надел парадный полковничий (тогда еще не генеральский) мундир, из раздобытой в гостиничной аптечке марли соорудили фату, кольца накрутили из золотой бумаги и шоколадных оберток. В шафера выдвинули Бориса Смирнова и Михаила Якушина, из цветной бумаги вырезали короны. А на роль „мальчика с образом" (без учета его весьма высокого роста) был назначен писатель Борис Ласкин, вместо иконы державший большой портрет Николая Крючкова.

Я же, взяв на себя функции священника, облачился в белое кроватное покрывало, а на голову пристроил подушку, имитирующую клобук. Нет, это не было богохульство. Мы искренне хотели поздравить друзей, по-своему воссоздав то, что в действительности было для нас нереальным.

В ходе ритуала новобрачные встали на колени, и я дал им поцеловать гостиничный ключ от номера – в „Европейской" они до последнего времени были тяжелыми, с массивной плоской позолоченной шляпкой и выгравированным на ней номером комнаты. После обмена „кольцами" я произнес короткое и трогательное напутствие с пожеланиями семейного счастья до конца дней (счастье, увы, продолжалось недолго – вскоре Толя трагически погиб).

После церемонии состоялся веселый свадебный пир с настолько громкими криками „горько" и нестройным пением „Любимого города", что живший в соседнем номере московский гастролер, знаменитый бас Большого театра М. Д. Михайлов после неоднократных яростных стуков в стенку явился в номер с весьма решительным намерением, но довольно быстро сменил гнев на милость и даже поздравил новобрачных исполнением бетховенской „Застольной", чем вызвал раздраженные стуки в противоположную стенку номера – там жили какие-то иностранные туристы…»

Они были молоды, им хотелось романтики, и Анатолий делал все, чтобы Валентина ежедневно, ежечасно чувствовала его любовь. Вырывался на встречи, когда мог. Брал ее с собой в

кабину самолета – полетать. Развлекал. Баловал.

Биограф Серовой Наталья Пушнова писала: «С июня Серов снял на все лето дачный домик в Архангельском. Каждый день с друзьями уезжал в Тушино на тренировки, готовился к показательным полетам, предстоящим в День авиации – 18 августа. У Вали жизнь закипела как никогда. Она снималась на киностудии в фильме „Девушка с характером", играла в театре, репетировала. Когда день выдавался посвободнее, Лапарузка ждала свою птицу счастья на даче, в Архангельском.

Это были своеобразные свидания. В полдень раздавался сначала далекий, а затем перекрывающий все звуки шум, и маленькая эскадрилья из пяти самолетов, знаменитая пятерка Серова с диким гулом и ревом приближалась к поселку. Соседи в ужасе разбегались, а самолеты все разом как один устремлялись с высоты в пике, затем поднимались ввысь и показывали каскад виртуозных пилотажных фигур. Истребители кружили низко над домом, сбрасывали цветы, взмывали вверх, и Серов чертил в голубом небе белые слова „ЛЮБЛЮ", „ВАЛЯ", „ЛАПА", а затем самолеты разворачивались и мгновенно пропадали за горизонтом. А белые послания медленно таяли, превращаясь в маленькие облака…»

Пить Валентина, скорее всего, начала, когда жила с Анатолием Серовым. Она его безумно любила и очень за него тревожилась. А он занимался делом почетным, романтическим и очень опасным: испытывал самолеты. При этом было у них все: и роскошь – личный автомобиль, шальные по тем временам деньги, и сначала жили в гостинице «Москва», где у Анатолия был личный номер, а потом им дали роскошную квартиру в Лубянском проезде (позже его переименуют в улицу Анатолия Серова), со всей обстановкой, – и вряд ли для счастливых молодых имело значение, что квартиру прежде занимали маршал Егоров с супругой и что обстановка принадлежала им. Тогда на подобные «мелочи» не обращали внимания. Был и всеобщий почет, и внимание со стороны самого Сталина, ведь Серов был одним из его «соколов». Была дача. Не было только покоя.

Из воспоминаний Агнии Константиновны Серовой, сестры Анатолия:

«Я встречалась с Валентиной в их доме на проезде Серова, 17. Утром придешь, Толи нет, а она по телефону с кем-нибудь болтает и всех своих коллег-артистов ругает последними словами. Вообще-то она выпивала уже. Но – понемногу. Привычка еще до свадьбы, наверное, возникла. Ну, все выпивали. И Толя, конечно. Особенно на всевозможных встречах. Серьезно началось у нее это после смерти Толи. А тогда, когда они были вместе,

приедешь к ним, а в гостиной на столе и в кабинете у Толи пригласительные билеты – в Дом кино, в Дом литераторов, в Клуб мастеров искусств. Бери любой билет. Я приезжала иногда на субботу-воскресенье из Чкаловской.

С утра Валя еще в неглиже.

– Несса, пойди купи рислинг. Вот тебе двадцать пять рублей.

Это в доме было принято. А так я брала любой билет и ехала на вечер в какой-нибудь клуб. Приезжала одна, и везде – почет и уважение. Одной, конечно, страшно, но что я – учителек, своих подружек возьму с собой? Я же приезжала к Толе в дом, с ночевкой. Когда Анатолий был жив, я в театр ходила, к Вале. Она играла в спектаклях „Наш общий друг", „Бедность не порок", „Дворянское гнездо". Я все это смотрела. Валя была замечательной актрисой в молодости, это правда.

Когда Анатолий на ней женился, начался такой счастливый для нее период. А до свадьбы, до знакомства с ним, говорили, она себя так вела!

Мы не были с ней задушевными подругами. Она всегда занята, ни минуты свободной, то театр, то съемки. Я ночевала у них, но никогда не знала, придут они вечером или под утро. Мне кажется, Валя зазналась тогда. Муж у нее такой большой человек, она такая актриса, а мы с сестрой Надей – что? Учительницы.

Любовь у них с Толей была безумная. Он очень ее любил, это очевидно. И она, конечно, его любила. Но и ругались тоже. Я слышала. Но милые бранятся – только тешатся. Да и когда им было ругаться за год-то, господи! Он очень скучал без нее, если она уезжала, действительно. Но и самого его никогда дома не бывало. Он обедать прилетал. Входит в дверь, та-та-та, смеется, рассказывает, что там у них, поест и обратно, на службу. Он – как огонь, везде, во всем. Раз, раз, все быстро, поцелует – и нет его. Вспоминаю эпизоды такие, короткие. Жизнь у них была веселая.

Однажды мы гостили у них вместе с сестрой Надей, она в Пермском пединституте на биологическом факультете училась, приехала на каникулы. И мы все вместе пошли на вечер. Я с Толей танцевала, он так танцевал! Ну с ним будто на волнах плывешь. Он очень добрый был к нам, сестрам. А Вальку на руках носил! И без конца – банкеты, встречи, проводы. Все пили – то за Толю, то за Валю, вот она понемногу и спивалась».

После гибели Анатолия Серова Валентина жила только будущим. То есть сыном.

И творчеством.

На экраны вышли «Девушка с характером» и «Весенний поток». Она прославилась – уже как актриса, а не как вдова героя.

ТРАМ был преобразован в Театр Ленинского комсомола.

Серова была задействована во всех заметных спектаклях. Первым серьезным сценическим успехом стала роль Павлы в пьесе Горького «Зыковы». Валентина говорила об этом спектакле: «Быть может, я так люблю „Зыковых” потому, что в дальнейшем мне выпало сыграть целую галерею молодых современных девушек разных сословий, но одного возраста, девушек, наделенных бездной качеств: честных, умных и добрых, но… „голубых” до чистой голубизны безоблачного неба и лишенных как живых человеческих характеров, так и каких-либо недостатков. Все эти девушки честно мыслят и поступают, взволнованно и высокопарно говорят, а препятствий у них нет, как нет и поля для борьбы, как нет искушений…»

В 1939 году на сцене в спектакле «Зыковы» Валентину Серову увидел Константин Симонов: молодой талантливый журналист, поэт, корреспондент армейской газеты, прославившийся своими репортажами о боях с японцами на реке Халхин-Гол.

3

Константин Михайлович Симонов родился 15 ноября 1915 года в Петрограде. В дворянской семье. При рождении его крестили Кириллом. Но вот беда: мальчик так и не научился выговаривать буквы «р» и «л». И, будучи самолюбивым, сменил имя – непроизносимое для него Кирилл на Константин. Чего, кстати, ему так никогда и не простила мать.

Серову Симонов всю жизнь называл «Васька». Потому что не мог выговорить «Валька».

Из-за этой картавости, из-за смуглой кожи и чего-то восточного, что было в облике Симонова, о нем ходили слухи, будто на самом деле настоящим отцом Константина Михайловича был еврей, соблазнивший его благородную матушку… Маловероятно. О своем отце Симонов предпочитал не писать в анкетах еще тогда, когда в еврейском происхождении не видели ничего страшного, зато иметь отца – дворянина, офицера царской армии, погибшего то ли в Первую мировую, то ли в Гражданскую, причем на стороне белых, – вот это было опасно. И Симонов правду об отце скрывал долго… И вообще проявлял малосимпатичный антисемитизм.

Его отца звали Михаил Агафангелович Симонов.

Мать – Александра Леонидовна, урожденная княжна Оболенская.

Воспитал его отчим, Александр Григорьевич Иванишев, военный, командир РКК.

Симонов называл Иванишева отцом. В воспоминаниях писал:

«Так как и отец, и мать были люди служащие, в доме существовало разделение труда. Лет с шести-семи на меня были возложены посильные, постепенно возраставшие обязанности. Я вытирал пыль, мел пол, помогал мыть посуду, чистил картошку, следил за керосинкой, если мать не успевала – ходил за хлебом и молоком. Времени, когда за меня стелили постель или помогали мне одеваться, – не помню.

Атмосфера нашего дома и атмосфера военной части, где служил отец, породили во мне привязанность к армии и вообще ко всему военному, привязанность, соединенную с уважением. Это детское, не вполне осознанное чувство, как потом оказалось на поверку, вошло в плоть и кровь.

Весной 1930 года, окончив в Саратове семилетку, я вместо восьмого класса пошел в фабзавуч учиться на токаря. Решение принял единолично, родители его поначалу не особенно одобряли, но отчим, как всегда сурово, сказал: „Пусть делает, как

решил, его дело!”

Мы жили туго, в обрез, и тридцать семь рублей в получку, которые я стал приносить на второй год фабзавуча, были существенным вкладом в наш семейный бюджет.

Поздней осенью 1931 года я вместе с родителями переехал в Москву и весной 1932 года, окончив фабзавуч точной механики и получив специальность токаря 4-го разряда, пошел работать на авиационный завод, а потом в механический цех кинофабрики „Межрабпомфильм”.

Руки у меня были отнюдь не золотые, и мастерство давалось с великим трудом; однако постепенно дело пошло на лад, и через несколько лет я уже работал по 7-му разряду.

В эти же годы я стал понемногу писать стихи. Мне случайно попалась книжка сонетов французского поэта Эридиа „Трофеи” в переводе Глушкова-Олерона. Затрудняюсь объяснить теперь, почему эти холодновато-красивые стихи произвели на меня тогда настолько сильное впечатление, что я написал в подражание им целую тетрадку собственных сонетов. Но видимо, именно они побудили меня к первым пробам пера. Вскоре, после того как я одним духом одолел всего Маяковского, родилось мое новое детище – поэма в виде длиннейшего разговора с памятником Пушкину. Вслед за ней я довольно быстро сочинил другую поэму из времен Гражданской войны и постепенно пристрастился к сочинению стихов – иногда они получались звучные, но в большинстве были подражательные. Стихи нравились моим родным и товарищам по работе, но я сам не придавал им серьезного значения.

Осенью 1933 года под влиянием статей о Беломорстрое, которыми тогда были полны все газеты, я написал длинную поэму под названием „Беломорканал”. В громком чтении она произвела впечатление на слушателей. Кто-то посоветовал мне сходить с ней в литературную консультацию – а вдруг возьмут и напечатают?…»

Взяли и напечатали.

И так началась его карьера, довольно успешная.

До встречи с Серовой он был женат дважды. Первый раз – на Наталье Викторовне Типот, дочери знаменитого режиссера-эстрадника Виктора Типота: они прожили вместе недолго и сохранили дружеские отношения. Второй раз – на интеллигентной и умной Евгении Ласкиной. В 1939 году она родила ему сына Алексея. Ласкина много лет проработала завотделом поэзии журнала «Москва», ее знали и любили многие поэты, друзья Константина… Все осуждали его за то, что он бросил жену с новорожденным сыном, влюбившись в красивую

актрису. Но Симонов просто не мог оставаться с Ласкиной: в его жизни отныне существовала только одна женщина – Валентина Серова. Ласкина не то чтобы простила… Но никогда не препятствовала общению сына с отцом.

От любви к Валентине Серовой Симонов словно помешался. Он ходил на все ее спектакли. Он ждал ее у театрального подъезда, чтобы взглянуть, передать цветы, стихи… Записки… Валентина начала узнавать его в зале. Сначала раздражалась: ей казалось, от его пристального взгляда у нее щеки горят, а это не всегда было хорошо и правильно по роли. Потом ее тронула верность поклонника-поэта. Понравились стихи. И на одну из записок она наконец ответила: «Жду вашего звонка». И дала телефон.

Он позвонил…

Сначала она принимала его просто как поклонника. Наслаждалась его безумной, самоуничижительной любовью. Играла с ним, ничего не обещая. Мучила его, то приближая, то отталкивая.

Но Симонов быстро понял, что путь к сердцу актрисы лежит через роли, и писал пьесы – для нее, под нее, где она одна могла бы сыграть идеально… И она играла: Катю в «Истории одной любви», Валю Анощенко в «Русских людях», Олю в «Так и будет», Джесси в «Русском вопросе»… На протяжении многих лет главная героиня в пьесах Константина имела черты характера Валентины.

А еще он был очень добр к ее сыну, к Толе.

И постепенно Серова не то чтобы полюбила – нет, она привыкла к Симонову. И уже не могла без него обходиться. Они стали любовниками. Потом поселились вместе. Она все еще ничего не обещала. Она все еще держала его чуть-чуть на расстоянии… А он – он продолжал безумствовать в стихах и в письмах. Из творческих командировок он писал ей целые поэмы: «Сейчас как будто держу тебя в руках и яростно ласкаю тебя до боли, до счастья, до конца, и не желаю говорить ни о чем другом – понимаешь ли ты меня, моя желанная, моя нужная до скрежета зубовного?»

Может быть, она и понимала. Но – не хотела его по-настоящему в своей жизни. Не могла полюбить.

В первый раз «Я люблю тебя» Валентина сказала Константину на перроне, провожая военного корреспондента на фронт. Скорее всего, это не было правдой. Скорее всего, еще не любила. Но – сказала. Потому что понимала: может больше его не увидеть. Так пусть он унесет с собой радость этого – такого нужного ему – признания.

А Симонов, тонко чувствующий, как все поэты, понимал

подспудные движения души, и уже в поезде, увозившем его к возможной смерти, написал – об этом прощании:

Ты говорила мне «люблю»,
Но это по ночам, сквозь зубы.
А утром горькое «терплю»
Едва удерживали губы.
Я верил по ночам губам,
Рукам лукавым и горячим,
Но я не верил по ночам
Твоим ночным словам незрячим.
Я знал тебя, ты не лгала,
Ты полюбить меня хотела,
Ты только ночью лгать могла,
Когда душою правит тело.
Но утром, в трезвый час, когда
Душа опять сильна, как прежде,
Ты хоть бы раз сказала «да»
Мне, ожидавшему в надежде.
И вдруг война, отъезд, перрон,
Где и обняться-то нет места,
И дачный клязьминский вагон,
В котором ехать мне до Бреста.
Вдруг вечер без надежд на ночь,
На счастье, на тепло постели.
Как крик: ничем нельзя помочь! —
Вкус поцелуя на шинели.
Чтоб с теми, в темноте, в хмелю,
Не спутал с прежними словами,
Ты вдруг сказала мне «люблю»
Почти спокойными губами.
Такой я раньше не видал
Тебя, до этих слов разлуки:
Люблю, люблю… ночной вокзал,
Холодные от горя руки.

4

Как ни странно, 1940-е были счастливейшими годами в жизни Константина Симонова и Валентины Серовой.

Тогда еще их любовь переживала первый страстный накал. И Симонов совершенно не был уверен, что эта женщина хоть когда-нибудь станет его женой, хоть когда-нибудь его полюбит… Она не любила. Но – принимала Константина во время кратких его возвращений с фронта, как не приняла бы в другое, мирное время. Окружала заботой и лаской. Играла для него такую себя, о которой он мечтал.

Военный корреспондент Симонов мотался по всем фронтам и постоянно писал стихи – для Валентины. Потом из этих стихов он составит сборник «С тобой и без тебя», и несколько десятилетий эта лирика будет очень популярна в СССР. Что-то из сочиненного он Валентине отсылал, что-то приберегал, чтобы прочесть лично: «…Все время борюсь с желанием послать тебе стихи – но все-таки не посылаю – слишком дороги минуты твоих внимательных раскрытых глаз и того чувства, с которым я тебе что-то читаю впервые, в самые впервые…»

Софья Караганова рассказывала: «Я помню, зашла к ней утром: война, Костя с фронта прислал ей дневники. Она в кровати, в Костиной пижаме, косички заплетены туго – в разные стороны. Сидит, грызет палец и с интересом читает эти странички. Ей было интересно с ним! Интересно видеть и читать, что он пишет…»

Валентине было интересно с Константином Симоновым. Однако – он не был по-настоящему мужчиной ее мечты. Таким, как Анатолий Серов. Да, Симонов был отважен. Но – никогда не был воплощением брутальной мужественности.

Весной 1942 года Валентина Серова выступала перед ранеными в госпитале. Ее попросили пройти в отдельную палату, где выздоравливал после тяжелого ранения в легкое маршал Константин Рокоссовский. Вот этот мужчина был тем самым идеалом, о котором Валентина грезила, и романтичности образу отважного полководца придавала тень его личной драмы: Рокоссовский ничего не знал о судьбе жены и дочери, оставшихся в Киеве… Валентина сделала все, чтобы его утешить. Влюбилась – практически с первого взгляда. Из госпиталя Рокоссовский переехал в ее квартиру. Три месяца прошли в непрерывном счастье. Но маршал рвался на фронт и – едва был признан врачами годным – уехал. Вот его Валентина собиралась ждать, верно ждать… Но узнала, что жена и дочь Рокоссовского –

нашлись. И что маршал соединился с ними в совершенной гармонии и счастье, позабыв о московском «приключении с артисткой».

Сердце ее было разбито… И вот тогда она поняла чувства Симонова.

А Симонов, до которого известие об открытой связи Серовой с Рокоссовским донесли немедленно, проявлял самоубийственную отвагу, отправлялся в самые опасные места, присоединялся к рискованным рейдам разведчиков, практически – искал смерти. И писал, писал, писал. Переживаемая им мука ревности, переосмысление своей любви – все это вознесло его творчество на недосягаемую прежде высоту.

Я, верно, был упрямей всех.
Не слушал клеветы
И не считал по пальцам тех,
Кто звал тебя на «ты».
Я, верно, был честней других,
Моложе, может быть,
Я не хотел грехов твоих
Прощать или судить.
Я девочкой тебя не звал,
Не рвал с тобой цветы,
В твоих глазах я не искал
Девичьей чистоты.
Я не жалел, что ты во сне
Годами не ждала,
Что ты не девочкой ко мне,
А женщиной пришла.
Я знал, честней бесстыдных снов,
Лукавых слов честней
Нас приютивший на ночь кров,
Прямой язык страстей.
И если будет суждено
Тебя мне удержать,
Не потому, что не дано
Тебе других узнать.
Не потому, что я – пока,
А лучше – не нашлось,
Не потому, что ты робка,
И так уж повелось…
Нет, если будет суждено
Тебя мне удержать,

Тебя не буду все равно
Я девочкою звать.
И встречусь я в твоих глазах
Не с голубой, пустой,
А с женской, в горе и страстях
Рожденной чистотой.
Не с чистотой закрытых глаз,
Неведеньем детей,
А с чистотою женских ласк,
Бессонницей ночей…
Будь хоть бедой в моей судьбе,
Но кто б нас ни судил,
Я сам пожизненно к тебе
Себя приговорил.

Симонов в очередной раз приехал с фронта, выслушал покаянную исповедь любимой женщины, простил от души – и в очередной раз попросил Валентину выйти за него замуж.

И на этот раз она согласилась.

Возможно, от отчаяния. Возможно – осознав, что так, как Симонов, ее никто не любит и не будет любить.

Она стала для него идеальной женой и настоящей боевой подругой. Она даже в поездках на фронт сопровождала Константина – с радостью. Валентина Серова в своем патриотизме была совершенно искренней. И ей действительно хотелось сделать что-то для тех, кто – там. Пусть просто оказаться рядом и почитать им стихи. Или монолог из какой-нибудь драмы. Пусть просто просиять для них из-под ушанки своими голубыми глазами – цвета воды в проливе Лаперуза.

Симонов безмерно гордился своей знаменитой и отважной женой.

Давид Ортенберг, главный редактор «Красной звезды», вспоминал:

«Это была удивительная пара. Помню, зимой сорок второго года, в дни тяжелой битвы за Москву, я собирался в очередную поездку на Западный фронт. Предложил Симонову поехать со мной.

Договорились рано утром встретиться в редакции. В назначенный срок Симонов пришел вместе с женой. Я подумал, что Валентина Васильевна решила проводить мужа. Но одета она была по-походному: в полушубке, шапке-ушанке. Симонов, поймав мой удивленный взгляд, объяснил:

– Валя напросилась в поездку вместе с нами…

– Костя, – возразил я, – мы же не на прогулку…

Но тут в наш разговор вмешалась Серова:

– Я актриса. Мне нужно самой посмотреть и почувствовать, какова она, война! Без этого как можно играть на сцене?

Убедила. Отправились под Можайск впятером: я, Симонов, Серова, художник Борис Ефимов и фотокорреспондент Бернштейн.

Где бы мы ни появлялись: на армейском КП, в дивизии, в полках, – Симонов сразу заявлял: „Это актриса Серова. – И с гордостью добавлял: – Моя жена". Она нам очень помогла – ее всюду узнавали по фильму „Девушка с характером", который был тогда необычайно популярен».

Но еще более популярной сделал Валентину Серову фильм «Жди меня», вышедший на экраны в 1943 году по сценарию ее мужа Константина Симонова, по мотивам его стихотворения с тем же названием… «Жди меня» – написанное в первые дни войны (а некоторые считают, что даже раньше и посвященное вовсе не ушедшим на фронт, а оказавшимся в лагерях) – стало поистине гимном любви, его солдаты писали своим женам, а жены переписывали для мужей и отправляли на фронт в письмах-треугольничках, подписывая: «Жду и дождусь». «Жди меня» сделало Симонова знаменитым. Да что там – бессмертным, как бы ни критиковали его теперь. А фильм сделал знаменитой и бессмертной Валентину Серову. Образ Лизы Ермоловой, верной жены в скромном синем платье с белым воротничком, стал, пожалуй, самым ярким и запоминающимся образом в советском военном кинематографе. Это была именно такая женщина, о которой мечтали мужчины тех времен. И нежная и сильная одновременно. Вообще, о Валентине Серовой можно с уверенностью сказать словами Анны Ахматовой: она была со своим народом там, где народ к несчастью был… По крайней мере, во время войны.

Мария Симонова сокрушалась: «Как я жалею теперь, что не терзала вопросами маму, отца, людей, их знавших! Теперь почти и нет никого… Но у меня остаются письма, документы, те же стихи отца. Это ведь тоже документ. Я стараюсь представить себе их, тогдашних, понять, что стоит за теми или иными их поступками. Какими они были в этой страшной войне? Я знаю, например, что мама, имевшая возможность уехать с театром в эвакуацию, осталась в Москве и работала в Объединенном театре драмы под руководством Николая Горчакова. Спектакли, репетиции, поездки с выступлениями в действующую армию, по госпиталям. Ели тогда мало и плохо, а она и свой паек отдавала тем, кому было еще хуже. Но не она мне об этом рассказала, а актриса, работавшая с ней в театре. Не боюсь пафоса: горжусь

своей матерью, которая во время войны была простой женщиной, одной из миллионов женщин страны. И как все люди, делала что было в ее силах для победы. Дежурила на крыше и сбрасывала зажигалки, копала картошку, отоваривала талоны и играла на выстуженной сцене перед солдатами… Когда по ходу пьесы летний день и летнее платье, актриса не может трястись от холода и не выговаривать текст сведенными от холода губами. Она накладывала побольше грима, а уходя со сцены, по глоточку пила спирт… ‹…› Недавно я говорила с одним человеком, он был летчиком во время войны, мальчишкой сел за штурвал, стал Героем Советского Союза. И вот этот человек мне сказал: „Маша, мне совершенно неинтересны сплетни о Серовой – с кем она жила и сколько пила. Мне важно, что она для нас, солдат, сделала. У меня была ее карточка. Перед полетом я смотрел на нее и говорил ей – ну что, Валя, полетим, дадим фашистам дрозда! – и мы летели с ней, и она была как мой ангел-хранитель…”

В одном из своих писем с войны отец писал: „Васька, пригрей и напои чайком человека, который передаст тебе это письмо. Он едет с фронта на фронт…” И мама встречала, и провожала, и кормила.

Ничего тут нет особенного. Но ее дом был домом всех друзей отца».

В 1942 году, когда до Победы было еще бесконечно далеко, Константин Симонов во фронтовом блокноте писал для Валентины стихи:

Подписан будет мир, и вдруг к тебе домой,
К двенадцати часам, шумя, смеясь, пророча,
Как в дни войны, придут слуга покорный твой
И все его друзья, кто будет жив к той ночи.
Хочу, чтоб ты и в эту ночь была
Опять той женщиной, вокруг которой
Мы изредка сходились у стола
Перед окном с бумажной синей шторой.
Басы зениток за окном слышны,
А радиола старый вальс играет,
И все в тебя немножко влюблены,

И половина завтра уезжает.
Уже шинель в руках, уж третий час,
И вдруг опять стихи тебе читают,
И одного из бывших в прошлый раз
С мужской ворчливой скорбью вспоминают.
Нет, я не ревновал в те вечера,
Лишь ты могла разгладить их морщины.
Так краток вечер, и – пора! Пора! —
Трубят внизу военные машины.
С тобой наш молчаливый уговор —
Я выходил, как равный, в непогоду,
Пересекал со всеми зимний двор
И возвращался после их ухода.
И даже пусть догадливы друзья —
Так было лучше, это б нам мешало.
Ты в эти вечера была ничья.
Как ты права – что прав меня лишала!
Не мне судить, плоха ли, хороша,
Но в эти дни лишений и разлуки
В тебе жила та женская душа,
Тот нежный голос, те девичьи руки,
Которых так недоставало им,
Когда они под утро уезжали
Под Ржев, под Харьков, под Калугу, в Крым.
Им девушки платками не махали,
И трубы им не пели, и жена
Далеко где-то ничего не знала.
А утром неотступная война
Их вновь в свои объятья принимала.

В последний час перед отъездом ты
Для них вдруг становилась всем на свете,
Ты и не знала страшной высоты,
Куда взлетала ты в минуты эти.
Быть может, не любимая совсем,
Лишь для меня красавица и чудо,
Перед отъездом ты была им тем,
За что мужчины примут смерть повсюду, —
Сияньем женским, девочкой, женой,
Невестой – всем, что уступить не в силах,
Мы умираем, заслонив собой
Вас, женщин, вас, беспомощных и милых.
Знакомый с детства простенький мотив,
Улыбка женщины – как много и как мало…
Как ты была права, что, проводив,
При всех мне только руку пожимала.

5

Заканчивался победный 1945 год. Константина Симонова включили в состав ответственной делегации, ехавшей в побежденную Японию. Он возглавил группу журналистов. И с ним ехал его давний друг Борис Горбатов, что делало путешествие не только ответственным и захватывающим, но и приятным. Уезжал Константин в конце декабря, до Владивостока – поездом. С Валентиной прощался на платформе. С ней пришли несколько актеров, ее коллег из Ленкома: проводить знаменитого драматурга. Пили на перроне шампанское. Константин и Валентина целовались. А потом из Японии полетели к ней нежнейшие письма…

«Милая моя, дорогая, ненаглядная, любимая. Час назад прочел твои дорогие нежные письма – все сразу, – и у меня то же чувство щемящего стыда и горечи за все ссоры, за все грубые слова, за все издержки той нескладной, но сильной и большой любви, которою я люблю тебя. Те радостные вещи, которые я узнал с премией и кандидатством обрадовали меня как-то задним числом сейчас, когда я прочел твои письма. Я счастлив, что исполняется сейчас, когда ты меня любишь (как хорошо писать и выговаривать это слово, которого я так долго и упрямо ждал), то, о чем я тебе самонадеянно и тоже упрямо говорил давно, кажется, сто лет назад, когда был Центральный телеграф и несостоявшееся Арагви и когда ты меня не любила и, может быть, правильно делала – потому что без этого не было бы, может быть, той трудной, отчаянной, горькой и счастливой нашей жизни этих пяти лет. Что-то странное произошло со мной. Я почти трусливо берегу себя для встречи с тобой. Я потащусь во Владивосток на пароходе. Да, позже на три дня – но увидеть тебя без „если”. Нет, Алеша из „Обыкновенной истории” не прав – я хочу и буду говорить тебе прекрасные слова любви и буду повторять, потому что для чего, как не для этого, устроена страшная и удивительная жизнь. Я люблю тебя, моя дорогая, – вот в чем все дело, если говорить коротко то, что мне хочется сейчас сказать бесконечно длинно. Я бы солгал, если бы сказал, что мне грустно. Мне не грустно и не скучно, я просто, как часы, отстукиваю часы и минуты, отдаляющие меня от встречи с тобой. Два месяца отстучали, осталось столько же. Я не живу, я жду. Я работаю много и упорно, как вол, я это умею, я не психую и не пью больше, чем обычно, и не курю папиросу от папиросы, но жду упрямо и терпеливо. Мы увидимся, моя родная, так, как не увидится никто другой. У меня чувство в этой поездке такое,

словно это какое-то неизбежное испытание временем, которое только к счастью, за которым сразу начинается счастье с первого твоего объятья, с первого поцелуя, с первой минуты вместе. Ты спрашиваешь, почему нет стихов в письме… Нет и не будет. Будут только вместе со мной, потому я ничего не хочу украсть у нашей первой ночи, ничего, в том числе ни одной минуты из счастливых минут чтения того, что ты еще не знаешь (так долго пишется – так коротко читается)…»

«А сегодня день твоего рождения, и в девять часов мы все тут четверо в доме и Муза соберемся, чтоб выпить за тебя. Если ничего не напутали в Москве, ты получишь от меня сегодня цветы и записку. Дай бог. Если хочешь себе меня представить точно, как я есть сейчас, – открой альбом и найди хату в медсанбате – где я лежу и ко мне пришел Утвенко. Так же не брит, так же обвязан компрессами и в той же безрукавке, и ты еще дальше от меня, чем тогда. Может быть, и не надо все это писать в письме, но вот так подошло, девочка моя, что хочется до смерти, чтоб ты пожалела. Знаешь, мне иногда казалось, что тебе в твоем чувстве ко мне не хватает возможности помочь, пожалеть, поддержать. Я в этом чувстве всегда ершился, и в начале нашем, принятый тобой слишком за мальчика, раз навсегда поднял плечи, закинул голову и, присвистывая, старался быть слишком мужчиной – больше, чем это нужно, и больше, чем это правда по отношению ко мне. И в этом часто у меня было отсутствие искренности и открытости души для тебя до конца, что порой обижало тебя, и сильно, я знал это. Сейчас что-то повернулось в моей душе, повернулась какая-то дверь на неслышных ни для кого петлях. Сейчас напишу тебе вещь, над которой, если хочешь, улыбнись, это мелочь, но сейчас вдруг ужасно важная для меня – я с какой-то небывалой нежностью покупаю от времени до времени милые безделушки для нашего дома – я не знаю, где он будет, надеюсь, вместе с тобой, что не там, где сейчас, – но он мне отсюда представляется впервые каким-то небывалым и прочным (на целую Библию) Ковчегом Счастья. К чему написал это – наверное, просто чтоб ты улыбнулась своей вдруг застенчивой тихой улыбкой – бывает у тебя такая, именно такая, и я ее люблю больше всех других, эта улыбка – ты, какой тебя иногда знаю один я и больше никогда и никто. Родная, нет сил больше писать – устал от муки видеть тебя и не видеть, говорить с тобой и не говорить, – сейчас лягу и попробую заснуть, но я не прощаюсь – последние строчки завтра перед самым отъездом на пароход – утром, а пока, господи, как я тебя люблю и как мне сейчас недостает твоего желанного милого тела рядом со мной, и пусть было бы плохо, как бывает всегда, когда слишком хорошо! Родная моя девочка, целую тебя всю от

кончиков пальцев до кончиков волос, хочу тебя, люблю, стосковался по тебе до безумия. Все. Жди меня…»

«…Что сказать тебе? Во-первых, работаю как вол, глушу тоску как могу. Написано уже больше тысячи страниц, делаю все, чтобы к 25-му кончить все и быть готовым лететь или плыть первой оказией. Во-вторых и главных – нет жизни без тебя. Не живу, а пережидаю, и работаю, и считаю дни, которых по моим расчетам осталось до встречи 35–40. А в-третьих, верю как никогда в счастье с тобой вдвоем. Нет причин вне нас самих для того, чтобы его не было – были и уменьшились, и сейчас кажется мне, что нет их и не смеют они быть. Скажи, что так, скажи, что я прав. Я так скучаю без тебя, что не помогает ничто и никто – ни работа, ни друзья, ни попытки трезво думать…»

«Нет жизни без тебя».

Тогда и правда не было для него жизни без нее, без этой женщины…

Без женщины, которой он писал в 1941 году «Жди меня, и я вернусь, только очень жди…», которой повторял «Жди меня» в каждом письме, а в 1946 году в разлуке с ней грезил и бредил стихами, сравнивая свою возлюбленную – с Родиной.

Еще кругом был пир горой,
Но я сидел в углу,
И шла моя душа босой
По битому стеклу
К той женщине, что я видал
Всегда одну, одну,
К той женщине, что покидал
Я, как беглец страну,
Что недобра была со мной,
Любила ли – бог весть…
Но нету родины второй,
Одна лишь эта есть.
А может, просто судеб суд
Есть меж небес и вод,
И там свои законы чтут
И свой законов свод.
И на судейском том столе
Есть век любить закон
Ту женщину, на чьей земле
Ты для любви рожден.
И все на той земле не так,
То холод, то пурга…
За что ж ты любишь, а, земляк,

А Валентина в Москве тосковала: нет, не могла она его любить, псевдотрубадура, и посмеивалась – как можно быть одновременно поэтом и чиновником? Выбери уже что-то одно, чтобы быть – честным… Валентина не хранила ему верность. Валентина пила… Не с тоски – просто так. Потому что уже без алкоголя не могла.

Константин трудолюбивым скворцом таскал веточки в будущее гнездо, в котором надеялся жить со своей любимой долго – всегда! – растить птенцов, если повезет. Покупал в Японии все то красивое и не всегда нужное, чего не было в послевоенном СССР… Биограф Серовой Наталья Пушнова писала: «Симонов задумал построить дачу в Переделкино и фантазировал вдали о ее экзотическом убранстве. Закупал всевозможные восточные диковинки – куски вышитых шелком и золотом тканей, кимоно и смешные женские туфельки для Вали, Аленьки, Роднуши, лакированные шкатулочки, наборы для чайных церемоний, фарфоровые чашечки, рюмашечки для саке, фарфоровые вазочки, веера, шелковые картины с изображением цветущей сакуры, тростниковые занавески, маски, куклы. Он воображал, что устроит их жизнь, похожей на мечту, что создаст для Валентины дом уютным и экзотическим гнездышком любящих людей…»

Константин окружал свое будущее гнездо «зоной безопасности», истово делал карьеру. Не только для себя – для нее тоже. Чтобы она за ним – как за каменной стеной.

В Японии он узнал, что его выдвигают в Верховный Совет СССР. Узнал об успехе своей пьесы «Под каштанами Праги», которую он писал для любимой, чтобы она там играла, сразу после войны: за пьесу он получил очередную Сталинскую премию. Едва вернувшись из Японии, еще во Владивостоке получил известие о новой престижнейшей командировке – в США. Срочно. Самолетом – в Москву и, едва обняв жену, – в Америку… Константин радовался и гордился, и думал, что Валентина тоже будет рада и горда за него.

Но – нет. Она тосковала все сильнее. Ей было одиноко. О том, как блестяще движется карьера мужа, Валентина не могла думать: она привыкла к тому, что рядом с ней – выдающиеся мужчины, будь то Анатолий Серов или Константин Рокоссовский, и Симонов до своих соперников пока еще не дотягивал… Симонов взял ее другим – любовью, преданностью, нежностью, постоянством. А теперь его не было рядом. И ей было грустно, и ей было пусто, и она пила, и это было уже начало алкоголизма.

«Что с тобой, что случилось? Почему все сердечные припадки, все внезапные дурноты всегда в мое отсутствие? Не связано ли это с образом жизни? У тебя, я знаю, есть чудовищная русская привычка пить именно с горя, с тоски, с хандры, с разлуки», – встревоженно писал Константин Симонов в 1948 году.

Он понимал. Но изменить ничего не мог.

6

Летом 1949 года была достроена дача в Крыму, в Гульрипши. Осенью Валентина забеременела. Константин уехал на несколько месяцев в только что провозглашенную Китайскую Народную Республику, встречался с Мао Цзэдуном. Валентина носила тяжело, сильно располнела.

«В 1950 году она снялась в фильме „Заговор обреченных" в роли американской шпионки Киры Рейчел. Нужно было сыграть роскошную стерву, обольстительную тварь. И хоть сценарий был чудовищной ерундовиной, роль была характерная и весьма занятная. При всех внешних совершенствах Серовой в этот период роль не получилась совершенно! Перебираю в памяти ее работы – не играла она стерв. Дур играла, а такой твари – нет. Но ведь актриса же – изобрази! – Нет. Плохая актриса? А может, ей просто мешало то, что она была уже на шестом месяце. В таком положении негодяек не сыграть», – говорит Мария Симонова.

Перед рождением дочери Валентина ушла из Ленкома: она чувствовала себя усталой и не собиралась возвращаться на сцену, когда станет матерью.

Симонов отчаянно мечтал о ребенке. Беременность Валентины была для него воплощенным счастьем.

Вспоминает актриса Лидия Смирнова, жена оператора Владимира Рапопорта:

«Когда Герасимов, Симонов и Рапопорт возвращались из Китая в Москву, мы их встречали втроем – Тамара Макарова, Валя Серова и я.

Поезд немного опаздывал. Мы волновались – давно не видели своих мужей.

В то время Валя была беременна. Позже мне Рапопорт рассказал, как его поразило, что Костя восхищенно говорил:

– Какое счастье, когда тебя встречает беременная жена. – Он развивал эту тему особого мужского ощущения. И все повторял: – Я еду, а меня ждет моя жена! Она беременна.

То, что Костя любил Валю, я знала. Не только потому, что он посвятил ей свою лирику. Он был способен любить».

Константин хотел обязательно девочку, и обязательно – беленькую, как Валентина. Но из роддома Валентина лукаво сообщила ему: «Костя, я родила Маргариту Алигер!» То есть – смуглую, темноволосую… «Раз чернявенькая, значит – точно моя!» – обрадовался Симонов.

Назвали дочь Машей, это решено было еще до ее рождения: если мальчик – Иван, если девочка – Марья. Отец обожал ее.

Называл: «Манька-франт, белый бант».

Во время беременности Валентина сильно располнела, да так и не сбросила вес. Но даже такая – пышнотелая кустодиевская баба – она восхищала мужа. А когда он видел их вместе – Валентину и крохотную Машу в ее объятиях, – он умилялся чуть ли не до слез.

Маша в младенчестве много болела. Возможно потому, что во время беременности Валентина продолжала пить… Она была беспокойным ребенком, много плакала, и взятая из деревни нянька подливала в ее бутылочку маковый сок. Это заметил Толя, рассказал матери и отчиму. Няньку прогнали, Маша пошла на поправку, но все равно оставалась слабенькой. Да и Валентина часто болела. Тревожные, нежные, реже – шутливые письма Симонова из очередных командировок частенько адресовались в больничную палату:

«…Трудно даже сказать тебе, какую радость мне доставили Машенины многочисленные мордашки, складочки и прочие части тела, полученные мною вчера. Видимо, я до конца не испытывал еще такого чувства, во всяком случае, я уже второй день делаю то, над чем всегда смеялся у других: вытаскиваю Машкины карточки и неприлично хвастаюсь ими, заглядывая при этом в лица людей – достаточно ли сильно они восхищены видом нашего с тобой несравненного создания. Что до меня – то по мне она душенька, особенно когда смотрит грустно-вопросительным, чуть-чуть удивленным взглядом, ну и, конечно, когда смеется, да в общем, и во все остальные моменты своей жизни. Меня очень разволновало то, что, оказывается, Машутка серьезно болела, ты только говорила невнятно, что она немножко простужена, а оказывается вот оно что. Я тебя благодарю за милое бережение моего отдыха и спокойствия, но ты больше так не делай, родная моя. Если Маша больна, а я в отлучке».

«Скажи мне как есть – и так всякий раз вместе с тобой решим, приезжать мне или нет. Ну, дал бы бог, чтоб эта дилемма была пореже, чтоб долгожданная дочка у нас с тобой не болела и росла красивая, как ты, и жилистая, как я».

«Скучаю я вдвойне и по тебе, и по маленькой привереде нашей Машке, которая где-то, по моему глубокому убеждению, в конце концов, здорова – и все ее привередства – чистая интеллигентщина дитяти двух сильных, хотя и по-разному нервных родителей».

«Милая Машутка! Спасибо, маленькая, вам с мамой за твои фотографии. Они пришли как раз вовремя – через несколько часов будет как раз пять месяцев, что ты родилась и в первый раз закричала: „Не хочу кушать!” Ты, мать моя, здорово

соблазнительная на фотографиях, даже страшно, что ты там без отцовского руководства, а я тут без возможности целовать разные там ямочки и перевязочки. Когда вынешь из ящика эту открытку, немедленно побеги поцелуй маму, а вслед за ней брата и бабушек. И пожалуйста, завтра в день рождения не закладывай, птичка, за галстук ничего, кроме молочка!»

«Как там наши глазоньки??? Как ее худая шейка и ручонки? Поцелуй ее крепко, родная, и скажи – пусть сделает мне глазки и напугает на расстоянии, чтоб как следует лечился и к ее первому балу оставался престарелым, но еще молодцеватым папашей. Поцелуй Толю, скажи ему, что я верю в его слова и в его стремление исправиться. Обними наших стариков. Целую твои руки».

…Упоминание о Толе не случайно. Ему исполнилось двенадцать. Он плохо учился, плохо себя вел, был, что называется, трудным подростком, а возможно, имел какие-то проблемы с психикой… Пережитый во время Валентиной беременности стресс мог сказаться на состоянии ребенка, ведь она так убивалась после гибели Серова! А может быть, Толя был просто избалованным, а может просто неприсмотренным. Так или иначе, он был трудным. Ни у Валентины, ни у Симонова не хватило воспитательского таланта и души на то, чтобы его выправить. И мальчик оказался словно в стороне от их семейного счастья. Кончилось для него все плохо: Толя Серов начал пить, ограбил и поджег чужую дачу, оказался в колонии. Потом мыкался по провинции, спивался и, видимо, все-таки был не в себе, потому что был пироманом – регулярно устраивал поджоги, и его снова сажали. Близкие Анатолия Серова пытались позаботиться о нем, но не справились. Винили во всем Валентину, но ее собственная жизнь тоже летела под откос и ей было не до Толи…

Впрочем, пока еще до этого далеко.

Пока еще главные проблемы в семье Симоновых – что Константин получил «понижение» по службе, был назначен главным редактором «Литературной газеты», и это отнимало у него очень много времени, а Валентина скучала без работы, маялась с детьми и все больше пила.

Борис Панкин в книге «Четыре Я Константина Симонова» писал:

«Странная это была у него и Фадеева, да и у всех их коллег по руководству союзом жизнь, если посмотреть со стороны. Что-то среднее между пиром и каторгой, как горько острили они с Сашей в редкие часы, когда можно было посидеть вдвоем, отложив в сторону, хотя бы на миг, казенные заботы… Он как-то

подсчитал, что „Литературка” отнимала у него не меньше двух третей рабочего времени, когда он был в Москве. Остальное – маята в союзе. Только-только ты склонишься над газетным листом – звонок. Либо из ЦК, либо – с Воровского… Столы письменные, обеденные, праздничные – еще один непременный атрибут этой жизни, как и залы заседаний и кабинеты. За рабочим – сочиняли статьи, романы, докладные, пьесы, письма, отчеты и справки „наверх”. Когда особенно подпирало, бросали все, уходили „в подполье”, то есть в творческий отпуск – в Переделкино, в Ялту, в Гульрипши, в Малеевку…»

Константин любил принимать гостей. Любил пышные застолья. Пил много, но практически не пьянел: такая особенность организма. А Валентина пила – и хмелела, но он ее не удерживал: во хмелю она была нежнее, мягче, шутила и пела, была той очаровательной хозяйкой, которую он мог с гордостью представить своим друзьям.

Трезвая – она и на него смотрела трезво и жестко. Осуждала его за участие в политических репрессиях. Спорила. Даже скандалила. Могла узнать о том, что он готовит новую разоблачительную речь, – и встретиться с будущей жертвой, чтобы предупредить… Это, конечно, от разоблачения не спасало, но она чувствовала, что так правильно, что она делает хоть что-то. Ведь часто жертвами симоновского карьеризма становились ее, Валентины, близкие друзья! И трещина между супругами росла. Несмотря на желанную дочь и достигнутое благосостояние. Несмотря на всесоюзную славу обоих.

7

Впрочем, слава Валентины Серовой в 1950-е годы пошла на спад. Она была уже не так красива, не так молода, она была ненадежна: могла напиться и сорвать репетицию, а то и спектакль. Она еще чувствовала себя звездой, но ее свет начал гаснуть.

Мария Симонова рассказывала: «Серову звали обратно в «Ленком» – ей писала Софья Гиацинтова, там все еще работала Серафима Бирман, любимая наставница. Еще были планы вернуться, чтобы, по словам Гиацинтовой, „опять создавать театр". Она вернулась, хотела работать. Ведь именно в «Ленкоме» она сыграла свои главные роли… В нашем архиве хранилась толстая тетрадь в коричневом коленкоровом переплете – пьеса о Софье Ковалевской с дарственной надписью от авторов, братьев Тур. В тетради были не только пометки актрисы, работавшей над ролью, – там, на свободных страничках, она делала свои личные записи: „Жизнь! Вот она какая, оказывается. Господи, помоги мне найти правильный путь! В омут или – работать, работать без конца и края. В награду что? Не деньги, славу, ордена – любви и понимания и заботы немного… Благослови, Господи, «Его» за столько зла, за столько добра… Больше не могу, нужно выбрать. Нужно, нужно, нужно… Зачем?…"

В тот же год мама ушла из Театра Ленинского комсомола, где прослужила 17 лет, и попала в Малый – ненадолго, там она была занята в единственной роли Коринкиной в „Без вины виноватых". Это был не ее театр: традиции, отношения – все другое, чужое. Дома – маленькая я, с какими-то непонятными болезнями, Толя, как тогда было принято говорить, „трудный подросток", и мой отец, вечно отсутствовавший дома – командировки, поездки, заседания. Старые друзья зудят-подзуживают: „Это не для тебя, давай выпьем, забудь…" Мама не была святой, а ее мягкость, податливость, неумение взвешивать и оценивать служили ей плохую службу. Спасение она искала в том, от чего другая женщина, другая актриса заставила бы себя отказаться напрочь…

Потом был Театр Моссовета, где она с блеском сыграла роль Лидии в пьесе Горького „Сомов и другие". Вот что писал критик Ю. Юзовский о ее работе: „Кто остро почувствовал горьковскую мысль – это Серова… Она ловит слово, оттенок, что скрыто за словом, лихорадочно работает мысль… Очень хорошо поняла Горького Серова…" На этой сцене ей повезло встретиться с Раневской, Пляттом, Михайловым. Мама очаровала Фаину Георгиевну добротой, отзывчивостью. Эта великая актриса была

очень одиноким человеком, поэтому дружбу поддерживала, часто была у нас на даче в Переделкино. Я помню ее в 1954 году – тетя Фуфа смешила меня, изображая Бабу-ягу.

„Неповторимая Валя! – писала она маме. – Я все время о Вас думала и так же, как и Вы, желаете мне добра, я для Вас хочу только хорошего. Еще раз благодарю за теплые ко мне чувства и за желание избавить меня от денежных забот…”

С самого начала «Ленкома» мама дружила с заведующей бутафорским цехом Елизаветой Васильевной Конищевой. Ее собственная судьба драматична, но мама много раз приходила ей на помощь, та не оставалась в долгу, и в конце концов Лиля стала членом семьи. Ее свидетельства для меня бесценны. Она рассказывала, как однажды на спектакль „Софья Ковалевская” мама пришла с температурой, которая к концу второго акта поднялась до 39,8. Вызвали врача – дифтерит. Но спектакль она доиграла, упала, когда занавес закрылся. Вокруг нее всегда толпились люди. Это были и настоящие ее друзья, и мнимые, которые просто вытягивали из нее деньги, пили, гуляли за ее счет. Она никогда никому не отказывала в помощи. Часто долгов ей не возвращали, а она и не спрашивала. Ее дом был приютом для тех, кому некуда было приткнуться…

Но после возвращения в «Ленком», если не ошибаюсь в 1959-м, она уже была не та Серова, на которую „ходило пол-Москвы”. Да и для театра это было не лучшее время – классику не ставили, театры мучил соцреализм».

8

Усталость от постоянного душевного дискомфорта у Симонова рано или поздно должна была наступить. Никакая любовь не выдержит испытаний постоянным напряжением, постоянным ощущением «прогулки по минному полю», когда не знаешь, какой шаг будет роковым, какое твое слово вызовет негативную или истерическую реакцию. Да еще и алкоголизм Валентины… Симонов еще долго продержался.

Он осознал, что разлюбил Валентину, в 1954 году, и тогда же было написано последнее стихотворение, посвященное ей:

Я не могу писать тебе стихов
Ни той, что ты была, ни той, что стала.
И, очевидно, этих горьких слов
Обоим нам давно уж не хватало.
За все добро – спасибо! Не считал
По мелочам, покуда были вместе,
Ни сколько взял его, ни сколько дал,
Хоть вряд ли задолжал тебе по чести.
А все то зло, что на меня, как груз,
Навалено твоей рукою было,
Оно мое! Я сам с ним разберусь,
Мне жизнь недаром шкуру им дубила.
Упреки поздно на ветер бросать,
Не бойся разговоров до рассвета.
Я просто разлюбил тебя. И это
Мне не дает стихов тебе писать.

Пожалуй, роковым для их брака стало знакомство Константина с Ларисой Жадовой. Она была дочерью генерала Алексея Семеновича Жадова. И вдовой фронтового поэта Семена Гудзенко. Симонов с Гудзенко дружил. Уважал его. Знал историю его любви к дочери генерала, который не желал их брака. И когда Лариса – гордая, умная, самостоятельная Лариса, искусствовед, специализировавшийся по истории западной живописи, – все же

вышла за Семена, Жадов отказал дочери от дома. И даже когда Гудзенко умер в 1953 году от полученных на фронте ран, Жадов не желал помогать дочери и внучке Кате. Они бы бедствовали, если бы не Симонов.

Симонов приглашал Ларису с Катей отдохнуть к себе на дачу. Без всякой задней мысли. Как вдову друга. Как человека, нуждающегося в помощи. Но потом – пригляделся к ней. И влюбился.

Нет, она не была обольстительницей или соблазнительницей, она не пыталась «увести» чужого мужа – да и разве можно «увести» взрослого человека, если он сам не решит уйти? А Ларисе это еще и не было нужно, она еще не пережила смерть своего любимого мужа, она даже не думала о Симонове как о возможном партнере. Зато Константин видел в ней все то, чего ему так не хватало в Серовой: интеллигентность и ум, спокойное достоинство и железный характер, безупречные манеры и тихую нежность, которая так отличалась от порывистой, жаркой, а в последнее время – пьяной нежности Валентины.

Мария Симонова рассказывала: «Я могла родиться у мамы и раньше, еще в 1945, сразу после войны. Может быть, тогда многое в нашей с ней судьбе сложилось бы иначе… Но случилось то, что случилось, и мне теперь остается память – отчасти горькая. Больно оттого, что не сделала для нее ничего, не помогла. Живу теперь тем, что копаюсь в небольшом слое записок, архивных фотографий, чудом уцелевших. Мама сама многое уничтожила. Я люблю своего отца, но любовь моя к нему, к сожалению, не была взаимной. После развода с мамой в 1957 году он больше исполнял свой отцовский долг в отношении меня, чем был отцом. Не мне судить его за это. Так сложилось. Не сужу, но пытаюсь понять, почему в течение двадцати лет имя матери вычеркивалось из газет, на выставке, посвященной юбилею театра, где она играла, не было ее фотографий. Отец, ставший большим литературным и советским функционером, никогда не „запрещал” ее имени. Но все, от кого зависело это имя произносить или писать, знали, что Симонову это не понравится. Почему? Ее болезнь влекла за собой скандал? И в этом скандале могло прозвучать что-то такое, что он категорически хотел забыть? Зачем он попросил мамин архив перед смертью и сжег его дотла? Архив, который мать прятала в только нам двоим с ней известном месте. Я читаю, читаю, сравниваю. Не могу не думать над судьбой своей семьи. И одно знаю теперь точно: при всех своих слабостях мать была великодушна и не терпела фальши. Что-то случилось, чего она по-человечески пережить не могла, не могла согласиться с тем, с кем была согласна, кому

доверяла, кем гордилась…»

Симонов и Серова развелись в 1957 году.

В первый класс Машу они отвели еще вместе, но жили уже порознь.

Симонов решительно изменил свою жизнь. Он женился на Ларисе Жадовой. Принял ее дочь Катю как свою. В том же 1957 году родилась их общая дочь Саша.

Машу отдали бабушке. Валентину пытались лечить…

К себе Симонов дочь не взял. Потому, что не готов был воевать с решительной тещей. Потому, что не хотел привносить осколочек былой дисгармонии в его новый, прекрасный и гармоничный мир… Он даже никогда не приглашал Машу в гости. Потому что Лариса как-то раз сказала: «А ты уверен, что вслед за Машей в нашем доме не появится Валя?» Он не был уверен. И он этого отчаянно не хотел.

Мария Симонова отца искренне пыталась понять. И даже против Ларисы Жадовой никогда не держала зла: «Лариса Алексеевна была удивительным человеком. Она сделала для отца очень много, она создала ему те условия, при которых он мог работать как писатель… И все-таки мне кажется, что эта боль, которая была у отца, эта любовь, которую он пережил, – все это он унес с собой в могилу…»

Однако с прошлым Симонов расправлялся очень сурово. Он уничтожил почти все письма Серовой. Мало что сохранилось.

Например, чудом уцелело вот это, отчаянное, горькое письмо того периода, когда Валентина боролась за право даже не воспитывать, а хотя бы изредка видеть их дочь:

«Костя! Твой ответ по меньшей мере удивителен. Где чувства человека, доводы твоего разума, где твои глаза? Все потеряно, замусорено, развеяно посторонним влиянием, ведь не могло же все это исчезнуть само по себе… По-видимому, поведение и информация Клавдии Михайловны в данном случае убедительнее и сильнее всех других для тебя. Я говорю о Клавдии Михайловне потому, что она здесь играет первую скрипку и ни от кого другого, как от нее, ты черпаешь сведения о всем, что происходит, о ее методе „воспитания” нашей дочери и ее поведения по отношению ко мне. Ты считаешь все это настолько правильным, справедливым и непогрешимым, что ни разу за последний год не потрудился поинтересоваться и выслушать другую сторону. Вот и получилось у тебя однобокое и слепое отношение к этому делу.

Я не устраиваю пожара с возвращением дочери. Я с ужасом и горечью увидела и почувствовала, что сделали с Машей за те 3 месяца, что я ее не видела, и с ней самой и с ее отношением ко мне. Маша стала маленькой старухой. Девиз «у нее все есть»,

внушенный Клавдией Михайловной ребенку не только к материальным условиям ее жизни, но и, что гораздо страшнее, в отношении ее к людям, – ужасен. Это вредительский девиз. Больше такого положения я ни одного дня терпеть не могу и не хочу потому, что каждый такой день это много дней уродования человека…

Я отдала Машу „матери", когда у меня началась ломка в квартире, после того как ты вселил в нее новых жильцов, когда Толя в связи с нашим разводом особенно стал плохо вести себя, когда мне еще было тяжело и трудно справиться с собой, когда еще была слишком захвачена своим горем, – я согласилась поэтому с Вами оставить ребенка временно у Клавдии Михайловны, не предполагая, чем это обернется для меня и моего ребенка. Дальше все непереносимее стало быть без моего ребенка, невыносимо чувствовать и видеть, как его уродуют там, отрывают от меня, и приходить на Никитскую, где все, начиная с Клавдии Михайловны до домработницы, ее все больше восстанавливают против меня (при Маше) и без меня в мое отсутствие.

Довольно. Прошу знать твердо до конца, что я выздоровела, прозрела совершенно. Я ясно разобралась во всем и поняла, что произошло со мной за все 19 лет, что мы с тобой знаем друг друга, включая 15 лет, что я была твоей женой. Разобралась во всем, что делается сейчас с моим ребенком и для чего, что делается со мной и что хотелось бы сделать, – на этот раз не выйдет.

Я возвратилась к себе такой, какой я была давно, пусть поздно, но лучше поздно, чем никогда. Зато не поздно еще вырастить и воспитать моего ребенка человеком, у которого пока не „все есть", а все будет и не то будет, которое нужно Клавдии Михайловне, а то будет, которое нужно для большой и хорошей жизни моей дочери.

Клавдия Михайловна и сейчас заявила совершенно постороннему человеку, что я спешу „потому, что все пропила и мне нужны симоновские деньги". Вот, как говорят, с больной головы на здоровую. Поистине вся она тут в этом „высказывании", с позволения сказать. На свой аршин мерить легче всего. И вправду, жаль будет ей лишиться ежелетних выездов на море, а там ты, глядишь, оплатил бы и заморское путешествие. Ведь не важно, что ребенок хрупок, худ, как тростинка, – пусть для удовольствия бабушки попечется на жарком солнышке.

Мне твои „ассигнования" не нужны. Мне вернули то, что принадлежит мне и что было тобой беззаконно арестовано. На

эти деньги я приобрела для Маши домик и сад такой, какой Вы постарались с Клавдией Михайловной отнять у нее. На этой приобретенной даче под Москвой в умеренном мягком климате в хорошем фруктовом саду, на свежем воздухе ребенок действительно может легко дыша отдохнуть и хоть немного прибавить в весе.

В самое ближайшее время я начинаю работать, так что Ваши денежные блага меня не прельщают. Сходясь с тобой, я была обеспечена лучше тебя, если тебе не изменяет память, и тогда у меня был сын, я воспитывала его, не нуждаясь, и воспитывала неплохо до того, как вышла за тебя замуж.

Ваши с Клавдией Михайловной беспокойства о судьбе Маши меня не убеждают. Особенно твое, которое ты выражаешь, сидя в Ташкенте и поручая на деле беспокоиться о судьбе нашего ребенка твоему адвокату, которая, кстати сказать, идет по Вашей линии и не хочет говорить ни со мной, ни с врачами, мнение которых, кажется, до сих пор было Вашим главным и основным условием возвращения мне дочери.

И последнее – я думаю, что не тебе – человеку, бросившему трех жен и трех детей, женившемуся на четвертой жене и приобретшему еще двух детей (ведь дети, живущие с тобой хоть и не тобой зарожденные, тоже твои. По крайней мере Толя считал тебя отцом с трех лет и ты относился очень нежно к нему, по-отцовски, пока добивался меня), повторяю – не тебе говорить о том, что „ребенок не мячик”…»

Война за ребенка длилась долго и, конечно, не лучшим образом сказалась и на Маше, и на взаимоотношениях бывших супругов, и на отношениях Валентины с матерью. В конце концов Валентина отвоевала Машу и забрала ее к себе. На какое-то время даже прекратила пить. Но потом все началось сызнова…

Спасти Валентину пытался ее отец, Василий Васильевич Половиков. Он не решался появиться в жизни дочери, пока она была на гребне славы и – как он считал – счастлива. Но узнав, что Валентина спивается, пришел к ней. Собственно говоря, это он вел с Симоновым переговоры о том, чтобы Маша вернулась к матери. Одновременно с этим он строил для Валентины и Маши дачу, или даже скорее – деревенский дом. Он считал, что вдали от городских соблазнов, на чистом воздухе, в тишине, на молоке и яйцах Валентина успокоится и перестанет пить, а Маша наконец перестанет болеть. Пока отец был рядом, Валентина и правда держалась. Когда он умер, снова сорвалась.

9

Валентина понимала, что сама виновата в своем крушении. Другие на ее месте искали бы виноватых… Другие, но не она.

Людмила Гурченко в книге «Аплодисменты» вспоминала о своем знакомстве с Серовой на съемках фильма «Дети Ванюшина» в 1973 году. Крохотный эпизод в этом фильме был последней актерской работой Валентины в кино…

«В фильме произошла долгожданная встреча с актрисой, с образом которой еще с детства, с войны связано самое светлое и что-то хрупкое и женственное. ‹…› Она была уже немолодой, но осталась… с прозрачной кожей, с голубыми жилками на висках. В серых огромных глазах было так много грусти, терпения и боли! Я бежала на работу, чтобы видеть, как она входит в гримерную, как мягко и естественно здоровается, как спокойно и даже равнодушно смотрится на себя в зеркало… Как светится вокруг ее головы нимб тонких золотистых волос… Я поняла, что поразило меня в детстве, когда я смотрела „Жди меня”.

– „Жди меня”? Да, я люблю эту картину… Знаете, самое главное в жизни – иметь голову на плечах, всегда… и стойкость. А я… Я… нет. Не смогла. Сама. Только сама…»

Мария Симонова рассказывала: «Последние девять лет жизни мама числилась в Театре киноактера, этой „гробнице талантов”. Я говорю „числилась”, потому что все эти годы она выходила на сцену раз в два месяца в роли Марии Николаевны в спектакле „Русские люди”. В этом спектакле в другое время она играла другую роль. Трудно представить, как бы она жила, если б не поездки по стране с шефскими концертами! Она любила „глубинку”, там ее помнили. Она вообще очень любила общаться с самыми простыми людьми, влюблялась в таланты. Возвращаясь в Москву, названивала куда-то, пытаясь помочь. Кстати, никогда не козыряла своим именем, только когда просила за кого-нибудь. Меня она никогда не пилила „суровой материнской пилой”, я никогда не слышала ее крика и брани. Мои друзья-одноклассники обожали ее… В последние годы нашей с ней жизни она тщетно пыталась пробиться через мое равнодушие, неприязнь к ее боли-болезни. „Когда-нибудь ты поймешь…”»

Иногда Валентине удавалось победить свой алкоголизм. Но потом неизбежно случались срывы. Самый тяжелый был, когда Валентина, находясь на даче, услышала по радио объявление о смерти Константина Рокоссовского. В тот день она ударила Машу, пытавшуюся ее удержать от бегства в магазин за спасительной водкой…

А потом Маша вышла замуж. Сама стала матерью. Валентина осталась одна. Пила все сильнее. И сильнее тосковала. Продала и дачу, построенную отцом, и все драгоценности, подаренные Константином. Продавала вещи. Зазывала к себе в гости собутыльников и нередко бывала ограблена. Однажды в пьяной драке ей порезали лицо: до конца жизни у нее оставался уродливый шрам.

В июне 1975 года умер ее первенец, Толя Серов. Валентина ушла в запой… Потом вернулась к относительно человеческому существованию, но надежды на спасение уже не было.

10 декабря 1975 года Валентина Серова получила зарплату в Театре киноактера. Купила водки. А на следующий день ей позвонила ее подруга Елизавета Васильевна Конищева: она знала, что после зарплаты Серова всегда пьет, и хотела проверить, насколько все на этот раз плохо. Серова к телефону не подходила. И Конищева, у которой был ключ от квартиры, поехала ее проведать. Она не всегда так поступала, но сейчас возникло какое-то дурное предчувствие.

Она нашла Серову на полу, полураздетую, мертвую, с залитым кровью, почерневшим лицом. Квартира была разграблена.

Первой мыслью было – убийство…

Вскрытие показало – нет, сердечная недостаточность. Но возможно, возникшая во время драки… Однако травмы смертельными не были.

Валентина Серова умерла утром 11 декабря. Опять роковое для нее число 11!

Мария Симонова, рыдая, обзванивала всех знакомых по записям в старой телефонной книжке матери. Большинство выразили соболезнования, но прийти на похороны спившейся звезды отказались. И Константин Симонов тоже не пришел. Только розы прислал. Розовые розы. Пятьдесят восемь роз – для 58-летней покойницы.

Прощались с Серовой под запись ее голоса, под песню из «Жди меня»:

Сколько б ни было в жизни разлук,
В этот дом я привык приходить.
Я теперь слишком старый твой друг,
Чтоб привычке своей изменить.
Если я из далеких краев
Слишком долго известий не шлю,

Все равно, значит, жив и здоров,
Просто писем писать не люблю.

Присутствовавшие шокированно вслушивались в нежный голос, вглядывались в нежное молодое лицо на фотографии и – отводили взгляд от страшной старухи, лежавшей в гробу, чье разбитое лицо толком не могли загримировать: и не поверишь, что ей и шестидесяти не было…

10

И все же – великая любовь не умирает.

Даже если по сердцу бесконечно бить кувалдой – оно расколется, но и в осколках будет тлеть любовь.

Можно перечеркнуть прошлое, но нельзя полностью выкорчевать из себя чувство.

В 1979 году, незадолго до смерти, Константин Михайлович Симонов попросил дочь Машу привезти ему в больницу архив Валентины Серовой…

– Я увидела отца таким, каким привыкла видеть, – рассказывала Мария Симонова. – Даже в эти последние дни тяжкой болезни он был, как всегда, в делах, собран, подтянут, да еще шутил… Сказал мне: «Оставь, я почитаю, посмотрю кое-что. Приезжай послезавтра…» Я приехала, как он просил. И… не узнала его. Он как-то сразу постарел, согнулись плечи. Ходил, шаркая, из угла в угол по больничной палате, долго молчал. Потом остановился и посмотрел на меня. Никогда не смогу забыть его глаза, столько боли и страдания было в них, когда он сказал: «Прости меня, девочка, но то, что было у меня с твоей матерью, было самым большим счастьем в моей жизни… И самым большим горем…»

Татьяна Окуневская и Владо Попович: «Дурман… наваждение…»

Татьяна Окуневская и Владо Попович

...

– Окуневская Татьяна Кирилловна (3 марта 1914 года, Завидово – 15 мая 2002 года, Москва) – актриса.

– Попович Владо (1914 год, Белград, Югославия – 1972 год, Лондон, Великобритания) – посол Югославии в СССР, впоследствии крупный политический деятель.

– Она – красавица, своевольная, коварная, непредсказуемая, любвеобильная, эгоцентричная.

– Он – прирожденный политик, хладнокровный и благоразумный.

– Их любовь, продолжавшаяся с 1946 по 1947 год, стала единственной настоящей в жизни Татьяны Окуневской и единственным проступком в жизни безупречного Владо Поповича. Татьяна вспоминала об их романе всю жизнь, Владо – всю жизнь об их романе молчал.

– Оба состояли в браке, и оба изменяли своим избранникам: Татьяна – открыто, Владо – тайком.

– Они расстались, когда испортились отношения между СССР и Югославией и Владо Попович был выслан из страны. А Татьяна Окуневская оказалась в тюрьме: возможно, причиной ареста стала связь с иностранцем…

В своих воспоминаниях «Татьянин день» Окуневская писала: «Я прожила жизнь так, как считала нужным. И

довольна ею. Тяжелая ли это штука – жизнь? Очень. Кто-то из умных сказал, что характер человека – это его судьба. Я-то до этого доперла своим деревенским умом. А по жизни так оно и есть».

Прожить жизнь так, как считают нужным, ничего не боясь и ни на кого не оглядываясь, умеют только поистине неординарные люди. Татьяна Окуневская действительно жила не оглядываясь. Ни на кого, в том числе и на близких с их нуждами. Она была блистательна и абсолютно эгоистична. Ее осуждали за распущенность, а она пила жизнь жадными глотками и ни о чем не жалела.

В дар от судьбы она приняла только красоту, вполне вписывающуюся в каноны эпохи, но более породистую, чем у других актрис того времени, и талант, а все остальное она выбрала для себя сама. Любовь и ненависть, унижения и триумф – в ее жизни было все. И она никогда не жалела об этом и никогда не раскаивалась в своих «неправильных» поступках. Может быть потому, что и собственная жизнь казалась ей одной из ролей, сыграть которую она должна была либо хорошо, либо никак. И самое главное – она должна была сыграть ее красиво!

Играла Татьяна до самого конца. Играла она, когда писала свои скандальные мемуары. Ее дочь, Инга Дмитриевна Суходрев, утверждает, что Татьяна Окуневская принадлежит к величайшим мистификаторам XX века, будто на самом деле не было среди поклонников Окуневской ни Иосипа Броз Тито, ни Лаврентия Берия, ни Виктора Абакумова… Но точно ли она знает? Ведь Инга была подростком в те годы, когда все эти знаменитые мужчины могли так или иначе присутствовать в судьбе Татьяны. И потом, Инга не может простить Татьяне жестокость по отношению к своему отцу, кинорежиссеру Дмитрию Варламову, и к отчиму – журналисту Борису Горбатову. Впрочем, Татьяна не была добра в своих воспоминаниях ни к одному из мужей. Она сурово судила людей. Особенно мужчин. И особенно тех, кого не любила.

А о любимых вспоминала с восторгом и трепетом. Отдельно о том, за роман с которым ей пришлось заплатить тюрьмой и десятью годами лагеря. Это был короткий, очень короткий роман… Короткий, но блестящий.

Для себя же самой Татьяна Окуневская соткала историю, похожую на волшебную многоцветную вуаль, за которой успешно спрятала правду о своей жизни. Легенда живет, правды уже не доискаться. Да и надо ли? Создание легенд о

себе было в порядке вещей в ту эпоху, когда меняли фамилии и имена, прятали происхождение, скрывали жен и детей. И конечно же некрасивые факты биографии.

И в этом отношении тоже Татьяна Окуневская – дитя своей эпохи.

«Если бы мама не была такой эгоцентричной (она, помните, пишет, что „актриса должна быть эгоцентристкой, а я сверхэгоцентристка!”), жизнь ее сложилась бы по-другому», – говорит Инга Суходрев.

Но хотела бы для себя Татьяна Окуневская другую, более спокойную и уютную жизнь? Или она от души наслаждалась всеми авантюрами, в которые так легкомысленно кидалась?

1

Татьяна Кирилловна Окуневская родилась 3 марта 1914 года в Подмосковье на станции Завидово в семье царского офицера, который после революции не захотел покинуть Родину, понадеявшись на честность большевиков, заявлявших, что всем классовым врагам, которые примут новую власть, будет даровано прощение. Надеялся он напрасно. Несмотря на свою абсолютную лояльность, Кирилл Петрович Окуневский дважды отсидел в тюрьме и был лишен гражданских прав, из-за чего не мог устроиться на постоянную работу, довольствуясь какими-то временными заработками. По этой же причине Татьяну два раза выгоняли из школы. Когда потрясенная девочка пыталась узнать, почему это произошло, отец объяснял это ее плохим поведением, не находя ни сил, ни нужных слов, чтобы рассказать ребенку правду. Он боялся, что она не поймет. А еще он боялся, что девочка, всегда искренняя и порывистая, не сможет сдержать чувств и во всеуслышание заявит, что с ними поступают несправедливо.

Уже позже, когда Татьяна подросла и скрывать от нее правду стало невозможно, отец рассказал ей все: и о том, почему они живут так бедно, и о том, почему из хорошей большой квартиры их переселили в коммуналку, где кроме них жило еще шесть семей, и о том, почему он вынужден развестись с ее матерью и жить отдельно.

– Мне пришлось так поступить, – говорил он, – чтобы у вас не было опять каких-нибудь неприятностей. Ты все это должна знать, ты еще не понимаешь, какими люди могут быть злыми… Теперь самое главное! О тебе! Я кляну себя, казню, что неправильно тебя воспитал, но я не мог иначе, я верил, что человеческие ценности останутся прежними, вечными! А теперь все будет против тебя! Нельзя быть непосредственной, искренней, открытой – тебя всю изранят, нужно себя переделать, уйти в себя, не выражать никаких мыслей, чувств, эмоций, нужно быть осторожной, чувствовать беду, не лезть с открытым забралом в бой, помнить, кто твои враги. Нужны ум, сила, выносливость, выдержка, чтобы жизнь не раздавила. Это все тебе надо постичь!

В душе девочки клокотали обида и ярость.

– Революция принесла много зла, – заявила она.

Как и опасался ее отец, Татьяна не желала себя переделывать и быть осторожной…

Получить высшее образование дочери «лишенца» было практически невозможно. После окончания школы Татьяна вместе

с двоюродным братом Левушкой поступала в архитектурный институт. Левушку приняли, у него был талант, и за него вступился профессор Парусников. Татьяне же ничего другого не оставалось, как посещать лекции вольным слушателем и надеяться, что произойдет какое-то чудо и в конце концов и ее примут тоже.

Чудо действительно произошло, но как и положено настоящему чуду, оно явилось неожиданно и совсем не оттуда, откуда его ждали.

Татьяне было семнадцать лет, когда однажды на улице к ней подошел молодой человек, представившийся ассистентом режиссера. Он заявил, что ослеплен ее красотой и что она как раз та девушка, которая нужна им для роли главной героини фильма. Сколь ни велико было искушение, Татьяна не отважилась согласиться, она боялась, что этого не одобрит отец, но как ни странно, когда Гога – так звали ассистента режиссера – пришел поговорить с ним, отец отнесся к нему с большой симпатией и даже заявил Татьяне:

– Наконец-то в твоем окружении появился достойный человек! Бывают же еще порядочные люди!

Так Татьяна попала в кино.

Ее первые видеопробы прошли неудачно – оказалось, что оператор хотел видеть в роли главной героини фильма свою супругу. Против прекрасной дебютантки у жены оператора не было никаких шансов, поэтому тот пошел на хитрость, солгав, что у него закончилась пленка. Неожиданно гнусную роль тут сыграл и Гога… Во всяком случае, так утверждала в воспоминаниях Татьяна, которая ни разу не назвала его фамилии. И никто из изучавших ее биографию не смог вычислить, кто же был этот пылкий обманщик.

Гога был так покорен Татьяниной красотой, что решил скрыть ее от чужих глаз, увезти и спрятать, и – сделать своей. Он заявил девушке, что она не понравилась режиссеру, и предложил ей поехать вместе с ним и съемочной группой в Тбилиси, откуда сам был родом. Отец отпустил Татьяну под его ответственность, а напрасно. В родительский дом Гога привел Татьяну как свою жену, о чем та узнала, когда так называемым молодоженам постелили в одной комнате. Девушка была возмущена, однако Гога умолял ее не выдавать его, валялся в ногах и клялся в любви. Татьяна не испытывала к нему никаких нежных чувств, однако пожалела его мать и сестер, которые так хорошо ее приняли, и великодушно сохраняла тайну, несмотря на то что это было ей чрезвычайно неприятно.

Режиссера фильма, которому она якобы не понравилась,

Татьяна встретила случайно, прогуливаясь по тбилисским улочкам. Тот очень обрадовался их встрече, заявив, что ему очень понравились ее фотопробы и что он разыскивал ее, чтобы предложить роль, но не сумел найти и был вынужден взять другую актрису. Тут выяснилась еще одна гнусность Гоги, который солгал, что не знает ни ее адреса, ни местонахождения и даже притворялся, что тоже пытается ее разыскивать, но тщетно.

Гога как будто помешался от любви. Несмотря на то что Татьяна не была его женой, он ревновал ее, не отпускал от себя ни на шаг и, когда ему приходилось уезжать надолго на съемки, приставлял к ней в качестве дуэньи своего друга Митю Варламова.

2

В отличие от Гоги Митя сразу понравился Татьяне. «Искренний, простой, скромный, с ним, как с Левушкой, спокойно, ему тоже уже двадцать шесть лет, но он не такой старый, как Гога», – писала о нем Окуневская позже в мемуарах. И Мите Татьяна тоже очень нравилась, но он не смел признаться ей в этом, будучи уверенным, что она жена его друга. Как же он был счастлив, когда она сказала ему, что это не так!

Семье Окуневских Варламов не приглянулся. Родные долго убеждали Татьяну не выходить за него замуж, уверяя ее, что он человек не их круга, что у них нет ничего общего и что ей будет с ним плохо. К тому же он был всего лишь бедным студентом, неспособным содержать семью. Но Татьяна, как всегда, не послушалась никого и вышла замуж. Ей было семнадцать. Она была влюблена.

В это время ее снова пригласили на пробы. Снимался фильм об Америке, и Татьяна довольно успешно сыграла слепую девушку, продающую фиалки. Ее заметили и оценили по достоинству, и очень скоро режиссер Садкович предложил ей роль в своем фильме «Отцы», где она должна была сыграть шахтерку, откатчицу угля.

Вскоре после свадьбы Татьяна уехала на Донбасс на съемки.

С фильмом с самого начала все пошло плохо. Сценарий был неинтересным, герои ходульными, съемки затягивались. К тому же Татьяна узнала, что беременна. Ее положение скоро должно было стать заметным, это помешало бы съемкам, и чтобы не подвести режиссера, Татьяна решилась на аборт. Она уехала в город, обошла нескольких подпольных врачей – аборты в то время были запрещены – и в итоге не решилась убить своего ребенка. Контракт с ней был расторгнут, Татьяна вернулась домой, а в фильме ей нашли замену.

С тех пор в жизни Окуневской наступила затяжная черная полоса.

С мужем не ладилось все больше и больше, Татьяна недоумевала, почему такой милый, добрый и внимательный юноша, в которого она влюбилась когда-то в Тбилиси, превратился в грубого хама. Как и когда-то Гога, он изводил Татьяну ревностью и не гнушался даже рукоприкладства.

«На свадьбе я сломала каблук, – напишет она впоследствии. – И кто-то сказал, что это плохая примета… Первая брачная ночь. Митя и терпелив, и мягок, и нежен. Когда мой страх прошел и это все случилось, Митя, вытащив из-под меня простыню, куда-то

исчез. Он появился только к вечеру, сильно выпивший, и сказал, что они с братом „обмывали мою невинность”».

Татьяну чрезвычайно шокировала такая дикость. Вообще, Дмитрию Варламову досталось в мемуарах Окуневской суровее, чем всем прочим. Татьяна писала, что пока Митя учился во ВГИКе, отец и бабушка Татьяны практически содержали их семью, регулярно подкармливая. Но и после окончания института ничего не изменилось. Митю назначили деканом режиссерского факультета, он начал получать хорошую зарплату, но часто эта зарплата оставалась в ресторанах, а Татьяне с ребенком приходилось идти к своим родителям обедать, потому что дома нечего было есть. «Мои, конечно, видят все, – вспоминала Окуневская, – но молчат. И только раз, когда я завязала шею платком, папа платок снял и увидел синяки, мне пришлось рассказать, что Митя душил меня из ревности». В конце концов после очередной ужасной выходки мужа Татьяна ушла от него и переселилась к родителям. Митя изображал раскаяние, просил ее вернуться, но Татьяна не согласилась. Слишком хорошо и комфортно ей было в родном доме, да и не верила она, что Митя может измениться.

Единственное, что угнетало Татьяну в то время, это отсутствие работы. После неудачных съемок на Донбассе в кино ее больше не приглашали, и ей приходилось жить на иждивении у отца и бабушки. Митя денег ей не давал.

Инга Суходрев пыталась защитить память отца и после выхода «Татьяниного дня» дала интервью, в котором сказала: «Книга хорошо написана, очень ярко изображена лагерная жизнь, но мне в ней не понравилось вот что: должна признаться, многое в своих мемуарах мама придумала, усиливая драматизм ситуаций. Папу, к примеру, представила выходцем из мещанской семьи, без воспитания, образования. На самом деле Варламов был из очень хорошей интеллигентной семьи. Кстати, я по сей день думаю, что мой отец, Дмитрий Варламов, был ее первой и единственной любовью. Она же пишет в своих мемуарах: „В молодости все кажется особенно прекрасным, так как не с чем сравнивать”. Она родила именно от него ребенка. Мама не раз говорила мне об отце: „Тебя кормили бабушка и дедушка, я зарабатывала, а Митя на каждую зарплату покупал книги!” Это было самым страшным ему обвинением, хотя, я думаю, гораздо хуже, когда на водку и на женщин тратят! И потом, папа ведь знал, что я не голодаю. Поймите, мама была очень нетерпимым человеком, и по завершении очередного романа практически ни о ком, кроме как о Юре Соснине, она не оставила добрых воспоминаний. Юрочка Соснин, поэт и музыкант, с которым она

работала долго, вызывал у нее положительные чувства, однако и с ним она тоже в конце концов рассталась».

3

Однажды в дом к Окуневским снова пришли люди из киностудии и предложили Татьяне сниматься в фильме Михаила Ильича Ромма по рассказу Мопассана «Пышка». Это был первый светлый луч на пасмурном небосклоне, это была работа, это были деньги. Это было счастье!

После этого карьера Окуневской наконец-то пошла в гору. После премьеры «Пышки» ее пригласили в Реалистический театр под руководством Охлопкова. Ее первой ролью там была Наташа в спектакле по книге Горького «Мать».

А потом арестовали ее отца. В третий раз. И почему-то арестовали еще и бабушку.

Для Татьяны это было страшным ударом.

Потом она рассказывала, будто, не помня себя, она колотила в железные ворота Лубянки и кричала:

– Убийцы! Негодяи! Отдайте Баби! Папу! Что вы с ними сделали?! – пока кто-то не вышел и не оттолкнул ее прочь, назвав дурой и пригрозив, что сейчас арестуют и ее.

Татьяна вспомнила о дочке и о маме, которые без нее пропадут, и побежала прочь, глотая слезы.

Но вряд ли это было на самом деле. Скорее всего – еще один творческий вымысел, еще один яркий стежок на многоцветном полотнище легенды. Мимо ворот тюрьмы старались даже не ходить. Женщины, стоявшие в очередях, чтобы передать деньги арестованным или хотя бы получить справку о судьбе родственника, прятались во дворах и подъездах, чтобы не привлекать к себе внимания. Шел страшный 1937 год, тогда арестовать могли и за меньшие проступки.

Окуневская пыталась восстановить отношения с Митей, но – не получилось, не срослось. Они расстались, теперь уже окончательно. Из театра ее уволили как дочь врага народа, и снова Окуневская осталась без работы, с мамой и маленькой дочкой на руках, и не было человека, на кого она могла бы положиться. Кто-то из друзей посоветовал ей попытать счастья в провинциальных театрах, и Татьяна к этому была уже совсем готова, но не могла уехать, не узнав дальнейшей судьбы отца с бабушкой, которых все еще держали на Лубянке.

Отца расстреляли в том же 1937 году, на Ваганьковском кладбище, у заранее вырытого рва. Татьяна узнает об этом только в конце 1950-х.

А в 1938 году она познакомилась со своим вторым мужем Борисом Горбатовым. Борис был молодым, но вполне уже

преуспевающим писателем. Статус дочери врага народа не испугал его, напротив, он принял в судьбе Окуневской живейшее участие. Помогал ей продуктами и придумал для нее работу – писать вместе с ним сценарий из актерской жизни. Когда Борис предложил ей выйти за него замуж, Татьяна сразу согласилась. Как позже она признавалась, это был вынужденный шаг, чтобы избавить семью от нищеты.

«Мужа я никогда не любила, – скажет она потом. – Сначала не поняла этого. Горбатов был из чуждой мне среды – другие привычки, взгляды, чувства. Почему не ушла, когда поняла это? А как содержать семью? Продавалась? Да, продавалась. Ради мамы, дочери. Пусть в меня бросит камень, кто без греха. Когда стала зарабатывать, хотела уйти, он божился, что изменится, вставал на колени, клялся в вечной любви. Не хватило мужества оставить его. Я думаю, что любовь надо принимать как высочайший подарок от Бога. Друзья, знакомые, богатство, бриллианты, собаки, лошади – все это меркнет перед любовью. Любовь только от Бога!»

После неудачного брака с Митей Татьяна опасалась людей не своего круга, и опять ей пришлось выйти за пролетария. «Какое это несчастье – все повторить сначала, как с Митей! – сокрушалась она. – Силой водить мыться, учить чистить ногти, соблюдать чистоту в туалете, не носить засаленные воротнички!»

Худшие ожидания, однако, не оправдались. В отношениях с Татьяной Борис был всегда мягок и предупредителен и действительно делал для нее и для ее семьи все что мог. Выйдя замуж за неприятного ей Горбатова, Татьяна могла больше не думать о хлебе насущном. Можно было вернуться к творчеству! Работать в Москве Окуневская не могла, поэтому она отправилась в Горький, где успешно прошла прослушивание и поступила в штат театра «артисткой первого положения». Играла в пьесах «Год девятнадцатый» и «Человек с ружьем». Позже ее пригласили играть в фильме «Майская ночь, или Утопленница», и она ухала в Киев.

Горбатову она изменяла, пользуясь его абсолютной к ней любовью. Изменяла дерзко и весело. Татьяна утверждала, будто муж был в курсе ее измен: «Когда я увлекалась, Горбатов отлично это знал. Он был тактичен в такое время… А я его держала на расстоянии». Друзья Бориса ее осуждали. Мало кто питал к Татьяне хоть малейшую симпатию. Но ей это было безразлично. Все, что ей нужно было от Горбатова, – положение в обществе и материальный достаток.

А потом началась война. Борис ушел на фронт, а Татьяна вместе с театром уехала в эвакуацию в Ташкент. Город был

переполнен, продукты стоили безумных денег, Татьяна с мамой и дочкой жили в каком-то подвале, перебиваясь с хлеба на воду. И с фронта приходили страшные вести – советские войска отступали, враг стоял под Москвой. Ко всему прочему пришла повестка о том, что Борис пропал без вести…

В душном, грязном Ташкенте Татьяне было невыносимо. Она позже рассказывала, будто хотела ехать на фронт, кем угодно – пусть даже простой медсестрой, чтобы принести хоть какую-то пользу Родине, но якобы не могла оставить родных на произвол судьбы, они погибли бы без нее. Опять – часть легенды, которую она создавала о себе. На самом деле она хотела вырваться из Ташкента и вернуться к прежней, устроенной жизни.

Горбатов вернулся к ней живой и невредимый, рассказал о том, как выбирался из окружения. С его приездом снова все переменилось к лучшему. Борис сумел получить комнату, куда перевез семью, его зарплаты хватало, чтобы не голодать.

4

Окуневская с гордостью заявляла, что она всегда была в опале у советского руководства, но любима зрителями, потому что ее аристократическая красота, в отличие от примитивной «крестьянской» красоты прочих советских кинозвезд, была «сексуальной». Она говорила: «В „Пышке" у меня небольшая роль, в „Горячих денечках" я – никто, так, вообще, в „Последней ночи" и в „Александре Пархоменко" я – дрянь, – меня бросили на отрицательные роли, потому что в советской положительной героине не должно быть секса, который „они" во мне нашли, и только в жалкой и плохой „Майской ночи" у меня – Панночка, есть попадание в гоголевскую сказку, а фильм прошел по окраинам. В колхозах…»

Однако даже если «они» (то есть советское правительство и управленцы) Окуневскую и не любили, фильмы с ее участием продолжали идти на больших экранах. После того как в Ташкенте по госзаказу был снят фильм «Ночи над Белградом», она стала настоящей звездой. В 1947 году ей присвоили звание заслуженной артистки РСФСР.

Благодаря этому фильму уже после войны Татьяна отправилась на гастроли в Югославию, где ее встречали с необычайной помпой и где она познакомилась с самим маршалом Иосипом Броз Тито, который, как оказалось, был безумно влюблен в нее.

Тито пригласил ее в свою резиденцию, которая располагалась в бывшем королевском дворце.

Вот как пишет об этом Татьяна в мемуарах:

«Калитка, за ней шагает мне навстречу маршал в штатском, с садовыми ножницами и только что срезанными черными розами. У ноги – красавица-овчарка, впившаяся в меня глазами.

– А вот мы сейчас проверим, как вы ко мне относитесь. Если плохо, Рекс разорвет вас на части у меня на глазах.

Маршал очень интересный, приветливый, веселый. Рекс ласково урчит, и мы оба смеемся.

– А Рекс не может продемонстрировать, как вы относитесь ко мне?

– Может! Видите, как он не сводит с вас глаз…»

Вслед за Югославией Татьяна объехала с гастролями всю Восточную Европу, эта поездка походила на сказочный сон, везде ее встречали как звезду, везде были полные залы и обожание поклонников. Домой возвращаться было тяжело – как с веселого бала за решетку тюремной камеры. «Лучше было и не ездить в

Европу, – вздыхала Татьяна, – чтобы не видеть, как могут жить люди». В России было плохо – бедно, голодно и холодно. И страшно. После легкой и веселой Европы – особенно страшно.

Впрочем, Татьяна совсем не бедствовала. Ее муж получил Сталинскую премию за книгу «Непокоренные», что сразу поставило их семью в привилегированное положение. Они получили пятикомнатную квартиру и возможность роскошно обставить ее. Горбатов купил Татьяне «Мерседес», сделанный по спецзаказу. Не было недостатка и в туалетах, которые шили специально для нее самые знаменитые и дорогие модистки. Татьяна блистала на светских приемах. И в театре ей давали лучшие роли.

Горбатов сполна исполнил данное ей когда-то обещание сделать для нее все. Татьяна пользовалась добытыми для нее благами и вместе с тем презирала мужа за бесхарактерность и подхалимаж перед властью. Сама она по-прежнему не боялась ничего. Практически в открытую поносила советский режим и даже лично товарища Сталина. Она открыто гордилась объявленными «врагами народа» родными, чего стоили одни только ее тосты: «За тех, кто в Сибири!»

Татьяна ходила по краю, отважно и безрассудно, не задумываясь о последствиях, чего и боялся когда-то ее отец. Почему ее не арестовали уже тогда – остается загадкой. Быть может, потому, что ей покровительствовал сам всесильный нарком внутренних дел Лаврентий Берия?

Однажды Берия лично заехал за ней на автомобиле и заявил, что ее приглашают на концерт в Кремль! Это была большая честь и большая удача – на кремлевские концерты приглашались только народные артисты. То, что концерт должен был состояться ночью, Татьяну совсем не смутило, она знала, что члены правительства и работают и развлекаются в основном по ночам, как какая-то нежить…

Она не могла предположить, что никого концерта на самом деле не будет. Просто любвеобильный нарком внутренних дел не желал довольствоваться платоническим обожанием.

«Уже три часа ночи, уже два часа мы сидим за столом, я в концертном платье, боюсь его измять, сижу на кончике стула, он пьет вино, пьянеет, говорит пошлые комплименты, – вспоминала о той ужасной ночи Окуневская. – Опять в который раз выходит из комнаты. Я знаю, что все „они” работают по ночам. Бориса в ЦК вызывают всегда только ночью, но я устала, сникаю. На сей раз, явившись, объявляет, что заседание у „них” кончилось, но Иосиф так устал, что концерт отложил. Я встала, чтобы ехать домой. Он сказал, что теперь можно выпить и что если я не выпью

этот бокал, он меня никуда не отпустит. Я стоя выпила. Он обнял меня за талию и подталкивает к двери, но не к той, в которую он выходил, и не к той, в которую мы вошли, и, противно сопя в ухо, тихо говорит, что поздно, что надо немного отдохнуть, что потом он меня отвезет домой. И все, и провал. Очнулась, тишина, никого вокруг, тихо открылась дверь, появилась женщина, молча открыла дверь в ванную комнату, молча проводила в комнату, в которой вчера был накрыт ужин, вплыл в сознание этот же стол, теперь накрытый для завтрака, часы, на них десять часов утра, я уже должна сидеть на репетиции, пошла, вышла, села в стоящую у подъезда машину, приехала домой. Изнасилована, случилось непоправимое, чувств нет, выхода нет, сутки веки не закрываются даже рукой».

Татьяна рассказала о случившемся мужу, но что тот мог поделать? Борис бегал по комнате, что-то причитал, и в итоге ей же самой пришлось его утешать.

Впрочем, может быть, что всю эту историю Окуневская просто выдумала, чтобы лишний раз унизить Горбатова, которого считала человеком слабым: уж слишком сильно он ее любил и слишком много прощал… Что это, как не слабость? Правда, на всякий случай она в мемуарах еще и в измене Горбатова обвинила.

Инга и отчима пыталась защитить: «Он ее безумно любил. Я читала его письма к маме: они душераздирающие. Возможно, у него и мог кто-то появиться на стороне, может быть, она ему отказывала в интимных отношениях… Не знаю. Мне кажется, Горбатову было ни до кого: за ней бы уследить! Он пишет: „Что бы то ни было на свете, я счастлив, что у меня была такая любовь в жизни”. Судя по тому, что я прочла в дневниках и письмах, он, наверное, удерживал маму тем, что писал для нее сценарии и пьесы».

И самый драматический момент мемуаров Окуневской дочь тоже ставит под сомнение: «Мне кажется, историю с изнасилованием в особняке Лаврентия Павловича мама позаимствовала. Я ей однажды рассказала о своей подружке, которую Саркисов, начальник охраны Лаврентия Павловича, привез к нему в дом, когда она еще училась в девятом классе». В пользу этого говорит и тот факт, что в списках начальника охраны Берии, где были имена всех женщин, которые к нему приезжали, Окуневская не фигурирует.

Да и вообще, если почитать мемуары актрис той эпохи, кажется, что Берия каждую почтил своим вниманием… Кто на самом деле был жертвой его страсти, а кто приписал себе в биографию пикантный штрих – теперь уже узнать нельзя.

5

А вот Иосип Броз Тито и правда питал интерес к красавице-актрисе. По приезде в Москву Тито непременно желал видеть прекраснейшую из актрис, ходил на ее спектакли и каждый раз присылал по огромному букету цветов. Татьяна вспоминала – это были черные розы…

«Я никаких черных роз не видела, а я ведь жила с ней в одной квартире. Цветы иногда приносил посол Югославии в СССР Влад Попович», – говорит в интервью Инга Суходрев.

На устроенном в «Метрополе» банкете маршал пригласил Окуневскую на танец.

– Наконец-то я держу вас в своих объятиях! – шептал он во время вальса. – Я думал, что никогда не дождусь вас, даже моя разведка не могла выяснить, где вы. Прошу вас, продолжайте улыбаться и выслушайте меня, другой возможности поговорить с вами у меня нет… Я приглашаю вас в Хорватию, мы построим для вас в Загребе, который вам так понравился, студию, вы будете сниматься с кем вы хотите, язык преодолеете, а на первых порах вас будут озвучивать. Я все продумал…

Татьяна рассказывала, что не хотела покидать родину, и будто бы в шутку предложила Тито навсегда остаться в СССР. А на самом деле…

На самом деле Тито был любвеобилен и у него в то время имелась уже гражданская супруга. Вскоре руководитель Югославии уехал, теперь он мог общаться с красавицей только через посольство, непосредственно через посла Владо Поповича.

Владо был вынужден рассказывать Татьяне о любви к ней Тито и при этом сам был влюблен в нее. Когда Татьяна в очередной раз подтвердила, что не собирается в Югославию, он был так счастлив, что не удержался и признался ей в своих чувствах.

– Простите мне все, – говорил он, – и бестактность, и вмешательство в личные отношения с маршалом. Я потерял голову, я впервые люблю, люблю вас всем существом, безоглядно с первых кадров вашего фильма, я же сам прилетел в Белград к вашим гастролям, я не сумел даже придумать предлога, маршал был удивлен, прогоните меня…

«Это было изумительно. Красив Попович был неимоверно. Я даже собиралась уйти от Горбатова. Когда Владо передавал мне что-то по поручению Тито, я всегда спрашивала: вы за себя говорите или за маршала?»

Как признавалась Окуневская, это была ее первая настоящая

любовь, феерическая, прекрасная и безумная.

«Дурман… наваждение… я тону в этих Христовых черногорских глазах… – вспоминала позже Татьяна. – Роман! Как сумасшествие! Может быть, это и есть любовь, которая снизошла на меня. Какой он нежный, тонкий, любящий! У нас появился наш домик, это Владо его нашел! Он часами ждет меня, сам готовит для меня вкусное, строго охраняет нашу тайну. А я?! Я считаю секунды встречи с ним, волнуюсь, выдумываю всякие сюрпризы и ни о чем не думаю – ни о чем! Близкие меня не узнают, я вдохновенна, весела, счастлива!»

Однако любовь эта прекратилась еще до ареста.

В одном из интервью Окуневская вспоминала: «А закончилось все довольно банально. Возвращался Горбатов из длительной командировки, Владо мне устроил истерику – чтобы я переехала жить к нему. А истерик я не переношу. В общем, мы поругались. Потом Попович из Союза бежал – когда Тито со Сталиным поругались. Больше я его никогда не видела…»

А на самом деле…

На самом деле в конце 1946 года Владо Попович женился на Вере Радимир. У нее было прекрасное происхождение для жены посла и будущего политика. Отношения с красивой русской актрисой он продолжал, но уже тайком, стыдясь их. Татьяна же не могла простить Поповичу «измену». Он лишил ее надежды на брак с ним и отъезд за границу. И конечно, ни о каких требованиях со стороны Поповича о «переезде к нему» не могло быть и речи. Карьера для него всегда была важнее любви. На то он и прирожденный политик. Высланный из СССР в 1948 году, он был избран в ЦК КП Югославии, стал заместителем министра иностранных дел, а в 1949 возглавил делегацию Югославии в ООН. Еще через год он стал послом в США. Попович до самой смерти делал блестящую карьеру и занимал один за другим самые высокие посты. Умер он еще не старым, ему было всего пятьдесят восемь, в 1972 году в Лондоне, для похорон был перевезен в Белград… Он всегда ценил и берег свою семью. И свою репутацию.

Окуневскую можно понять: женщине трудно признать, что ее – бросили. Ради карьеры – бросили. Ради другой, более подходящей на роль жены – бросили. Проще придумать, будто сама – отвергла.

И все же зерно правды во всей этой истории есть. Оно в том, что Владо Попович был самой главной любовью в жизни капризной и неверной Татьяны Окуневской.

И она готова была заплатить за эту любовь, если придется, жизнью и свободой.

Дочь вспоминала: «Надо знать мамин характер. Она догадывалась, что находится под наблюдением – за ней постоянно ездила машина. Но мама была уверена, что за встречи с иностранцем ей ничего не будет. Что Горбатов, ее муж, этого не допустит. Однажды она, правда, сказала смеясь: „Меня могут арестовать”. Через два дня за ней пришли. Потом арестовали ее подругу (она жила с нами, мама считала ее сестрой), а затем шофера».

6

Что в действительности послужило причиной ареста Окуневской? Тот факт, что Сталин рассорился с Броз Тито? Или ее антисоветизм, которым она бравировала, но который не смела на самом деле проявлять в 1930-е, и все же – не умела и скрыть? Или то, что однажды она дала пощечину какому-то хаму, который полез к ней целоваться и который, по ее утверждению, оказался новым наркомом внутренних дел Виктором Абакумовым?

Версия с Абакумовым – самая фантастическая: не приставал он к Татьяне на банкете и не давала она ему пощечину…

«Ее посадили совсем по другой причине – в то время она встречалась с иностранцем, а такие женщины в то время сильно рисковали», – вспоминает ее дочь.

Был ли этот иностранец Владо Попович или кто-то еще?

Инга Суходрев говорит – был другой…

«Мама встречалась с человеком, с которым тогда не положено было встречаться. Кстати, ни в интервью, которые давала, ни в книге она о нем не упоминала. Он – ее тайна. Его, действительно блестящего и потрясающего человека, я знала лично…»

Иностранец. Не из соцлагеря. Вот и все, что о нем известно. Но, по словам дочери, «арест был прогнозируем».

Арестовали Окуневскую 13 декабря 1948 года.

Татьяна вспоминала, что была больна, лежала дома с высокой температурой…

«Звонок в дверь, за спиной у девочек двое военных, почему-то не снимают шинели, один остался у двери, другой входит в спальню, это не фронтовые знакомые, я их лиц не узнаю, но на всякий случай приветливо улыбнулась.

Этот другой, не здороваясь, обходит кровать Бориса, подходит к моей и дает клочок бумаги, на котором написано: „Вы подлежите аресту” и подпись: „министр Абакумов”.

– Вставайте! Одевайтесь!

– У меня высокая температура, я болею гриппом, если можно, придите за мной дня через два, я уже поправлюсь…

– Вставайте и одевайтесь!

– Я не могу одеться сама!

– Пусть дочери помогут, покажите, где ваше белье. – Он вынул белье из шкафа и бросил мне на кровать. – Одевайтесь! Быстро!

Прошу их выйти или хотя бы отвернуться.

– Одевайтесь при нас!

Стоять на ногах не могу, они подхватили меня под руки,

потащили, крик „Мамочка!” привел в сознание: почему-то не спускаемся на лифте, а меня тащат с шестого этажа по лестнице, с девочками попрощаться не дали, машина стоит у самого подъезда, эти двое сели по бокам, на переднем сиденье еще военный. Начала понимать, что меня везут в тюрьму, передо мной раздвигаются те самые железные ворота, в которые я билась одиннадцать лет назад… Папа… Баби… Левушка… знаменитая Лубянка. Спускают в подвал, мертвая тишина, коридор, слева и справа…»

Дочь Инга, присутствовавшая при аресте, нехотя вспоминала, что она стояла совсем рядом с матерью и что записки от Абакумова не было, а был – ордер.

Но в любом случае «железные ворота» Лубянки были воротами в ад. Постоянные допросы… Абсурдные обвинения: шпионаж, предательство Родины… Татьяна все отрицала, не желала себя оговаривать и не подписывала никаких бумаг, несмотря на всевозможные издевательства и оскорбления. Но следователь был прав, когда говорил ей, что в этих стенах ломали и людей покрепче. Окуневская утверждала, что сдалась, когда ей намекнули на то, что ее дочке Инге вот-вот исполнится шестнадцать и тогда ее могут арестовать тоже. Татьяна все подписала и получила срок – 10 лет.

Борис Горбатов развелся с ней после ее ареста и женился снова, однако Окуневской не переставал помогать и тогда. Окуневская же рассказывала, что он ее предал, что она не получила от него ни одной передачи… Горбатов умер в 1954 году от инфаркта.

«Горбатова вызвали в КГБ. Наверное, ему все рассказали, показали фото. Он был секретарем парткома Союза писателей. Если бы его оттуда вышибли, что бы стало с нами?… Он нас и спас – меня и бабушку. Он и маму спас – все передачи для нее были оплачены его деньгами. В моей жизни Борис Горбатов сыграл очень большую и положительную роль, – вспоминала Инга и признавалась, что чаще всего конфликты с матерью у нее были, когда они обсуждали Горбатова. – На этой почве у нас с мамой постоянно возникали столкновения. Она считала меня предателем, потому что я Горбатова защищала. И я никак не могла ей объяснить, что она должна быть ему благодарна уже за то, что мы с бабушкой остались живы! Не говоря уже о том, что благодаря дяде Боре я окончила институт».

7

Начались мытарства по лагерям. Тяжелая, изматывающая работа, голод, холод и недолеченные болезни подтачивали силы организма, но и теперь Татьяне хватало сил и духа жить, выступать, давать концерты. Даже в лагерях, где и помыться толком было негде, она оставалась великолепной, роскошной женщиной, сводящей с ума мужчин. Во всяком случае, такой она себя видела и так она о себе говорила… И это подтверждает ее дочь, один раз добившаяся свидания с матерью в лагере: «Комендант лагеря был маминым поклонником, да что там – он был в нее влюблен. Поэтому встречу нам организовали на высшем уровне: накрыли стол на берегу озера перед лагерем, принесли чай…»

В лагере же Окуневская встретила еще одну великую любовь. Алексей. Больше ничего о нем мы не знаем. Без фамилии. Зато красив, благороден, влюблен.

«Кто-то откуда-то смотрит на меня. Ищу и встречаюсь с удивительным сияющим взглядом, пронзившим меня: в кулисе, напротив, стоит незнакомый человек. Его в бригаде не было. Кто он? Новый аккордеонист? Не могу отвести глаз.

Алексей высок, строен, не худ по-лагерному, лицо интересное, умное, интеллигентное, аккуратен, светлоглазый русак, не профессионал, его в детстве обучали музыке, он инженер-химик, и в его игре есть та грань умения с примесью прекрасного дилетантизма, которая во мне всегда вызывает восторг, в таком искусстве нет холодно заученного, а есть что-то свое, глубокое, он чуть старше меня, наверное, ровесник Владо.

Не понимаю, что делаю, что говорю, бледнею, краснею, как девочка, ночью считаю часы, оставшиеся до репетиции, чтобы увидеть его, быть рядом, смотреть в глаза…

Алексей мужественно молчит: ни слова, ни намека и только раз одним жестом как бы погладил мне руку…

Что делать? Больше не могу играть в случайных знакомых. Господи, помоги мне! Роман здесь, в лагере, для меня невозможен! Невозможен! Невозможен! Невозможен!!! Я перегрызу себе вены. И я заговорила:

– Я хочу, чтобы вы знали, что наша любовь здесь, в лагере, невозможна, это значит потерять ее, исковеркать, похоронить, потерять все человеческое, скрываться, унизительно где-то, как-то тайно встречаться, а если вы просто возьмете меня за руку, нас тут же разлучат!.. Я люблю вас, жизнь без вас невозможна, не нужна. Я для вас готова на все, кроме того, чтобы превратить

нашу любовь в простой, отвратительный лагерный роман… – Голос сорвался.

– Любимая, прекрасная, единственная, я совсем сошел с ума, я не знаю, что делать… все будет, как вы скажете… хотите, я сделаю так, чтобы меня списали на лесоповал… сколько бы ни прошло лет… полуживой, я буду вас ждать… но теперь невероятно прожить без вас один день! Час! Минуту!

– И я буду вас ждать до конца своей жизни!

Алеша бросился ко мне, и я, как ужаленная, отскочила. Мы как будто ходим по раскаленной проволоке босиком. Если что-то случится, не знаю, как буду жить дальше».

Конечно, этот роман закончился печально. У них был только один поцелуй – в строю, под прикрытием густого снегопада, когда не было видно ничего в двух шагах и охрана не смогла бы ничего разглядеть.

«Вот я встретила в лагере человека. В лагере! Где ни взглянуть, ни дотронуться нельзя. Ничего! И в первый же момент между нами что-то прошло, как ток высокого напряжения. Мне тогда поручили организовать в лагере театральную группу, этот человек был в ней. Упаси боже, чтобы кто-нибудь что-нибудь заметил: его бы немедленно убрали и послали бы на лесоповал. Он тайком передавал мне свои стихи. И только однажды… Нас вели на концерт. Зима. И вдруг повалил снег. Такой крупный, хлопьями, какой увидишь только в Большом театре. Как в сказке. И сразу конвой:

– Стой! Стрелять будем!

Мы встали. Перед глазами снежная пелена. Руки своей не видно. Я стою. Он рядом. И вдруг так спокойно его мягкие губы слышу. Слышу. Такое нежное объятие. Это длилось, по-моему, несколько лет, не меньше. Мы застыли. Все исчезло, если бы мы даже голые на снегу стояли, мы бы этого не заметили. И конечно, попали бы в карцер. Но вот моя приятельница, увидев, что снег начинает редеть, так тихо взяла и просунула между нашими лицами руку в варежке. И все. На этом все закончилось.

В нашей любви был один-единственный поцелуй, который я, если бы прожила триста лет, никогда не смогла бы забыть. Он остался в моей душе, сердце, теле. Один-единственный поцелуй».

Из десяти лет Окуневская отсидела шесть. В 1953 году умер Сталин, и вскоре после этого ее освободили. Как многих – «за отсутствием состава преступления».

С Алексеем они больше не встречались. Не по вине жестокой судьбы, вовсе нет. Просто после освобождения Татьяна не пожелала соединиться с умирающим от лагерного туберкулеза Алексеем. Он умер на свободе, в родном Тарту, в окружении

своей семьи, которая – когда вышли мемуары Окуневской и когда журналисты пытались узнать правду о персонажах, упомянутых в книге, – не пожелали, чтобы его имя было связано с именем скандальной актрисы.

Была ли Татьяна хотя бы на могиле Алексея? В одних интервью говорила – да, в других – нет…

«Знаете, я даже рада, что Алексей – моя последняя любовь – умер. Потому что я познала любовь и не успела в ней разочароваться. Ведь если мужчина начинает помогать женщине готовить, стирать, ходить по магазинам, то он перестает быть Мужчиной. По крайней мере для меня. Мужчина в первую очередь должен быть другом. Желательно, конечно, чтобы при этом он был еще и красивым».

8

Лагерная жизнь никого здоровее не делает. Но у Татьяны Окуневской был железный организм. Только поэтому она восстановилась и так долго прожила после освобождения. Поэтому – и еще потому, что прислушалась к совету знакомого врача, сказавшего ей:

– Вам ни в коем случае нельзя лечиться: любое лекарство, даже наши гомеопатические микродозы причинят вам только вред, организм будет воспринимать их как яд.

– Что же делать?

– Минимум на месяц уехать в глухую деревню, чтобы не было даже репродуктора, бродить, отдыхать, парное молоко прямо из-под козы, творог, сметана, сливки, яйца теплые, прямо из-под курицы, деревенские овощи, колодезная вода и травы, надо восстановиться, а потом уже будем лечиться.

Татьяна поступила так, как ей велели, уехала в деревню и потихоньку вернула себе здоровье. С тех пор и до конца своих дней она придерживалась вегетарианства и занималась йогой.

Жила Окуневская в маленькой квартирке на «Динамо». Она утверждала, что живет одна, что не боится одиночества и даже наслаждается им: «Если бы мне после лагеря предложили – или замуж, или снова в лагерь, я бы не раздумывая пошла в лагерь. И не потому, что я такая мужененавистница. Просто наши мужчины перестали быть мужчинами. На коне ведь скакать уже не надо, стрелять, чтобы добыть пищу, тоже…»

На самом деле после освобождения из лагеря Окуневская выходила замуж еще трижды. Инга рассказывала: «После заключения мама вышла замуж. Не могу сказать за кого, потому что она свое замужество тщательно скрывала. Это продолжалось недолго, он с ней развелся».

Следующим ее мужем стал Арчил Гомиашвили, прославившийся ролью Остапа Бендера: «Мама обвенчалась с Арчилом Гомиашвили. Они даже писали какие-то пьесы, ездили в Грузию, хотели ставить спектакли». Венчались в Грузии, в Мцхетском соборе. Но и этот брак продлился недолго.

«После него у нее был мужчина, с которым они расписались и прожили вместе много лет. Мама никогда не была одна».

Но и в последние годы рядом с Окуневской был мужчина… Старый поклонник, который любил актрису много десятилетий: «Был такой человек – Владимир Петрович, который за ней ухаживал, когда она была в Горьком в 1937 году. Поклонник, и ничего больше. Потом они не виделись практически всю ее жизнь,

а за пять лет до маминой смерти он – заслуженный строитель, симпатичный, милый джентльмен – появился. Владимир Петрович очень трогательно к маме относился: приносил цветочки, еду вкусную, раков, которых она обожала, в Париж возил. Конечно, в таком возрасте никакие страсти невозможны. Но мама его очень ценила. Это был редкий случай ее теплого и нежного отношения к мужчине. Он умер раньше нее, и она ездила на похороны!..»

Все эти годы – после освобождения и вплоть до самой смерти – Окуневская продолжала активную творческую жизнь. Она снималась в кино. Она писала мемуары, первый том которых был опубликован накануне ее 85-летия.

И она создавала свою легенду. Легенду Татьяны Окуневской.

Она пользовалась невежеством журналистов, мало что знавших о кинематографе и культурной жизни 1930-х и радостно бросавшихся на сенсационные мемуары женщины, которая якобы была первой красавицей советского кинематографа, самой сексапильной кинозвездой, которую преследовали Тито, Берия, Абакумов… О ней снимали передачи, она с удовольствием давала интервью, добавляя все новые штрихи к своей фантастической биографии. Это было легко, ведь подавляющее большинство свидетелей умерли, а оставшиеся не смели поднять голос против мученицы режима. Ведь Татьяна Окуневская и правда побывала в тюрьме и лагере! В 1990-е это стало ее щитом… И она легко могла говорить все что угодно.

«Я счастливый человек, – говорила она в интервью, – и могу громко об этом сказать. А еще могу сказать, что верю, что все будет нормально. Растет хорошее поколение… Жизнь становится лучше и интереснее. Но… мне ведь осталось-то года три-четыре. И надо успеть завершить книгу».

Не успела. Совсем чуть-чуть…

Татьяна Окуневская умерла 15 мая 2002 года в возрасте 88 лет. От инфекции, занесенной за два года до этого во время пластической операции: Татьяна пыталась сделать подтяжку лица, победить время и удержать свою исчезающую красоту. Что ж, женщиной она оставалась до конца. Она никогда не была великой актрисой но она была Женщиной.

Янина Жеймо и Леон Жанно: польский принц для Золушки

Янина Жеймо и Леон Жанно

...

– Жеймо Янина Болеславовна (29 мая 1909 года, Волковыйск Гродненской губернии, Российская империя – 29 декабря 1987 года, Варшава, Польша) – популярная в 1930-е-1940-е годы актриса, специализировавшаяся на ролях травести, то есть очень юных девушек и девочек, подростков.

– Жанно Леонид (9 мая 1908 года, Варшава, Польша – 21 июня 1997 года, Варшава, Польша) – сценарист, режиссер, художник.

– Она – нежная, хрупкая, трепетная, зависимая, очень добрая, очень нуждающаяся в любви, вечная девочка.

– Он – спокойный, интеллигентный, надежный, заботливый.

– Женаты. Он стал для нее третьим мужем. Она для него – первой и единственной женой.

– Любили друг друга ровной, спокойной, уютной любовью, заботились друг о друге, поддерживали друг друга, были идеальной семьей.

– Общих детей не было.

– Ни одной измены.

– Леон появился рядом с Яниной во время войны, в 1940-е. Не сразу завоевал ее доверие. Но поженившись, они не расставались до 29 декабря 1987 года.

– Их разлучила смерть Янины Болеславовны.

Янина Жеймо – актриса одной роли. Снималась она много, но в истории кино осталась как Золушка. Более выразительной, более «настоящей» Золушки нет ни в одном фильме, даже в самых пышных голливудских постановках. Недаром этот фильм 1947 года до сих пор популярен и его до сих пор смотрят дети. Ее Золушка нашла свою великую и единственную любовь, придя к ней через испытания бесконечным терпением и кротостью.

Примерно так же сложилась и судьба самой Янины Болеславовны: она долго искала свою настоящую любовь. Человека, который сможет дать ей поддержку, утешение и душевное тепло.

1

У «Золушки» судьба уникальная: этот фильм не стал достоянием истории. Он все еще – часть живой массовой культуры. Его оцифровали для DVD, и в наше время мамы покупают диск, чтобы показать «самую правильную Золушку» своим детям. И юное поколение, выросшее на аниме и компьютерных играх, воспринимает мало какие из старых фильмов… Но «Золушка» – это святое. Ее любят, ей сопереживают, ей улыбаются зрители до сих пор.

А ведь утвердить 37-летнюю Янину Жеймо на роль 16-летней Золушки было не просто. Получалось, что актриса была старше всех: и Принц, то есть актер Алексей Консовский, и злые дочери Мачехи, Анна и Марьяна, то есть актрисы Елена Юнгер и Тамара Сезеневская, – все они были моложе… Василий Меркурьев, сыгравший Лесничего, отца Золушки, был всего на пять лет старше Янины Жеймо.

Режиссеру Надежде Кошеверовой предлагали, чтобы она взяла на роль Золушки балерину Марию Мазун. Балерине было двадцать три года, она была красива и грациозна, она танцевала партию Золушки в одноименном балете Сергея Прокофьева и могла бы так восхитительно порхать в кадре!.. Но Кошеверова и сценарист Евгений Шварц были уверены: Золушка не должна порхать – она должна двигаться робко, неуверенно, немного смешно, по-детски неуклюже. Золушка не должна быть красива: она должна быть только бесконечно очаровательна, нежна и наивна. Золушка должна вызывать не восхищение, а сострадание и жалость. Янина Жеймо могла сыграть именно такую Золушку.

Когда наконец удалось добиться ее утверждения, режиссер и сценарист праздновали это как личную победу. Время показало, что они были правы. Фильм состоялся. Да, кроме Жеймо там есть на кого посмотреть – чего только стоит Фаина Раневская в роли Мачехи и Эраст Гарин в роли Короля! Но не будь такой Золушки, тысячи детей с 16 мая 1947 года, когда «Золушка» вышла на экраны СССР, вряд ли смогли бы по-настоящему проникнуться этой сказочной историей.

И Янину Жеймо помнят. Юлий Жеймо, сын актрисы, рассказывал: «Бывая на ее могиле, вижу, как совершенно незнакомые люди восхищенно шепчутся: „Это та самая Золушка” – и кладут букеты цветов».

2

Янина Болеславовна Жеймо родилась в Гродненской губернии, в провинциальном городке Волковыске 29 мая 1909 года. По национальности ее родители были поляками, по профессии – циркачами, в цирке выступали и все их четверо дочерей. Янечка вышла на манеж, когда ей не было и трех лет. Сначала забавная малышка просто украшала семейные выступления своим присутствием, но постепенно ее обучали буквально всем цирковым наукам: Янечка была и гимнасткой, и танцовщицей, и наездницей, и даже клоуном! Ей пригодились в будущей карьере все эти навыки: и танцевать, и ловко двигаться, и быть смешной.

Жили бедно. Отец постоянно болел. Он умер в 1923 году, прямо в день своего рождения… Цирк пришлось покинуть: отработанный номер больше не мог существовать – без мужчины. Четверо девочек начали выступать на эстраде с номером «Музыкальные эксцентрики». Трое старших играли на различных музыкальных инструментах и танцевали, а в конце появлялась Янина с огромным ксилофоном на голове. Она смешно семенила по сцене, играя на нем веселую мелодию.

Примерно тогда же, в подростковом возрасте, она перестала расти. Просто застыла, словно околдованная: с детским ростом 146 сантиметров, с детским личиком, с крохотными ножками, на которые ей всю жизнь придется покупать обувь в «Детском мире» или шить на заказ и на которые она в тридцать семь лет с таким успехом примерит хрустальные Золушкины башмачки. Конечно, причиной был какой-то гормональный сбой. Но в те времена о таких явлениях даже не догадывались. Сама Янина Болеславовна во всем винила эстрадный номер с ксилофонами: «Странно – я нормально росла до четырнадцати лет, а потом… Я была уверена, что рост прекратился потому, что мне приходилось носить на голове тяжеленные ксилофоны, а я носила их так, чтобы не уставали руки».

Впрочем, она понимала, что загадочная «задержка взросления» оказалась настоящим подарком судьбы, без которого Янина Жеймо вряд ли стала бы кинозвездой, которую до сих пор помнят: «Моя внешность – структура лица, маленький рост – определили амплуа: всю жизнь я играла девчонок-подростков. Был успех, очень большой… Когда я играла Золушку, мне было 37 лет, а героиня была ровесницей моей дочери».

В кинематографе тех лет было несколько актрис травести. Но Янина на их фоне была звездой. Ведь она не только выглядела

юной, но еще и была талантлива. К тому же ее «детскость» казалась особенно естественной, подлинной.

О том, чтобы стать киноактрисой, Янина мечтала, как и многие девочки, сидя в полутемном зале и наблюдая, как под дребезжание старенького фортепьяно аккомпаниатора на экране разыгрываются немые страсти с Мэри Пикфорд и Дугласом Фэрбенксом в главных ролях. Звезда Голливуда Мэри Пикфорд была мала ростом, золотоволоса и выглядела «вечной девочкой». Янина примеряла ее образ на себя. Как ей казалось – вполне успешно. Родные не одобряли фантазии о кинематографе. Но в пятнадцать лет Янина поступила учиться в одну из многочисленных в то время киношкол: на ленинградский кинокомбинат «Фабрика эксцентрического киноактера» (ФЭКС). Студию возглавляли будущие великие советские режиссеры Григорий Козинцев и Леонид Трауберг. Они-то и дали Янине Жеймо «путевку в жизнь»: ее карьера началась с ролей в их фильмах «Мишки против Юденича», «Чертово колесо», «Шинель», «С.В.Д. – Союз Великих Дел», «Братишка».

Жеймо своими первыми ролями не была довольна. Ее дочь Янина Костричкина рассказывала, что после просмотра отснятой ленты «Мишки против Юденича» 16-летняя актриса так не понравилась себе на экране, что впала в беспросветное отчаяние: «Она ехала домой на трамвае и плакала, а кондуктор спросил ее: «Девочка, что ты так плачешь, у тебя кто-нибудь умер?» Она сказала: «Да. Я». То есть она считала, что как актриса она уже умерла». Но Козинцев и Трауберг убедили Янину попробовать еще раз, и еще… И наступил момент, когда она поняла: кино – это ее жизнь. Правда, никто, кроме Козинцева и Трауберга, не хотел ее снимать. Но для Янины это уже не имело значения.

Мать была недовольна тем, что Янина ушла в кинематограф: «На эстраде у нее имя, а в кино… Первая сзади! Невеселая перспектива…» Конечно, Янина верила, что когда-нибудь она окажется среди первых. Она не могла даже предположить, что настоящего, оглушительного и ослепительного успеха придется ждать так долго… Целых двадцать лет!

А еще в ФЭКСе Янина Жеймо познакомилась с актером Андреем Костричкиным. Он был старше ее на восемь лет, но Янина считалась артисткой «с опытом», потому что уже играла в цирке и на эстраде, а Костричкин был «начинающим». Они полюбили друг друга и стремительно, как это было распространено в 1920-е, поженились. Родилась девочка, которую назвали в честь мамы – Янечкой, Яниной. В первых фильмах Жеймо и Костричкин снимались вместе. Прожили почти десять лет. Большинство знакомых считало, что Андрей не выдержал

испытание славой жены и именно поэтому ушел от нее.

Костричкин в немом кино играл преимущественно роли «маленьких людей», а в звуковом практически не состоялся, тогда как Янина еще в молодости успела попробовать популярность на вкус.

Да, и до «Золушки» Янина Жеймо уже была любимицей публики. Большим успехом пользовались короткометражные комедии Антонины Кудрявцевой «Разбудите Леночку» и «Леночка и виноград», в которых Янина Жеймо в свои 25 и 27 лет играла девочку-школьницу, любимицу всего класса и заводилу детских проказ.

Очень любим был фильм «Подруги», где Янина снималась вместе с двумя самыми востребованными актрисами своего времени: признанной красавицей Зоей Федоровой и серьезной характерной актрисой Ириной Зарубиной. Интересно, что и здесь ей пришлось сыграть ребенка, ведь история подруг рассказывалась со времен их нищего детства и до боевой революционной молодости, но если героинь Федоровой и Зарубиной в начале фильма играли девочки, то Янина появлялась в первых кадрах и оставалась до конца… Не сказать что неизменной: взросление своей героини Аси по прозвищу Пуговица она сыграла блестяще. После этого фильма она стала настоящей звездой, у нее появились толпы поклонников, а на «Мосфильм» приходили пачки писем, адресованные Пуговице. Именно после выхода «Подруг» в 1935 году расстались Янина Жеймо и Андрей Костричкин.

А как обожали зрители ее Яну Корзинкину из «Приключений Корзинкиной»! Можно сказать, что Янина Жеймо сыграла в этой картине нашу советскую «Амели с Монмартра» – милую смешную девчонку, которая хочет изменить жизнь всех окружающих к лучшему, и у нее это успешно получается.

«Принимая очередное приглашение сыграть ребенка, мама всегда проверяла, примут ли ее дети за свою, – вспоминала Янина Костричкина. – Например, перед съемками фильма „Разбудите Леночку” она вырядилась в одежду своей 12-летней сестры и отправилась в парк играть с мальчишками в лапту. Пацаны не только поверили, что перед ними ровесница, но и в конце концов отмутузили ее за несколько неудачных подач. А садовница, которая отбила маму у драчунов, утерла ей нос и строго сказала: „Марш домой! И не вздумай реветь!” Она никогда и не ревела. Даже узнав о предательстве второго мужа Иосифа Хейфица, которого любила до безумия, держалась изо всех сил».

3

Янина познакомилась с Иосифом Хейфицем в 1935 году, когда снималась у него в картине «Горячие денечки». У нее тогда совсем разладились отношения с Андреем Костричкиным. А Хейфиц был человеком блистательным, ярким, остроумным и интеллигентным, можно сказать – уникальным, таких даже в мире кино было немного. Плюс к этому он был по натуре мягким и деликатным. Актеры говорили: «Работь с Хейфицем – все равно что в санатории отдыхать!» Интерес друг к другу у них зародился еще тогда, но на измену мужу Янина была не способна. Поэтому отношения между ней и Иосифом Хейфицем начались позже, в конце 1930-х.

Для Жеймо это был трудный период: ее почти не снимали. Не по какой-то особенной причине: просто не везло. Работу над двумя фильмами, в которые она была утверждена на главные роли, была приостановлена. И хотя в 1939 году ее наградили орденом «Знак Почета» (словно в качестве компенсации за неудачи последних лет!), Янина переживала простой очень тяжело. Будучи «кинематографистом чистейшей крови», как сказал о ней Евгений Шварц, она просто не могла жить, не снимаясь: «Она была создана для того, чтобы играть. А вне этого оставалась беспомощной и сердитой, как сердятся иной раз глухонемые». У других актеров была творческая отдушина – театр. Но Янина практически не играла на сцене. Конечно, она могла бы вернуться на эстраду… Но эстрада после кинематографа – это как дышать только одним легким, – ее сравнение, так она говорила друзьям.

Кстати, друзей у Янины Жеймо было много. Ее любили, к ней тянулись: Янина Болеславовна была милой, светлой женщиной, не склонной к злословию и зависти, искренне радовавшейся чужой удаче, и гостей любила и умела принять. Практически все, с кем она снималась, входили в круг ее друзей и оставались там навсегда. Рядом с ней было хорошо. И в трудные моменты жизни друзья всегда приходили ей на помощь.

Иосиф Хейфиц входил в число ее друзей, в самый ближний круг. Они с Яниной казались очень похожими: оба – мягкие, добрые, солнечные люди. Казалось, они созданы друг для друга. И все друзья радовались, когда Хейфиц и Жеймо решили создать семью. У них родился сын Юлий. Они были счастливы… Тогда никто и заподозрить не мог, каким кошмаром их супружеская жизнь закончится.

Началась Великая Отечественная война. Хейфиц с

киностудией уехал в эвакуацию в Алма-Ату. Забрал с собой детей: падчерицу Янину Костричкину и сына Юлия. Янина Жеймо осталась в Ленинграде. Снималась в «Боевых сборниках» и агитационных фильмах, причем играла опять же подростков или очень юных девушек.

«Мой отчим отправился со съемочной группой сначала в Монголию, а потом в Ташкент. Мама осталась в блокадном городе: днем снималась, вечером дежурила на крыше студии, – вспоминала Янина Костричкина. – Ей постоянно предлагали покинуть город на самолете. Но она долго не соглашалась – дескать, это не по-товарищески. Наконец собрали группу сотрудников „Ленфильма" – друзей матери, и они вместе отправились в эвакуацию. Мама взяла с собой увесистый чемодан, набитый вещами мужа, и поспешила к нам. Добиралась несколько месяцев. А в Алма-Ату тем временем пришло страшное известие, что тихвинский эшелон, на котором ехали артисты, разбомбили. Узнав об этом, Хейфиц тут же обзавелся новой женой Ириной. Когда маме рассказали про это, она была потрясена до глубины души…»

О том, что у Хейфица другая жена, а она, Янина, считается умершей, актриса узнала, едва сошла с поезда в Алма-Ате. Предательство мужа стало для нее страшным ударом. Настолько страшным, что начались невротические проявления стресса… Сначала – паралич, из которого ей удалось выйти, но осталось ощущение онемения в ногах и руках. Потом – приступы выборочной амнезии: забывала слова, не узнавала друзей. Это был период абсолютного ужаса для актрисы, которая думала, что уже не сможет играть, и как ей тогда жить, как ей обеспечивать детей? На помощь бывших мужей Янина в тот момент не слишком-то надеялась…

Вылечил ее талантливый психиатр, понимавший, что главное – дать уверенность в излечении, а дальше Янина Жеймо сама «сыграет» свое выздоровление, она же актриса! Врач, чье имя не смогли позже вспомнить ни друзья, ни родные, дал Янине бутылочку с жидкостью и сказал, что это редкое иностранное лекарство, которое непременно поможет, главное – принимать строго по часам. Янина очень хотела вылечиться, исполняла все предписания, и лекарство «помогло». Когда же она, радостная, пришла благодарить врача, он признался: в бутылочку он налил обычную кипяченую воду, потому что от ее болезни вообще-то не существовало лекарств.

Хейфица она так никогда и не простила. Даже видеть его не желала. Сын Юлий вспоминал, что «вроде бы даже развод в письменном виде оформляли, чтобы не встречаться. Со мной

Хейфиц видеться тоже не жаждал. А уж тем более после того, как, получив в 16 лет паспорт, я по просьбе мамы сменил его фамилию на Жеймо. К слову, уже после смерти отца мне передали письмо, в котором он просил ни на что не обижаться и не поминать лихом».

И опять помогли ей друзья. Поддержали, позаботились о детях, помогли безболезненно для Янины оформить развод. Актриса в то время утверждала, что больше никогда ни за что не выйдет замуж… Слишком дорого ей дался разрыв с Хейфицем. Поклонники у нее были, ведь она все еще выглядела совершеннейшей девочкой. Но Янина признавала только один путь: по большой любви замуж. Если нет большой любви, то и замуж незачем выходить. А без замужества никакие отношения невозможны. «Мама была пуританкой, и это несмотря на то, что трижды выходила замуж, – рассказала Янина Костричкина. – Настырные ухажеры всех мастей отчаянно пытались добиться ее расположения, но тщетно».

Польский сценарист Леон Жанно, которому предстояло стать третьим мужем Янины Жеймо, появился рядом с ней в самый трудный период ее жизни. Он был влюблен, но поначалу не имел даже надежд на взаимность. Его делала счастливой сама возможность заботиться о Янине, помогать ей и детям.

Но по-настоящему выйти из депрессии и начать новую жизнь Янине Жеймо помогла роль Золушки.

4

Кто предложил сделать Золушкой именно Янину Жеймо – до сих пор непонятно.

Большинство мемуаристов настаивают на том, что сценарист, по сути – автор этой новой интерпретации сказки, Евгений Шварц: давний друг и поклонник артистического таланта Жеймо. Шварц всегда восхищался Яниной, он говорил: «Удивительно привлекательное существо Жеймо сделала десятую долю того, что могла бы. Должна бы. Все ее существо – туго натянутая струнка. И всегда верно настроенная. И всегда готовая играть!» Его тревожило, что в последнее время Янечка совсем не смеется, что взгляд у нее застывший, что она слишком много курит, и хотелось вернуть ей интерес к жизни, радостное ощущение сопричастности творчеству.

Однако режиссер Надежда Кошеверова вспоминала: «В 1944 году, возвращаясь из эвакуации, я встретила в Москве Жеймо. Она сидела в уголке – такая маленькая, растерянная… Я взглянула на нее и неожиданно предложила: „Яничка, вы должны сыграть Золушку…” Она немного повеселела, и мы тут же отправились к Помещикову, который заведовал тогда Сценарным отделом в Комитете кинематографии. Возражений у него не было, он только спросил: „А кто напишет сценарий?” И я не задумываясь выпалила: „Шварц”. Разумеется, никакой предварительной договоренности с Евгением Львовичем у меня не было, но, узнав о замысле, он тоже им загорелся».

Снимался фильм в атмосфере радости: для всех эта сказка после стольких фильмов о войне и трагедиях была настоящей отдушиной! Не огорчались ничему. Даже когда Шварца обвинили в «неуважении к первоисточнику», от которого ему с трудом удалось отбиться и все-таки утвердить свой сценарий.

Все актеры по-настоящему играли, увлеченно. Каждый искал в своем образе что-то особенное, личное, какую-то изюминку. Янина Жеймо вспоминала: «В сценарии Евгения Шварца „Золушка” героиня просто надевала туфельку по приказанию мачехи. Моя Золушка, как я ее представляла, не могла просто из чувства страха или покорности мачехе исполнить приказание. Я долго просила Шварца дописать фразу, объясняющую согласие Золушки надеть туфельку. Но он считал, что для Золушки, которую любят дети всего мира, ничего не нужно объяснять. Этот поступок ничуть ее не унизит. Вслед за драматургом и режиссеры считали, что нечего заниматься отсебятиной. И тогда я пошла на хитрость. На съемке эпизода с туфелькой Раневская-мачеха

начинает льстиво уговаривать Золушку надеть туфельку. Я, Золушка, молчу. Раневская опять обращается ко мне. Я опять молчу. Фаина Георгиевна теряется от моего молчания и неожиданно для всех – и для самой себя тоже – заканчивает фразу: „А то я выброшу твоего отца из дома”. То есть говорит то, что мне и нужно было. Моя Золушка соглашается, боясь за отца. Присутствующий в павильоне Шварц принял бессознательную „подсказку” Раневской: „Только вы забыли, Фаина Георгиевна, конец фразы: «…и сгною его под забором»”. Так родилась в фильме реплика Раневской, отсутствовавшая в первоначальном сценарии…»

Фаина Раневская, которая, как правило, была недовольна всеми своими ролями – слишком высока была планка у этой гениальной актрисы, слишком высокие требования к самой себе и окружающим! – едва ли не в первые в жизни с удовольствием смотрела отснятый материал и в одном из писем отметила: «Какое счастье, что я поддалась соблазну и уступила предложению Шварца и Кошеверовой сняться в этом фильме!»

Когда пришло время сдавать готовую картину, все конечно же трепетали: как-то примет сказку худсовет? Тем более что сказка-то не русская народная, а иностранная. И как все сказки – аполитичная. А как раз начались времена с космополитизмом…

Но тут произошло почти сказочное чудо: 24 апреля 1947 года состоялось обсуждение фильма на заседании художественного совета при Министерстве кинематографии СССР, и «Золушку» приняли, причем приняли с восторгом! Евгений Шварц записал в своем дневнике: «Чудеса с „Золушкой” продолжаются. Неожиданно в воскресенье приехали из Москвы оператор Шапиро и директор. Приехали с приказанием: в самом срочном порядке приготовить экземпляр фильма для печати, исправив дефектные куски негатива. Приказано выпустить картину на экран ко Дню Победы. Шапиро рассказывает, что министр смотрел картину в среду. Когда зажегся свет, он сказал: „Ну что ж, товарищи: скучновато и космополитично”. Наши, естественно, упали духом. В четверг смотрел „Золушку” худсовет министерства. Первым на обсуждении взял слово Дикий. Наши замерли от ужаса. Дикий имеет репутацию судьи свирепого и неукротимого ругателя. К их великому удивлению, он стал хвалить. Да еще как! За ним слово взял Берсенев. Потом Чирков. Похвалы продолжались. Чирков сказал мне: „Мы не умеем хвалить длинно. Мы умеем ругать длинно. Поэтому я буду краток”. Выступавший после него Пудовкин сказал: „А я, не в пример Чиркову, буду говорить длинно”. Наши опять было задрожали. Но Пудовкин объяснил, что он попытается длинно хвалить. Потом хвалил Соболев.

Короче говоря, все члены совета хвалили картину так, что министр в заключительном слове отметил, что это первое в истории заседание худсовета без единого отрицательного отзыва. В пятницу в главке по поручению министра режиссерам предложили тем не менее внести в картину кое-какие поправки, а в субботу утром вдруг дано было вышезаписанное распоряжение: немедленно, срочно, без всяких поправок (кроме технических) готовить экземпляр к печати. В понедельник зашел Юра Герман. К этому времени на фабрике уже ходили слухи, что „Золушку" смотрел кто-то из Политбюро. Юра был в возбужденном состоянии по этому поводу… Он остался у нас обедать… Я доволен успехом „Золушки" – но как бы теоретически. Как-то не верю…»

Поверить пришлось. Такого успеха в советском прокате до сих пор не имела ни одна киносказка!

«Золушка» вернула Янину Жеймо к жизни. Этот фильм стал звездным в ее карьере, вознес ее популярность на такой уровень, о котором она и грезить не смела. Евгений Шварц рассказывал: «Картина появилась на экранах в апреле 1947 года и имела успех. В июне того же года увидел на теневой стороне Невского у рыбного магазина Янечку с мужем. Жарко. Пыльно, около шести Невский полон прохожими. Янечка, маленькая, в большой соломенной шляпе, просвечивающей на солнце, в белом платье с кружевцами. Посреди разговора начинает оглядываться растерянно. И я замечаю в священном ужасе, что окружила нас толпа. И какая – тихая, добрая. Даже благоговейная. Существо из иного, праздничного мира вдруг оказалось тут, на улице. „Ножки, ножки какие!" – простонала десятиклассница с учебниками, а подруга ее кивнула как зачарованная…»

5

Актриса вышла замуж – за верного Леона Жанно. Ее дочь считала, что мама вышла за Жанно «из благодарности». Быть может, и так, но этот брак стал самым длительным, гармоничным и счастливым в жизни Жеймо.

После «Золушки» у Янины появились силы снова сражаться с жизненными трудностями. А не будь этого фильма и этого успеха – возможно, она бы не перенесла последовавших в конце 1940-х – начале 1950-х нескольких лет «малокартинья», когда на «Ленфильме» снимали мало и актеры вынуждены были жизнь на те жалкие деньги, которые им выплачивались «за простой».

В Москве ситуация с кинематографом была получше, и Янина решила перебраться вместе с семьей в столицу. Полгода они с мужем и детьми жили в квартире Эраста Гарина, Короля из «Золушки». Мыкались по другим друзьям, по съемным квартирам. Наконец удалось обрести постоянное жилье: в перестроенном гараже… Но трудно было не только с жильем, трудно было и с ролями. Янина могла хотя бы озвучивать иностранные фильмы и мультики, играть в радиоспектаклях: на ее детский голосок был спрос. Кстати, до микрофона она не дотягивалась, и ей подставляли скамеечку, которую еще много лет после на радиостудии называли «жеймовочкой». А вот у Леона Жанно ситуация была совсем бедственная: работы не было. По сути, он «сидел на шее» у жены. И очень из-за этого переживал. Леон мечтал вернуться в Польшу, где ему предлагали и работу, и жилье… Янина оттягивала отъезд сколько могла. Ее дочь вышла замуж, родилась внучка, которую тоже назвали Яниной, как маму и бабушку. Уезжать – означало бы расстаться с родными и с друзьями. Конечно, Польша – это не Америка, это страна соцлагеря, оттуда проще приезжать в гости в Москву. Но все равно – заграница. Все равно – на чужбину. И, приняв решение уехать, Янина тем самым отказалась бы от собственной карьеры в кино – навсегда! Правда, после «Золушки» она снялась только в двух фильмах, по иронии судьбы имевших сходные названия: «Два друга» и «Рядом с другом». И оба они не имели успеха. Однако она продолжала надеяться на чудо… Ведь однажды чудо в ее жизни уже произошло!

Янина решилась уехать в 1957 году, когда произошла беда с сыном. Юлий Жеймо, в отличие от матери, мечтал об отъезде: ему казалось, что Польша все же поближе к Западу и ко всему, что ему, юному, казалось недосягаемыми, но восхитительными буржуазными радостями. Он даже вытатуировал на груди

русалку: герб Варшавы. И организовал собственный маленький бизнес: покупал у приезжавших из-за границы актеров порнографические журналы, а потом перепродавал их втридорога одноклассникам. Когда это открылось, десятиклассника Жеймо исключили из комсомола с формулировкой «за низкопоклонничество перед Западом и распространение порнографии». Некоторые из учителей настаивали на недопущении Юлия к выпускным экзаменам. И конечно, о том, чтобы поступить во ВГИК, не стоило даже мечтать. А Юлий собирался стать кинооператором.

Вот тогда Янина согласилась на переезд. В Польше Юлий поступил в знаменитую киношколу в Лодзи. Леон получил работу на киностудии. А Янина… Она стала домохозяйкой. Ей было тяжело. Но она хорошо держалась. Радушно принимала гостей. Даже готовить научилась, хотя по утверждению родных, всегда терпеть не могла домашние хлопоты. Янина пыталась «не отрываться от творческого процесса». Сын вспоминал: «Она часто сопровождала мужа на съемках и порой давала ему дельные советы. Она поддерживала связь с русскими актерами. Они приезжали к ней в гости. Михаил Пуговкин, Вячеслав Тихонов и многие другие засиживались за столом до глубокой ночи. Делились новостями, травили анекдоты и вспоминали былые времена. Не обходилось и без крепкого словца. Кстати, мама никогда не позволяла себе нецензурно выражаться. Лишь однажды 50-летняя Янина Болеславовна произнесла слово „ж… па” для поддержания веселой атмосферы в компании. Но тут же сильно смутилась и потом долго сожалела об этом поступке».

И все же она была очень одинока. И несчастна из-за отсутствия творческой работы. Она тосковала по дочери, оставшейся в СССР. «Разрешалось выезжать только раз в году. Сердце мамы разрывалось на две части. Я был рядом, а дочь Янечка с внучкой – в Москве, – рассказывал Юлий Жеймо. – Удивительным образом совпало, что мамино любимое кафе в Варшаве называлось „На распутье”. Она часами сидела за чашкой кофе, курила крепкие сигареты и писала на салфетках воспоминания».

Миниатюрной, легкой и очаровательной Янина Болеславовна оставалась до старости. Она почти не хворала, и хотя иногда у нее болело сердце, на это даже она не обращала внимание: в таком возрасте у всех сердце болит… Скончалась 29 декабря 1987 года. Скоропостижно. Неожиданно для родных. Зато без страданий. Не успев даже задуматься о смерти, понять, что умирает.

«В канун нового 1988 года я с семьей переезжал в новую

квартиру. Когда в очередной раз приехал за остатками домашней утвари, в полупустом жилище вдруг зазвонил телефон. „Юлик, приезжай скорее! С мамой, по-моему, плохо", – дрожащим голосом сказал Жанно. Я тут же взял такси и помчался. Вбегаю в мамину спальню. А она лежит на кровати и застывшей рукой тянется к лекарству. Я понял, что ее не стало… А ведь беды в тот день ничего не предвещало: она, как обычно, готовила обед и стирала, – вспоминал сын. – Я просидел рядом с мамой несколько часов – ее смерть была потрясением. Когда приехали из морга забирать тело, я сам взял ее на руки и отнес по ступенькам вниз с четвертого этажа…»

Янина Болеславовна хотела, чтобы ее похоронили в Москве. На родину ее тело везли в цинковом гробу. В Союзе кинематографистов СССР Янину Жеймо помнили и любили, поэтому взяли на себя оформление всех необходимых документов и заботу о погребении. Правда, похоронили не на почетном Новодевичьем и даже не на престижном Ваганьковском, а на Востряковском кладбище. Но для актрисы, так давно жившей за границей, большего сделать все равно не могли.

Леон Жанно пережил свою единственную любовь ровно на десять лет.